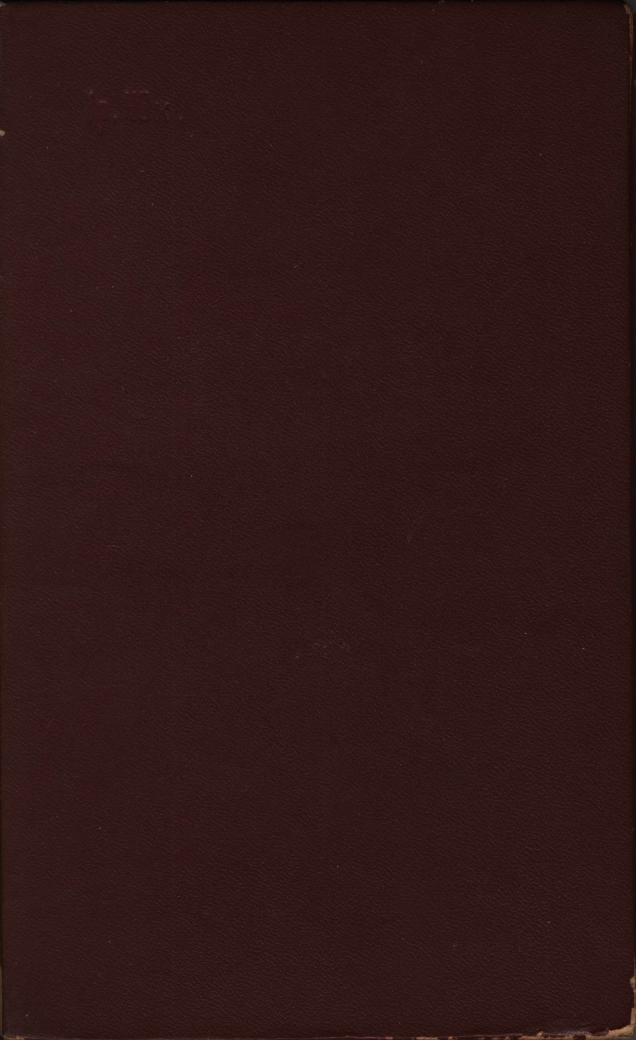




МИХАИЛ ЖИГЖИТОВ

ПОДЛЕМОРЬЕ





НОВИНКИ-СОВРЕМЕННОИКА

Михаил Жигжитов
Подлеморье

Роман

Книга вторая

«Современник»
Москва
1978

С(Сиб)
Ж68

Жигжитов М.

Ж68 Подлеморье: Роман.— Кн. 2-я.— М. Современник, 1978.— 319 с. (Новинки «Современника»).— В вып. дан. авт.: Жигжитов Михаил Ильич.

Михаил Жигжитов — талантливый бурятский прозаик. Первая его книга — роман «Подлеморье» выходила в издательстве «Современник» в 1974 году. Полные драматизма события — ликвидация кулацкой банды, создание колхозов, борьба с браконьерами, с шаманством — выпали и на долю нового поколения, живущего по заветам погибших борцов революции. Об этом рассказывает вторая книга писателя. Яркие характеры, поэтичность описания тайги и Байкала, сочный народный язык — создают особую манеру письма.

Ж $\frac{70303-239}{M106(03)-78}$ 206—78

С(Сиб)

По следам
Волчонка

Глава первая

В давнее-давнее время на берегу крутого залива, куда не заглядывают большие морские волны, жил со своей старухой тунгус Удыгир. Ноги у него пропали — в молодости простудил в холодной байкальской воде, под старость-то оно и отрыгнулось. О промысле на зверя и думать забыл, питался одной рыбалкой.

Однажды сидел Удыгир на берегу и распутывал сети, а сам посматривал на Байкал, на синие заморские горы и гадал: «Подует ветер или нет?»

Вдруг из-за мыса показалась лодка, да такая громадная — выше самого матерого сохача. Черный парус ее — в двадцать оленьих шкур, сшитых вместе, — угрюмо раскачивался над водой. «Во, посудина какая! На такой лодке сам злой дух кочует по морю. Знамо дело», — испугался старик и без оглядки затрусил к чуму.

— Злой дух на деревянном доме приплыл к нам! Падай, молисы! — шепчет он старухе.

Упали старики. Молятся богине Дунде, богине Бугады. Вспомнили и Миколу-бога. В молитвах прошел весь тот день. Про еду забыли, на двор не выглядывали. Шутово ли дело, совсем рядом злой дух разъезжает.

Всю ночь не сомкнули глаз старики. Отбивали поклоны и шептали молитвы.

Наступило хмурое утро. Моросил холодный дождь. Огонь в чуме стал потухать, а поддержать его нечем. Старик насмелился идти за дровами. Крадучись оглядел море, оно было иссиня-черным, пустынным. «Не во сне ли видел я ту чертову лодку-громадину? — подумал Удыгир. — А может быть, на самом деле дурной сон приснился мне. Голова-то к старости дряблая стала, и

наяву, и во сне — все сплелось в одну кучу». Вдруг Удыгир увидел белую женщину. Она лежала у самой воды. Ее черные волосы расплескались во все стороны и закрыли лицо. Посиневшие от холода руки обнимали желтый песок. Женщина тихо стонала, время от времени жалобно всхлипывала и бормотала что-то невнятное.

Удыгир сначала испугался, попятился. «Нечистый дух в образе бабы!» Вдруг старика передернуло всего: «Так стонала наша дочь! Она так же, как эта несчастная, умоляла шамана, чтоб он уговорил духов оставить ее на этой земле, где так ласково светит и греет солнце, где у нее такие ласковые аминми¹ и энимми². Но ее мольба не разжалобила ни добрых, ни злых духов, и дочь ушла к предкам на Нижнюю Землю.

— Неужели боги и добрые духи пожалели нас со старухой, послали нам эту бедняжку? Она же, как ребенок, лежит, почти голенькая, беспомощная. Так жалобно просит спасти ее, — бормотал Удыгир.

Старик наклонился над девкой и стал тормошить.

— Эй, доченька! Вставай, пойдем в чум!

Она на какой-то миг очнулась, открыла большие голубые глаза. Наверно, приняла старого эвенка за шаманского бога. Стала жаловаться ему:

— Все отвернулись от меня. Один ты, шаманский бог, протянул мне руку. Помоги же, святой отец! — сказала и снова потеряла сознание.

Удыгир покричал старуху, и они вдвоем перенесли больную в чум. В переднем углу расстелили косматую медвежью шкуру. Осторожно уложили больную, а сверху укрыли ее теплым козьим полушубком.

Долго стояли на коленях старики и, не веря свалившемуся счастьем, молились и молились, а сами не могли наглядеться, налюбоваться богом посланной дочерью. Они позабыли про еду, про сон, про все на свете.

Наконец старуха пришла в себя и спросила:

— Во что оденем ее?

Удыгир молчком поднялся и пустился на берег моря.

— Может, боги и одежку послали, — подумал он.

Пришел старый на то место, где лежала женщина, но там ничего не было. Обошел вокруг, приблизился

¹ А минни — отец (эвенк.).

² Э нимни — мать (эвенк.).

к большому кедру. Взглянул на дерево и едва не упал от страха. Хотел бежать, да где там? — ноги, будто чужие, отнялись. Еще раз взглянул туда — в косматых ветках могучего дерева разглядел окровавленное бледное лицо, глаза закрыты.

— Эй, ты, живой, нет? — крикнул Удыгир.

Человек молчал.

Старик подошел ближе и увидел привязанного к дереву мужика. Рыжие волосы в крови, на груди — большая рана.

Долго сидел и курил Удыгир. Все думал, где и как захоронить покойника. Наконец решил держать совет со старухой. Быстро приковылял в чум.

Старуха, радостно улыбаясь, проворно работала иглой — из кабарожьей замши шила дочери штаны.

Как увидела старика без дров, зашипела гусыней:

— Где дрова? Девка закоченеет! Холод!

— Там, на берегу, убитый... мужик...

— Злой дух убил?

— А кто же больше-то! Хоронить надо... В землю закопать или по-нашему?

— Ее спросим, — кивнула старуха на больную.

Только на третий день женщина поднялась, надела замшевые штаны и куртку, умылась, причесалась. Стала еще краше.

Старики от радости не знали, чем накормить, напоить свою богом посланную дочь.

Видя такой приветливый прием, она вовсе ободрилась.

Удыгир с пятого на десятое разговаривал по-русски.

— Тибе как звать? — спросил он.

— Таисией... меня зовут Таисия...

— Та... Таи... Тась... — никак не мог выговорить старик.

— Таська! Таська мое имя!..

— А-а!.. Таськимо!.. Таськимо! — Удыгир обрадованно залопотал по-тунгусски своей жене.

— Таськимо!.. Таськимо! — повторила за ним старая, от радости смеясь и плача.

Старик дрожащей рукой нежно погладил Таськимо по голове, но старуха сердито оттолкнула его и принялась нюхать и расчесывать мягкие пушистые волосы. Осерчал Удыгир, оттолкнул свою благоверную. А та не сробей, да вцепись ему в волосы! Видит Таськимо, что

пошли ревности, рассмеялась и кое-как примирила хозяев.

Вдруг Таськимо, вспомнив что-то страшное, побледнела:

— Дедушка, я боюсь одна, пойдем на берег,— попросила она Удыгира.

Старик с Таськимо уже подходили к кедру, как вдруг в десяти шагах от них поднялся огромный медведь и грозно рявкнул. Шедшая впереди Таськимо схватила палку и замахнулась на зверя. Медведь зло сверкнул глазами, развернулся и дал драпака.

— О-бой! Ти чипко смелый, девка! Амаку не боишься,— похвалил старик.

Кроме огрызка веревки, на дереве ничего не было. Только после долгих поисков Удыгир нашел несколько обглоданных костей. Завернул их в лохмотья от одежды покойного. На высоком берегу, в чаще леса они с Таськимо выкопали могилу и предали земле те останки.

Когда Таськимо осушила над могилой слезы, Удыгир спросил у нее:

— Окто он была?

— Мой муж.

— О, эльдэрэк!¹ Пошто убиль?

— Это злые люди так сделали.

Таськимо утерла слезы, взяла за руку Удыгира и тихо сказала:

— Пойдем, отец, а то matka-то, поди, беспокоится.

— Ладно, Таськимо, пойдем.

Стали жить втроем. Чум повеселел, стариков словно подменили, не узнать их, даже на ногу полегчали, засемили вокруг жилья. Таськимо была удалая баба. Дров наготовила целую поленицу. Стариков кормила вкусной едой. Рыбачила — любого мужичонку за пояс заткнет. Смелая была, научилась метко стрелять. То на солонцах, то скрадом, а то и во время осеннего рева нет-нет да упромыслит зверя. Один раз медведь-шатун забрел к ним и начал ломиться в чулан, где хранились запасы. Таськимо приоткрыла дверь и застрелила его.

Во время страшного бурана под Николу-зимнего Таськимо родила сына. Вот тут-то привалило счастье! Нарекли парнишку Колькой, в честь Николы святого —

¹ О, эльдэрэк! — О, ужас! (звенк.)

покровителя охотников и рыбаков. Старики от радости едва не рехнулись. Весело зажили люди в ветхом чуме. Угрюмая тайга словно цветами яркими расцвела, а жалкое жилье стало выше и шире вдвое. Разгладились морщины на лицах стариков. Песни колыбельные переплетаются с Колькиным ревом. Любо слушать!

Таськимо знала, что ее добрые старики и в лютые морозы не охнут в своем дырявом чуме, а как она будет зимовать с сыном? Ведь зима-то только начинается. Сказала она старику об этом. Старуха поддержала ее, мудро встала свое словечко:

— У нашей дочери и внучонка кожа белая да тонкая, на сильном морозе лопнет и вся кровь выльется, а их души спустятся на Нижнюю Землю к своим предкам.

Удыгир испуганно спросил, как быть.

— Надо рубить зимовье,— сказала Таськимо.

— Рубить могу! Я видель, как делают лючи¹,— весело сказал старик.

Недалеко от устья Давашкит проходила древняя тропа, гораздо шире охотничьей. Там была обширная поляна. Таськимо облюбовала это место.

— Отец, здесь срубим зимовье, а потом и за дом примемся. Вот тут огород будет: картошку, капусту сажать стану...

У Удыгира силы мало, но зато смекалист, да топор умеет держать, а у Таськимо неженская сила, да упрямства на двоих. Быстро сгношили зимовье, из плитняка сложили камин. Затопили смолевыми полешками. Сразу же ярко засверкало золотисто-алым светом, пахнущее спиртом и тайгой новое притулье. От радости Таськимо пустилась в пляс, потом сгребла Удыгира как ребенка, и давай кружиться.

— Вай, не убий! Мотри, я умрет! — испуганно взревел старик.

Быстро перетасили в зимовье жалкое шмутье, отметили новоселье. Зажила дружная семейка в тепле. Старики дни и ночи молились шаманским богам, что старость их обогрета, что есть кому похоронить.

В нашей жизни счастье-то долго не ютится в одном углу. Глянь, а несчастье тут рядом ходит. Простыл сорванец Колька и слег в постель. Удыгир привозил шамана, но он не помог парнишке. Таськимо съездила за

¹ Лючи — русский.

знахарем — тоже не излечил. Припечалились. Колька на глазах захирел, одни кости да кожа остались.

Как-то летом, чудом заехали в эти места ученые люди. Они мерили глубину Байкала. Искали чудовище, которое живет на дне моря. Так говорили эвенки про их занятия.

Таськимо накормила гостей белорыбицей, угостила бражкой. А Удыгир рассказывал им были и небылицы про море. Даже песни спел, а они все писали и писали в свои толстые книжки.

Подошел к Кольке высокий, худющий ученый.

— Что с ребенком? — спросил.

Таськимо объяснила все по порядку.

Гость осмотрел мальчонку, дал какие-то лекарства и сказал: «Легкие простудил малец. Нужно поить его медвежьим жиром».

Проезжие ученые уехали в Баргузин. Удыгир с Таськимо упромыслили медведя и стали поить Кольку жиром. И вот чудо! Парнишка набросился на еду, постепенно стал поправляться. Через месяц-другой поднялся на ноги. Румянец на щеках, глаза веселенькие. Снова пошел с дедом в море сети ставить. Стоит на верхней тетиве и сеть мечет как заправский рыбак. Не может нарадоваться Удыгир. Ни на шаг не отстает от него Колька. Будто беличий хвостик. Весело обоим! Таськимо с бабкой любят свои мужики.

Тунгус есть тунгус. Он добро в жизнь не забудет. Собрался Удыгир в Баргузин разыскивать того ученого человека, который помог вылечить Кольку. Хоть нечем одарить, так в ноги поклониться надо ему.

Перед дорогой спросил у дочери:

— Таськимо, как звать-то того ученого?

— Карлыч, — ответила она.

Долго бродил тунгус по Баргузину. Одно и то же спрашивает у людей:

— Харлыч нада, огде она? Скажи, огде Харлыч? Люди пожимают плечами.

К вечеру проголодался Удыгир и пошел на берег. Уже перед спуском к воде он остановился около человека, который, наклонившись над бревном, неумело ошкуривал его топором.

— Аяльди? — спросил он.

Человек взглянул на Удыгира, и оба узнали друг друга.

— Весь Баргузин ходиль, тебя нету.
— А как ты спрашивал?
— Харлыч огде? — так баила я.
— Э, друг, надо говорить Вильгельм Кюхельбеккер.

— О-бой! — затряс Удыгир головой. — Язык ломать можно... Я тебя Харлыч буду звать, ладно?

— Хорошо. Пусть буду Карлыч. А парнишка выздоровел?

— Колька здорова сталь. Пасибал!

Потом к ним подошел брат Карлыча — Михаил. Удыгир быстро развязал свою поняжку и из кожаного мешка достал с десяток омулей, туесок со сметаной, масло и деревенские творожные шаньги — подарок Таськимо.

Удыгир, вместо двух-трех дней, как думал прожить в Баргузине, пробыл целый месяц у Карлыча, не мог уехать, помогал братьям в строительстве. Они с утра до ночи рубили дом. Бревна не кантовали, а просто вырубали паз и клали на мох. Получился невысокий, неуклюжий, темный дом-зимовье. Темный от того, что окна, как у бани, маленькие, вместо стекол — бычий пузырь.

Братья Кюхельбекеры и этому были рады. Вошли в темнушку свою. Справили новоселье...

Удыгир собрался домой. Вильгельм подарил ему ружье, а Михаил нож и топор. А портрет Вильгельма, который висел на стене, старик без спросу снял и затолкал себе за пазуху.

— Харлыч Таськимо будет...

Братья рассмеялись. А Вильгельм сказал:

— Чудак-старик, приемная дочка у него Таськимо, а он и место так называет. Чую, останется это название чудное, приживется...

Карлыч оказался прав. Шли годы. Появились соседи. Свято место пусто не бывает — дворов с десяток стало. Поселенцы как само собой разумеющее приняли и название.

Так появилась в глухой северо-восточной части Подлеморья небольшая деревушка с действительно «чудным» названием «Таськимо», об истории ее возникновения и сейчас рассказывают в народе.

...Шел 1928 год. Семен Самойлов собрал рыбаков в небольшую коммуну. Власти дали коммуне лодки, пельмени, сети и прочий рыбацкий скарб, конфискованный у богатых рыбопромышленников.

В то время часть онгоконцев перекочевала в поселок Покойники, а с остальными Самойлов двинул в необжитую часть Подлеморья — деревню Таськимо, где «рыбы — хоть ведром черпай». Так говорили бывалые люди. Они-то и заманили сюда онгоконских рыбаков своими байками. Обижаться не приходилось — место изобильное: и лесной, и водной живности достаточно.

Сюда же подались и те, кто жил не в ладах с Советской властью. Край глухой, отдаленный. А во время продолжительных осенне-весенних распутиц и вовсе неприступный. Прибавим к этому, непроходимые горы с таежными дебрями, глухие ущелья, зверье. Словом, при нужде есть где укрыться.

Еще в самый расцвет нэпа улусный Совет обложил богача Алганая большим налогом — сдать государству сто бочек первосортного омуля. Морщился старый Алганай, но с государством рассчитался полностью. А шаман Хонгор злобно нашептывал Алганая: «Надо скорей перекочевать с Ольхона туда, где одно воронье каркает. Не то Советы три шкуры с тебя сдерут, а потом укоротят твой рост на голову».

Послушался шамана Алганай и перебрался в Таськимо. Здесь он построил рыбный лабаз, дом отгрохал, конечно, не такой, как на Ольхоне, но жить можно.

При них и синеглазая Цицик. Она по-прежнему продолжает говорить людям, что Алганай ее родной отец, хотя сама уже давно знает правду, как двадцать семь лет назад рыбак Третьяк от безысходной нужды продал Алганая свою годовалую дочку Ленку.

Особенно доволен переездом шаман Хонгор — уехал подальше от Советов.

В Таськимо в ту пору жили с десятков семей эвенков, да русский с бурятом, которых ветром буйным забросило сюда еще при царе Николае. Кормились они охотой и рыбалкой. Глушь да тьма — ни одного человека, который бы расписался на бумаге хоть одним азом. Пачкали сажей большой палец правой руки и ставили свою «печать».

Вот такое было время, когда Самойловская коммуна прибыла в Таськимо.

Стоял ясный июньский день, ледокол «Ангара» вошел в удобную бухту рядом с селеньем. На буксире за ним тянулась целая армада баркасов, сетевых лодок, палубниц и мелких посудин. В баркасах и сетевках стояли на привязи лошади и рогатый скот. Чернели свежей смолой аккуратно сложенные неводные «столбы». Желтели новенькие омулевые бочки. Лежали грудями веревки, наплавья и прочий рыбацкий инвентарь.

Ганька Магдаулев удивленно рассматривал незнакомые места.

Высоко, высоко вздыбились молочно-белые пики гольцов и своими острыми зубцами подперли небесную синь. А ниже, в подгольцовой зоне, тоже резко очерченные скалистые горы. Они покрыты зеленым бархатом темно-хвойных лесов. Бурные реки каскадом водопадов с шумом впадают в прозрачные воды Байкала.

...На низком песчаном берегу бухты приютились малюсенькие чумы эвенков, чернеют две-три избенки да несколько зимовок с плоскими крышами, вместо окон — маленькие отверстия. Среди них выделяется новый дом Алганая.

Семен Самойлов еще по зимнику приезжал разведать эти места. Облюбовал большую поляну под будущий поселок, куда и выпустили скот. Коровы сразу набросились на зеленую травку, а лошади заржали, начали кататься.

Прибежали чумазые ребяташки. С любопытством уставились на прибывших глазками-щелками. А взрослые, невозмутимо спокойные, стояли у своих чумов и смотрели на ледокол, на баркасы, на незнакомцев.

Коммунары окружили своего председателя.

Самойлов хрипловатым голосом сказал:

— Вот наша земляца. Будем гоношить себе притулья. Пакедова на большое не хватит сил, рубите зимовья да бани. Чичас нам не до жиру.

— Эй, хозяин, а мне не по нраву твоя поляна, — мотюгнувшись, заявил Макар Грабежов.

Самойлов пожал плечами.

— А можешь строиться в лесу рядом с берлогой.

— Во, куру мать! Это по нутру мне!

Семен подозвал к себе Гордея Страшных.

— А тебе, башлык¹, придется кормить строителей рыбой. Подбери себе сетевую бригаду и седни же иди в море.

* * *

Над синей гладью тучами летают чайки. А над чайками недвижно застыли «рыбные» облака. Они с утренней зарей выплыли откуда-то из-за гор и теперь повисли над морским простором. Облака плечистые, кудрявые, края как кипень белые, а середка нежно-пепельного цвета.

Гордей Страшных скупой улыбнулся, глядя в небо, затаенно заговорил:

— Седни рыба поднимается на самый верх, облака-то, вишь, «омулевые» — быть богатому промыслу.

Ганька с Петькой тоже задрали головы, поддакивают бригадиру.

— Наплавья придется привязывать к самой тети-ве, — предложил Магдаулев.

— Хошь полотном обматывай их! — хохотнул Петька.

...На восходе солнца уткнулась лодка сетевщиков в песчаный берег бухточки.

Рядом отаборилась шумная ватага. Оттуда слышался смех, выкрики. Прибыли родственники проведать рыбаков. Навезли домашнего печенья, сметаны, огурцов и, конечно, водки. Кто-то затянул песню, дружно подхватили:

Ой-да, во снем море корабель плывет,
Корабель плывет, как волна ревет.

На носу второй лодки, свесив ноги, сидел рыбак по прозвищу «Каря Очи» и тянул свою любимую:

Сгубили меня ка-а-арие о-очи,
Сгубила твоя красота.

— Эй, Ганька, заходи! — кричал он Магдаулеву.

— Дя Гордей в лес за водой меня послал, тороплюсь! — отшутился парень. Он спешил к ольхонским бурятам. Давненько не встречался Ганька с ольхонцами, да и нетерпелось узнать о Цицик. А тут как раз они отаборились рядом.

Лодки все смахивают одна на другую — одного хозяина. Раньше в таких лодках приходил в Онгокон бо-

¹ Башлык — бригадир.

гач Алганай со своими грязными, оборванными батраками. Возил с собой нарядную, сверкающую в цветах китайских шелках, приемную дочь — красавицу Цицик.

Алганая самого не видно, но почему-то с ними шаман Хонгор рыбачит.

«Зачем шаман-то им понадобился?» — удивился Магдаулев.

Подошел к полуголому, босому, до черноты загорелому рыбаку. Тот лениво двигал деревянной иглой — латал рваную сеть.

— Хозяин моря, амар-сайн!¹

Рыбак взглянул на парня. Мотнул головой.

— Дядя, скажи, пожалуйста, где Алганай у вас?

— Алганай? Зачем он тебе нужен?

— Знакомые мы.

Рыбак качал большой крутой головой.

— Знакомые? — насмешливо оглядел Магдаулева.

— Аха, знакомые. Я с Цицик больше-то...

— А-а, так бы и сказал, что тебе девка приглянулась. Это не мудрено, а сам-то Алганай пропал, болеет. За него шаман Хонгор ходит.

— Дочь-то у него жива ли?

— Цицик выздоровела... Если бы не Алганай, то давно бы ее не было в живых. На руках носил. Ночи не спал. Шаман Хонгор отыскал в горах какую-то шибко целебную траву и выпользовал девку. Замуж не торопится. Собирается в Баргузин поклониться могиле своего жениха. Алганай будто рехнулся от радости, когда его Цицик снова стала носиться на своем коняге.

— Это хорошо! А как ее увидеть, дядя?

— Седни в море пойдете?

— Да, будем метать сети.

— Проплывете ночь и как раз выйдете снасти сушить к Алганаевой стоянке. Цицик часто ездит туда, молочком нас балует.

— Спасибо, дядя.

Магдаулев помялся, помялся и попросил:

— Ты, тала², передай привет Цицик, вдруг не встречу ее на стоянке. Скажи от парня, который бывал на Ольхоне с Иннокентием Мельниковым.

— Ладно. Передам.

¹ Амар-сайн — здравствуйте.

² Тала — друг.

Бириканский рыбак Монка Харламов на собственной лодке тоже прибыл сюда. Сразу же присоседился к ольхонцам, около Хонгора व्यюном вьется. Шаман подозрительно оглядываясь, говорит Монке:

— У тебя, паря, тоже батраки?.. Смотри в оба. Эвон у Лозовского и Мельникова Совет отобрал все, что было нажито. Завтра тебе тоже худо будет, скажут, кулак, и все отнимут. Кое-что прятать нада, кое-что продай, не жалей, а то волкам в зубы, задарма.

— Ладно, дя Хонгор. Спасибо за добрый совет.

Шаман порылся за пазухой, достал платок, развернул и подал Монке толстую тетрадь.

— Читай. Ты грамоту знаешь?

— Это откуда у тебя? — удивился Монка.

— Умный человек давал.

Шаман еще ниже наклонился к Монке:

— Скоро Советы долой. Атаман Семенов придет. Ему япон помогает, герман помогает. Нам нада тоже ему помогать.

Монка удивленно уставился на шамана.

— Ты, дя Хонгор, откуда это нахватался?

— Есть такой челобех. Все видит, все знает. Я приведу его к тебе. Пусть рыбачит. Он нужный челобех. Понял?

— Веди мужика. У меня сетей много, а рук мало.

...Удалой народец рыбаки. Дело сделали быстро — все лодки выметали сети. На одной из них заиграла гармонь, из других слышится говор, смех, будто стоят лодки совсем рядышком. А на самом деле — не менее двух километров друг от друга. Вот насколько прозрачен и легок воздух на Байкале!

Ганька не может оторваться, смотрит зачарованный — величественные гребни Байкальского хребта, окрашенные в розовый цвет последними лучами уходящего солнца. Ниже гольцов — горы лиловые, а у подножия — темно-пепельные. И все это на фоне синего-синего, без единого облачка, неба.

Вблизи лодки море пестрит фантастическим узором, словно платье какой-то царевны из древней легенды. Вот совсем рядом пляшут кровавистые блики, чуть левее розовые, дальше сиреневые полосы узкими ленточками разбегаются вширь и переплетаются со светло-зе-

леными. От множества красок рябит в глазах. Ганька затаил дыхание, боится спугнуть это сказочное видение скоротечной вечерней зари.

...Утром, чуть стало отбеливать, налетел дикий сивер, в соседних лодках засуетились, закричали весла. Мужики спешат скорее вытянуть сети и бежать на берег, черт с ней, с рыбой. С сивером шутки плохи!

Только Гордей не поддался панике. Он заставил своих выбирать рыбу из сетей. Сетовку здорово покидывает. Волны крутые, чуть боком станет лодка — хлещет через борт вал воды. Пронька Синенький еле успевает отчерпывать большим ведром. Морщится и боязливо смотрит на разбушевавшееся море. Наконец не вытерпел, заревел:

— Дя Гордей, утонем!

Страшных показал ему здоровенный кулак, Ганька с Петькой рассмеялись.

А рыбы, как на грех, попало в сети тьма-тьмушая — одна возле другой понатыкались и торчат серебряными гвоздиками. Бригадир торопит своих парней.

Ганька с Петькой с малолетства в море. Ловкачи! Движения рук точные, быстрые. Любо смотреть на их работу. Омуль за омулем мелькают под палубу.

— Дя Гордей, все уж на берег убегли! — кричит надсадно Синенький. — Одне мы в море! Утонем!

Страшных рывкнул так, что ведро выпало из Пронькиных рук. Он снова схватил его и пуще прежнего принялся отчерпывать. А вода в лодке нисколько не убывает — с каждым порывом сивера волна, будто издеваясь над парнем, плюет да плюет через борт, прямо в спину.

Наконец Синенький обессилел. Упал. Его подменил напарник — молчаливый Ванька Болтунок. За те десять дней, как они с Синеньким зачислены в бригаду, этот молчун произнес не более десяти слов.

Петька морщился, когда они брались за что-нибудь.

— Эй, свинопасы, выкину за борт! — сердито кричал он на них.

— Не реви, Петька! День-два — да и научатся парни. Вишь, как стараются — мокрота во все концы прет, — защищал новичков Ганька.

Наконец осталось всего конца три сетей в море. Бригадир рывкнул:

— Выбирай с рыбой! Шевелись! Растак перетак!.. Р-р-раззтак!..

Старый башлык умел матюгаться. Он считал, что без крепкого слова в опасном рыбацком промысле не обойтись.

Страшным порывом ветра сорвало с высокой волны белый гребень и хлестануло Ганьку с Петькой, вытянувшим последний конец сетей и крестовину хвостового маяка.

Могутные парни качнулись, но устояли на ногах.

У Гордея матом вырвалось:

— Дьяволы! Растаку их сынов бабкиных! — Из-под лохматых белесых бровей одобрительно сверкнули глаза бригадира.

Ванька кое-как двигал руками. Вода в лодке заметно прибавлялась и уже заливала палубу.

Петька откинул молчуна в безопасное место и, в его сильных руках ведро, словно игрушечное, замелькало в воздухе. Через несколько минут вода булькала только лишь под палубой, а Петька продолжал все с тем же проворством махать ведром.

Страшных взмахом руки подозвал к себе Ганьку.

— Держи кормовое весло! — приказал он.

На берегу волновались, наблюдая, как застигнутая бурей рыбацкая лодка медленно подвигается к бухте. Громадная крутая волна словно щепку подняла ее на свой гребень и швырнула в глубокое черное провалище. Лодка исчезла...

В толпе кто-то охнул.

— Ни черта не сделаете, там подлemorцы! — уверенно сказал старый рыбак.

В следующий миг лодка показалась над водой, но очередная волна снова приподняла ее и швырнула носом вниз.

В этот момент Ганька с Петькой изо всех сил налегали на тяжелые весла, главное — выдержать, не изменить направление... Когда проскочили между мысом и небольшой скалой, торчащей из воды, Ганька облегченно вздохнул и взглянул туда, где только что жестоко трепала их лодку крутая морская волна. Там он увидел черные тучи, черную воду, а тут, рядом — тихую песчаную бухту, ярко-зеленый лес, тепло и безопасность. Дымились большая юрта. Чумазы, оборванные рыбаки молча смотрели на прибывших. По их виду Ганька сразу определил, что вышли они к ольхонцам.

— А где же Цицик? — у Ганьки заныло сердце.

...Друзья молча лежали на берегу, отдыхая после перенесенного напряжения, когда рядом ткнулась носом лодка Монки Харламова. Видно, шла вдоль берега.

— Жук-то сюда приполз,— толкнул Петьку Магдаулев.

Петька цвиркнул в сторону Харламова.

— Ничо, скоро и до него доберутся.

— Пора бы. Вишь, посудину новую сгрохал. А эти замухрышки-то в гребях — видать, его батраки.

В Монкиной лодке сидели три парня. Малорослые, не по-рыбацки хлипкие, не успевшие еще загореть, они выглядели как-то не у своих дел. Лениво отчерпывал воду бородач. Нет-нет да взглянет украдкой на рыбацкий табор. Зеленые глаза ни на чем не останавливаются долго: бегают, моргают, прячутся в густых пушистых ресницах за резко очерченными бровями. Это и был тот самый «наш челобех», которого привел к Харламову шаман Хонгор.

Ганька Магдаулев взобрался на соседнюю скалу. Перед ним раскинулась длинная полянка, которая к концу сузилась и уперлась в густой сосняк.

Неожиданно из-за сопочки выехала женщина. Она быстро привязала лошадь к березке, бегом избежала на пригорок и стала смотреть в сторону сиренево-синих гор Байкальского хребта.

«А вдруг это Цицик?» — радостно подумал Ганька.

«Она или не она?» — перед Ганькой замелькал Онгоконский пирс и там Цицик... Идет девушка в голубом шелковом халате, подпоясанном полосатым, словно радуга, кушачком. На голове островерхая с собольей оторочкой шапочка. Поравнялась с Ганькой: огромные ярко-синие глаза, белое лицо с нежным овалом, красиво очерченные губы мягко улыбаются...

«Дай, ужо крикну», — решил Магдаулев. Спрятался за выступ скалы.

— Цицик!

Женщина обернулась в сторону скалы. Молчит.

— Цицик! — повторил Ганька.

— Ау-у! Я здесь, — раздалось в ответ.

Не помня себя Магдаулев побежал. Почему-то так же загорелась под ним земля, как давным-давно на баргузинском базаре. Лицо пылало огнем, пересохло во рту.

На него уставились все те же светлые глаза. При-
смотрелся, нет, уже не те — грусть в них неизбывная.
Лицо потеряло девичий нежный овал. Оно стало блед-
нее, осунулось. Но несмотря на это Цицик была прекрас-
на. Она шагнула навстречу.

— Волчонок?! Не может быть!..

— Я, я... сын Волчонка.

— Ой, Ганя?.. До чего же тыходишь на отца!

Цицик смотрела на него с радостным удивлением.
Это длилось секунду. А затем ее глаза погрузнели,
стали как море в осеннюю непогоду. Вид у Цицик был
усталый, подавленный.

«Она очень несчастна. И не скрывает... Видать, даже
привыкла к этому», — заключил Магдаулев.

Цицик долго расспрашивала про Онгокон. Жалела,
что укочевали оттуда, что покинули и остров Елены.
Про коммуны спросила лишь вскользь. Жаловалась, что
очень скучает по Ольхону, что бабай Алганай болеет...

Цицик примолкла. Магдаулев спросил:

— Как тогда случилось? Ведь вас тяжело ранило.

Она быстрым взглядом окинула Ганьку с ног до го-
ловы.

— О чем ты?.. А, про белых спрашиваешь? — с мину-
ту помолчала, словно раздумывая, потом тихо загово-
рила:

— У нас обедали офицеры. После их отъезда бабай
сказал, что кто-то донес белым о партизанах, что ночью
их окружают и всех перебьют. Сначала я растерялась, по-
том взяла себя в руки. Ведь с партизанами был Кеша.
Стала думать, как предупредить их. Ничего не придума-
ла толком. Вскочила на Гоихана и помчалась в сторону
партизанской пещеры. В половине пути был перелесок.
Только въехала туда, гляжу — на дороге стоят два воо-
руженных человека, а остальные — вокруг маленького
костра. Хитрые черти, жгли лиственничные сучья, чтоб
огонь не дымил.

— Стой! Кто идет? — рявкнул один из них.

Я натянула повод. Конь остановился, зафыркал, по-
пятился.

— Ты чья? Откуда? — Усач грозно уставился на ме-
ня. — Куда едешь?

Я молчала.

«Окружили партизан. Гибель неминуемая. А там Ке-
ша... там... Что же мне делать?» — думала про себя.

— Эй, девка, ты что немтырка? — Усач вплотную подошел ко мне и взял Гоихана под уздцы.

«На погонах две полоски. Ихний начальник, наверно. На той неделе к отцу приезжали с такими же погонами, и еще у одного из них были звездочки. Отец называл его господином есаулом», — соображаю я.

— Ты кто такая? — еще раз спросил урядник и вынул саблю.

Помимо воли глаза заволокло слезами. Ясно представила себе, как станут допрашивать, истязать, а потом обязательно казнят Кешу. Усилием воли взяла себя в руки.

— Я офицеру буду жаловаться, убери саблю! — нарочно сердито закричала на усача. — Я дочь Алганая!

— Э-э! Вон какая ты птица. Захотела себя за бурятку выдать? Все ясно. Значит, бурятка ты? — Фуражка с желтым околышком надвинулась на глаза.

— Правду же говорю, я дочь Алганая. Почему не верите?

— Ха-ха-ха, — расхохотался усач, — синеглазая бурятка! Русые кудри. Кого хочешь обмануть?

Меня окружили ржущие противные рожи, стало жутко.

— Охо, станичники, девка-то раскрасавица.

— Откуда занесло ее сюды?

— Партизанка. Чего тут гадать-то.

— Верно, в разведку послали ее. Ишь как зыркает глазищами.

— Ничо бы не имел с такой поспать.

— А што долго думать, давайте ее.

— Стаскивай, Егор.

Усач залапал меня, грубо стянул с седла и подтащил к костру. Я обозлилась и замахнулась плеткой, но усач вырвал ее.

— Ишь ты! Драться. Храбрая нашлась. А ну посмотрим на ее телеса.

— Оголяй, чего там! — раздались крики.

Я обезумела, стала драться, царапалась, кусалась. Но потом цепкие руки схватили меня так крепко, что не могла пошевелиться. А другие начали стаскивать одежду.

Вдруг раздались быстрые шаги.

— Сволочи! Что делаете?! Это же дочь Алганая! — услышала я громкий командирский окрик.

Высокий красивый офицер поверх голов своих подчиненных растерянно смотрел на меня.

— Разойдись! — скомандовал он.

Казаки, ругаясь, удалились кто куда.

— Пардон, мадемуазель Цицик! Я их накажу, — отвернувшись, извинился офицер.

Я кое-как пришла в себя. Меня трясло. С трудом оделась. Словно пьяная подошла к Гоихану, долго не могла попасть ногой в стремя.

Офицер подскочил ко мне и ловко помог сесть.

— Извиняюсь, не могу проводить. Война. Рядом партизаны, — оправдывался есаул, которого только теперь я узнала.

Гоихан сразу же пустился в галоп. Я уткнулась в гриву коня и разрыдалась. «Рядом партизаны!» — будто резанули, больно кольнули слова офицера. Оглянулась назад, беляки крутились около своих коней.

«Кто-то выдал партизан. Перебьют всех. Погибнет Кеша. Что делать? Если я сейчас поверну в сторону партизанской пещеры, беляки сразу же пустятся вдогон. Начнут стрелять. Партизаны услышат пальбу и примут меры. Пусть убьют меня, но я должна предупредить».

Резко свернула с дороги и огрела плеткой Гоихана.

— Ну, милый, выручай!

Конь помчался во всю прыть, на какую был способен. В глазах рябило, захватило дух. Через несколько минут бешеной скачки я оглянулась назад.

В полуверсте, подымая клубы пыли, мчались белые. Раздался выстрел, затем второй, третий. Я пригнулась, пустила в ход плетку.

Вдруг со скалы донесся одинокий выстрел. Кто-то из партизан поднял тревогу.

«По белякам пальнул», — догадалась я и со страхом оглянулась. Передний, видимо тот красивый офицер, взмахнул руками и полетел с коня.

— Это Волчонок стрельнул! Молодец, Волчонок! — закричала я.

И вдруг что-то больно кольнуло, обожгло огнем...

Больше ничего не помню. Долго болела. Бредила, говорят... Ой, как страшно! Все время во сне раздевали меня казаки, догоняли, кололи, резали. Мне было больно, больно...

Боо Хонгор лечил меня какими-то горькими травами. Уже потом, когда я пришла в себя и очень сучала по

мору, он надевал свой шаманский халат, который весь сиял, искрился и звенел от множества побрякушек и бубенчиков. Становился каким-то неузнаваемо величественным и страшным. В полутьме жутко сверкали глаза. Подражая вороне, каркал. Потом кланялся шаманским богам и каким-то нечеловеческим голосом слезно бубнил молитву.

— О, небожители! Спасите светлую, как лебедь, девицу Цицик... — Дальше его просьбы становились очень смешными, и я слушала их:

— Велите ей родить Чингисхана Второго, который своим огненным бичом накажет тех, кто погряз в грехах... Великий потрясатель вселенной спасет мир от гибели!.. — кричал в конце своей молитвы Хонгор. А потом пускался в жуткий, неистовый танец.

Долго выздоравливала я...

С берега донесся крик:

— Га-ань-ка! Га-ань-ка-а!

Магдаулев с досады крикнул.

— Зовут меня сети набирать.

— Иди, да и мне пора. А рассказать — я уж все сказала... Я ведь ищу коровенок своих. Убредли куда-то. А ты, Ганя, приходи ко мне. Не стесняйся. — Цицик быстро сбежала к коню, легко вскочила в седло и, не оглянувшись, исчезла за поворотом.

Магдаулев долго стоял словно замороженный. Перед ним ярко-синие до боли знакомые глаза Цицик, а рядом с ней Кеша Мельников, Добанов и отец — Волчонок...

Сзади раздался топот. Запыхавшись, к нему подбежал Синенький.

— Ганьча, башлык зовет!

Глава вторая

В Таськимо жаркое время — все, стар и мал, на покосе. Только сам Самойлов да несколько плотников продолжают строить для коммуны жилье.

Лучшими сенокосчиками бесспорно признаны молодые, во главе с Магдаулевым. Задорные, горячие взяли они рядом с первой сенокосной бригадой деляну и косят от темна до темна. Пока соседние бригадники поднимаются, чаевничают, а у них уж сотни прокосов с высокими валками духмяной свежескошенной травы.

В бригаде десять человек. Десять, с различными характерами, разных людей с неодинаковым «аппетитом» на работу. Кто-то из них любит «прытко робить», кто-то боится лишний шаг шагнуть. Но здесь, в бригаде, тон задают комсомольцы. Магдаулев с Петькой так размашисто и споро косят, что любо смотреть. Остальные невольно тянутся за ними. Бывало, солнце обогреет, осушит утреннюю росу, бригадники Магдаулева, уже наработавшиеся, идут завтракать. А соседи только-только пройдут по первому прокосу.

И днем, все так же, продолжала кипеть работа у молодежной бригады — гребут, копнят, стогуют; копновою лихो мчатся от зарода к копнам. Крик, смех, шутки, песни.

Во время перекура Ульяна Медведева запела:

Косила я, косила,
Литовочку забросила.
Литовочку под елочку,
Сама пошла к миленькому.

— А што к нему ходить, он же рядом сидит и глаз не сводит с тебя.

Раздался дружный хохот.

Пронька Синенький, к которому была адресована шутка, покраснел и отодвинулся от Ульяны.

Раздался новый взрыв хохота.

— Хы, тоже мне жених нашелся! — сплюнул Петька, — с его ли силенкой к Ульяне подползать.

Синенький взъерошился на Грабежова.

— Я, може, могутней тебя был бы, если б меня не испортили беляки.

— Интересно, чем ты их вынудил? — спросила Медведева. — Небось врешь?

— Тебе бы, Уля, такой интерес на свою «барыню» получить, — сердито огрызнулся Пронька.

— Но, но, не сердись, миленький! Вот возьму, назло всем, женюсь на тебе, — улыбаясь, заявила Ульяна.

Магдаулев одобряюще подмигнул Синенькому, дескать, чего теряться-то.

— Мы же шутим, штоб усталь согнать. Ты, Пронча, расскажи нам, как это случилось, — попросил бригадир.

Синенький растерялся неожиданному обороту. С минуту моргая смотрел на товарищей. Потом медленно, заикаясь, поведал им.

— Оно... паря... т-так сказать не п-просто...

— Сто граммов бы тебе, тогдысь было бы «просто», — кто-то бросил шутку.

Синенький улыбнулся. Мотнул головой.

— ...Деревня наша на тракту стоит. Война шла — заваруха, да и только. Седни беляки, завтра красные, послезавтра опять беляки. Да оно бы еще ничего, если б все ходили в своей шкуре.

Один раз к нам заехали военные. У всех банты красные. У командира орден красный сверкает. Тятка с мамкой с ног сбились. Угощают. Даже самогонку на стол выдвинули.

— Кушайте, родимые защитники наши!

Вояки пьют, крикают, поддакивают тятке моему.

А когда наелись, все опорожнили, зыркнул глазищами командир.

— Значит, любишь красных?

— А то как же! — пропел тятка.

Командир вынул наган, повертел в руках.

— Надо бы прихлопнуть тебя, собаку, — сказал он, — да настроение жаль портить себе. А ну-ка, урядник, отпотчуй его за хлеб-соль.

Синенький затряс белесой шевелюрой.

— Ох, что было! Потом тятка целый месяц лежал на брюхе, полати давил.

— А с тобой чо сотворили? — спросила Ульяна.

— Со мной тоже было... Однажды мы с друзьями вышли на улицу — уже за девчонками подглядывали. Едет человек десять беляков. У всех погоны блестят. Рожи страшные — куда ни поставь, хушь на ту же божницу — спугаться можно... старший и спрашивает:

— Красные давно проехали на Додонику?

— Не знаем. Не видали, — ответили мы.

— А сами-то небось тоже краснож...?

Я, долго не думая, крикнул:

— Нет, дяденька, мы синенькие!

На мою беду кто-то из наших хохотнул.

— А-а, ты, гаденыш, еще и насмехаешься?!

На веснушчатом Пронькином лице появилось неподдельное испуганно-страдальческое выражение.

— Ох, братцы, умели же они плеткой робить! Целую неделю оберегал я свою «барыню» — все боялся прижать ее к лавке. Ел, пил стоя. Каково было мне? С тех пор и прозвали меня Синеньким...

В этот момент из-за кустов выехал эвенк. Все повернулись к нему. Это был сосед Анкоуль, которого называли не иначе как «товарис предчедатель». Он маленький, шупленький, чтоб придать своему темно-бронзовому лицу надлежашую для главы охотничьей артели важность, постоянно хмурил короткие, густые брови. У «товариса предчедателя» на шее висела артель из десяти охотников.

Несмотря на то что хорошо владел русским языком, он сухо буркнул:

— Аяльди?

— Аяксот! — ответил Магдаулев.

— Я долго стоял за деревом. Любовался. Завидовал. Шибко ладно траву собираете. Это хорошо. Скотдохнуть не будет. А мои артельщики ждут, когда пойдут дожди, когда трава ветошью станет. Э-эх, так бы и отколотил их рукояткой пальмы.

— Дядя Анкоуль, ты объединись с нашей коммуной.

Эвенк хитро прищурился, узенькие глаза утонули в ресницах.

— Сейчас я сплю со своей бабой, а в коммуне — мою заберет другой мужик, а мне подсунут какую-нибудь старую дохлятину.

— Это кто тебе так сказал?

— Шаман Хонгор так баит.

— Врет, старая ворона!

— А еще баит, што ты, сын Волчонка, являешься прямым потомком князей Табангутов, которые пили кровь тунгусскую. Ты монгол!

Магдаулев рассмеялся.

— Ну и враты! — Ганька, продолжая улыбаться, спросил: — А в колхоз пойдешь?

— Это што за штуковина?

— Та же артель, только большая. И порядок там будет не такой, как в твоей артелке.

— Об этом подумаю... А ты, сын Волчонка, напиши-ка начальству, пусть русского шамана пришлют наших олешек лечить, а тодохнут шибко.

— Ладно, напишу в газету. Напечатают, чтоб все читали, что в Таськимо у Анкоуля болят олени, а ветеринара нету.

— О-бой! Ты можешь это? — он удивленно уставился на Магдаулева.

— Могу.

Анкоуль покачал головой и недоверчиво посмотрел на парня.

— Поди, врешь?

* * *

Магдаулев робко постучал в дверь.

— Войдите, — услышал слабый женский голос.

Еще не перешагнув порога, увидел сидевшую за столом Цицик. Она поспешно утерла платочком глаза, поправила волосы.

— Здравствуй, Ганя, проходи, — сухо ответила на приветствие, пододвинула стул, — садись, а я чем-нибудь угошу тебя.

— Спасибо, Цицик, я только из-за стола.

Из соседней комнаты послышался старческий кашель.

— Бабай болеет, — поставив на стол самовар, тихо говорила хозяйка. — Несчастье одно: стал сердитым, неговорчивым. Велит, чтоб я взяла рыбалку в свои руки, а мне зачем нужна такая обуза. Ворчит, ругается, а я плачу... Так и живем.

Цицик нервно растирала виски.

— Плакать-то не надо. Ты же ведь сильная.

— Зачем мне все эти невода, сети, лодки? — перейдя на шепот, быстро-быстро заговорила Цицик: — Я хочу уехать в город. Когда болела, то дала себе зарок — выздоровлю — пойду учиться на доктора. Я все равно буду лечить людей... Знаю, что такое боль, что такое немочь... Я все испытала на себе, когда три года лежала в постели.

Окинув гостя большими грустными глазами, Цицик пододвинула стакан с чаем.

Магдаулев тяжело вздохнул.

— По делу зашел. Вижу. Пей чай, вон калачики на тебя смотрят. О деле потом.

— Да... у меня... Попросили зайти и узнать...

— Говори. Может, помогу.

— Дык, видишь... Осень скоро, а детей учить негде. Себе-то кое-как срубили притулья, а школу не успели. Выдохлись...

— Я поняла, Ганя... Я бы сейчас же перешла во флигель, но бабай Алганай... — Цицик покачала головой.

— А ты попроси хорошенько. Он же ради тебя на все пойдет.

— Не знаю. Попытаюсь. — Хозяйка горестно поджала губы.

Магдаулев расхрабрился, пошел напрямик.

— Цицик, ведь власти-то могут вынести постановление и все, что есть у вас, конфискуют.

Хозяйка махнула легкой рукой.

— Ну и пусть. Родилась я в бедной семье Матвея Третьяка, мне не страшно вернуться туда же. Только ни матери, ни отца нет в живых... А то бы... — Цицик резко вздернулась. — Лучше бы ходила простой рыбацкой. Ты бы, Ганя, взял меня в свою лодку?

— Я?! А как же! Хоть сейчас! — Магдаулев весело засмеялся, потом спохватился, что рядом Алганай лежит, зажал рот.

В глазах Цицик постепенно растаял ледок, она заулыбалась.

— Ладно, Ганя, буду добиваться. Считай меня своей союзницей. А кого учителем поставят?

— Приедет учительница.

— А ты, Ганя, тоже грамотный. Я помню.

— Да-а, какой из меня учитель. В райкоме мне поручили учить взрослых, а потом обещали послать на курсы.

— Это хорошо! — Цицик придвинулась, обдала Магдаулева запахом духов и еще чем-то, от которого он словно растаял и превратился в туманную рыхлость. — Я хочу спросить, мой тала, что будет дальше? Я никак не могу разобраться. Ведь все ломается. А вдруг это окажется ошибкой, а?..

Ганька вскочил.

— Смотри, Цицик, кругом тайга, тайга и нет ей конца краю. Придет время, мы вырубим ее и построим города, где люди станут учиться в институтах, ходить в театры, а на заводах и фабриках будут делать машины и разные красивые нужные вещи. А на полях станут сеять хлеб.

— А охотников куда денешь?

— Хы, охотники?.. Охота?.. Это ж страшный труд... Вон наши деды, отцы охотились, а что толку? Вечная нищета. Уж я-то знаю! Можно и без охоты прожить. У кого появится желание побегать с ружьем, тем останется кусок тайги. Валяй и забавляйся. Охота станет просто забавой — от безделья иди в тайгу.

Цицик неуверенно возразила:

— Не-ет, Ганя, ты, однако, ошибаешься. Шаман Хонгор говорит, что если сожгут да вырубят тайгу, то Байкал умрет. Реки пересохнут. А воды рек — это кровь нашего моря. Не-ет, Ганя, ведь боо Хонгор мудр. Он все знает...

— Да что твой шаман... — махнул рукой Ганька.

В соседней комнате закашлялся Алганай.

— Дочка, иди сюда.

Цицик метнулась к больному.

Через минуту появилась со стаканом в руке, тяжело вздохнула и покачала головой.

Магдаулев поднялся.

— Сиди, Ганя, я сейчас.

— Меня ждут. Пора сети набирать.

* * *

Алганая полегчало. Он ходил по амбарам и какими-то помолодевшими глазами осматривал сети, неводы, веревки. Хозяйским взором прощупал скот. Будто ко всему приценивался, торговался. То одобрительно кивал, цокал языком, а то морщился — поднимал бесхозяйственно валявшиеся снасти, пешни, сачки.

Довольный осмотром вошел в дом.

— Дочь, я хочу чай пить!

— Садись, садись за стол! У меня все готово, — весело пригласила отца Цицик.

За чаем Алганай не сводил глаз с дочери. Тоже внимательно приглядывался, будто приценивался. Одобрительно крякал, облизывал дряблые, старческие губы, чмокал, будто его дочь сладкая конфета. Потом тяжело вздохнул, махнул рукой и тихо спросил:

— Значит, рыбалку не возьмешь в свои руки?

Цицик отрицательно покачала головой.

— Значит, все нажитое прахом ухнет в зубы дракона?

— Зачем дракону. Коммуне отдай. Людям польза будет.

— Старую песню слышу. Легко сказать — отдай.

— Бабай, ты уж стар, здоровья нету... У меня тоже болит грудь... Бросим все — и в город... Учиться мне надо... Отдадим все коммуне, а?..

Алганай долго гладил мягкие волосы дочери. Молчал.

— Бабай, лучше бы ты сына взял в дети, чем меня...
Старик вздернулся.

— Тысячу сынов не взял бы за одну тебя! Ты так не говори. Сердце... — Алганай зажал руками левую половину груди. Долго отпыхивался.

— Бабай, ложись, я тебе лекарство налажу. — Цицик закружилась между Алганаем и его спальней.

— Ничего, пройдет, доченька.

В доме наступила тишина, лишь слышалось тиканье больших настенных часов, да с улицы доносилось глухое гавканье чьей-то собачонки.

— Значит, тебе мое хозяйство не нужно? — еще раз переспросил старик.

— Зачем мне?! Почему не поймешь-то!.. Ведь времена-то другие настали. Надо ближе к народу, а мы все дальше и дальше. Не видишь?

— Тогда я сожгу все свое богатство!

— Тебя посадят, а я куда? Да и мне могут сделать плохое.

Алганай неожиданно легко поднялся.

— Неужели?! Значит... тебя тоже?..

— А ты как думал? Скажут, знала, а скрыла...

— За это и тебя могут посадить?

— Точно не знаю, но будет и мне плохо. Главное, совесть загрызет, что не смогла переубедить тебя, отвести от беды.

Старик плюхнулся на диван.

Долго молчали. Цицик убирала со стола, а Алганай зажал руками бритую голову. Думал. Наконец хрипло сказал:

— Ладно, дочь. Будь што будет — послушаюсь тебя.

* * *

На следующий день Самойлов собрал общее собрание поселка Таськимо.

В президиуме сидели Анкоуль, Самойлов и Магдаулев.

Собрание открыл Семен.

— Товарищи! — грозно насупился он. — Товарищи! Мы в этом году кое-как успели сгношить себе немудрященькие притулья, а школу построить не хватило силенок. Факт сурьезный, а потому я собрал партячейку и поставил вопрос: — Где будем учить детвору?

Все мы были готовы на одно — конфисковать кулацкий дом Алганая. Но опять же тут есть загвоздка: его дочь Цицик пролила кровь за Советскую власть. Как тут быть? Вопрос сурьезный и конкретный. Факт. Вот мы и решили пригласить гражданина Алганая на наше собрание, чтоб он добровольно отдал свой большой дом под школу.

Алганай кряхтя поднялся, спокойно оглядел людей.

— Беда моя — сына нету. А дочь Цицик хочет учиться на доктора. Она отказалась от дома, от хозяйства. Здоровье мое хануло. Осталось жить, — Алганай растопырил пальцы правой руки, — еще и те не проживу. Вот и решил отдавать вам не только дом, а всю рыбалку свою — амбары с рыболовными снастями, лодки, шундры-мундры.

Вскочил молодой рыбак.

— Эге, зачуял старый лис, худое! Заюлил. Добрым стал! А ты, Алганай, забыл, как из нас жилы тянул? Нет тебе прощения! Тебя вместе с Цицик надо гнать из Таськимо. Да еще шамана Хонгора туда же, чтоб не распускал худые слухи против Ленина и Советов.

Поднялся шум. Всех перекричал Магдаулев.

— Ты, парень, дочь Алганая не трогай! Она помогала партизанам. Она свою кровь пролила за большевиков, за батыра Ленина. Алганай из Иркутска винтовки целыми возами привозил на Ольхон, патроны ящиками. Кому? А? Не знаешь? А люди знают. Знаю я — партизанам возил он. Я своими руками разгружал да помогал прятать. Потом Цицик с Кешкой Мельниковым переправляли это оружие через море партизанам знамени того Мороза. Но даром все это не обошлось. Кешку расстреляли беляки, а Цицик ранили. Кое-как оклема-лась девка, а ты — выслать! Э-эх, ты-ы, сосунок!

Разразился невообразимый шум. Одни проклинали Алганая, другие поддерживали Магдаулева.

Вздыбился Самойлов, властно рывкнул.

— Хватит! — стукнул кулаком об стол.

Постепенно шум улегся.

— Я знаю Алганая с самого детства. Про Цицик тоже все знают — из самого бедняцкого сословия она. Алганай удочерил ее, когда Цицик было от роду год. Был у нас рыбак Матвей Третьяк, от нужды отдал он свою Ленку за хороший калым. Так что, Цицик наш человек по всем статьям. А Алганай приходил в наш Курбулик

со своими батраками. Должен прямо заявить, што в те времена, он был алимент с явным капиталистическим уклоном, эксплуататор в самом натуральном виде. Таким он дошел и до наших дней. Мы могли его раскулачить и отправить в ссылку, но, учитывая заслуги Цицик перед революционным народом, нужно его просьбу убаготворить. Все, точка! Якорь на этом деле!

Второй вопрос у нас такой, — Самойлов строго взглянул на Магдаулева, — райком требует направить на учебу одного человека. Крутился я, вертелся, а в результате у нас один грамотный из молодежи — Магдаулев.

— Пусть ходит! Нас учить будет, — сказал Анкоуль.

— Элекин! Элекин! Правильно! Правильно! — кричали на эвенском и русском, а буряты на том и на другом.

— Мэнги бакша!² Свой учитель!

— Доморощенный!

— Только смотри, Семен, за ним! А то за городской юбкой убежит!

— Ха-ха-ха! Верно, паря! Правда, паря!

Собрание постановило Алганаю с Цицик перейти во флигель, а в его большом доме открыть школу. Из имущества им оставили лодку-хайрюзовку, десять концов омулевых сетей, пару лошадей с упряжью, корову с теленком и несколько овец.

Шаман ворвался в дом, когда Цицик с отцом сидели за столом и мирно пили чай. Быстро подойдя к столу, Хонгор заскрежетал желтыми гнилыми зубами. Глаза щелки горели огнем.

— Ты, пузатая баба, а не мужик. Зачем отдал все богатство большевикам?

Алганай испуганно заморгал, побледнел, подвинулся к дочери.

— Народ ведь... Куды я теперь без них... состарился.

Цицик невозмутимо оглядела шамана, спокойно заговорила:

— Боо Хонгор, не ругай бабая. Я его просила. Зачем нам весь рыбацкий скарб? Бабай же не может рыбачить. Пусть народ пользуется. А большой дом — зря дрова жечь, нам и этого хватит. Да и вообще, я помогала большевикам, любила большевика Кешу и буду любить.

¹ Элекин — правильно.

² Мэнги бакша — свой учитель.

Шаман словно ужаленный закрутился, закричал:

— Любила! Любила! Сколько бед через твою любовь все мы перенесли. Не ели, не спали пока ты болела. Спасибо скажи мне. Я тебя вылечил. Я — боо Хонгор. А пожелаю — ты умрешь!

Алганай заплакал. Цицик испуганно прижалась к отцу. Шаман, выкрикивая какие-то заклинания, выскочил во двор.

Глава третья

На вертлявой хайрюзовке Петька с Ганькой подплыли к «Ангаре».

— Монаток-то у ты охо-хо! Надо бы грузчиков позвать, — шутил Грабежов. — Как подымать-то?

— Но, давай лапу! — Ганька весело сверкнул зубами. Пожал ручищу друга и полез вверх по веревочной лестнице.

Только успел подняться на борт, «Ангара» оглушительно загудела.

На берегу стояли мать, рядом Анка, Ульяна, цветасто бугрилась матерая Хиония, а на перевернутой лодке старика Филимона сидел Гордей.

Женщины махали платками. Гордей поднялся и, сильно прихрамывая, потопал домой.

Ганька в ответ крутил над головой кепчонкой, а сам тревожно вглядывался в тропу, по которой обычно Цицик ходила на пирс, но ее не было. Он бы еще издали заметил мелькающий меж деревьями белый шарф...

Вчера, перед дорогой, он забежал к ней на минутку. Хотелось поговорить, поделиться радостью, что едет на учебу. Думал, может, чего и заказывать станет, но Цицик вышла из комнаты отчужденно-хмурая, окинула его холодными глазами, словно плеснула студеной водой. На ходу бросила: «Счастливого пути, хубун¹» — и скрылась у себя.

Не помнит он, как вышел от Цицик...

Только сейчас, уже успокоившись от неожиданно нахлынувшей обиды, он подумал: «Дурак я, чего же в пугырь полез, а не кумекаю, что девке хоть петлю надевай на шею. Эти двое — шаман да Алганай небось загрызли ее, уговорила де отца сдать в коммуну все лодки, нево-

¹ Хубун — мальчик.

ды, сети, постройки, да еще ~~под школу~~ отдать хоромину свою. В доме сыр-бор, а ~~меня~~ черти ~~ковнули~~ зайти в тот час... Старье-гнилье! А ~~не~~ подумают, что все равно у них конфисковали бы. Ведь богатыми-то они стали сидя на горбушке рыбака. Помню с детства, чего они творили в Онгоконе. Частыми гостями там были со своей рыбацкой ватагой. Э-эх, жалко Цицик! Ганька вздохнул и перешел в носовую часть парохода.

«Ангара» шла недалеко от берега. Крутые изломы скалистых гор одеты в ~~зеленый~~ бархат тайги. А над ними сверкают белоснежные пики гольцов, вонзившиеся в небесную синь. На многие километры раскинулись сплошные кедровники. Не видно ни селений, ни деревень. Поэтому одинокий домик у самого берега всем бросался в глаза. Ганька знал его и ждал, когда он покажется. Вот он... Непонятная черная точка увеличивалась, приближалась, проступили очертания дома, окна, двери, крыльцо. Это кордон баргузинского соболиного заповедника. В нем живет стражник со своей семьей. Он охраняет заповедную землю. Кругом тишина, безлюдье, но именно здесь — сердце Подлеморья, родина известного всему миру баргузинского соболя — царя всех пушных зверей.

Солнце припекало как-то необыкновенно ласково и мягко. Ганьке казалось, что пароход идет по гладкому, хорошо проутюженному голубому шелку.

Среди пассажиров много рыбаков, которые возвращаются с подлеморских плесов домой в Устье и в другие места. До черноты загорелые, они вповалку лежат на палубе, отсыпаятся за все бессонные ночи, проведенные на хайрюзовке.

Ганька прошлую ночь почти не заснул. Охватило волнение — шутка ли, со всего Подлеморья, кажется, одного его и вызвали-то. Да еще примут ли?.. Вот уж стыдно-то будет возвращаться ни с чем. Засмеют... А тут еще Цицик не в духе...

Он пристроился рядом с спящим стариком и сразу же заснул.

Его разбудил гудок парохода. Он вскочил, присмотрелся. «Ангара» входила в Сосновую Губу. Перед Ганькой давно знакомые места. Золотой песок низкого берега ярко выделялся над водной гладью.словно игрушечные чернели домики. Рядом с ними возвышалась контора заповедника, а у самой воды — дом маятника.

От берега оторвалась длинная шлюпка с тремя гребцами; кто-то в светлой шляпе сидел в корме и управлял суденышком.

Через несколько минут на борт «Ангары» поднялся среднего роста плотный мужчина. На широком, загорелом лице возбужденно блестели голубые глаза. Это был директор заповедника Зенон Францевич Сватош, который частенько заезжал к Магдаулевым, когда они жили в Онгоконе.

Ганька подскочил к нему, поздоровался.

— А-а, Ганьча, здравствуй! Чего смотришь, помогай.

Он спустил в шлюпку толстую веревку. Какой-то расторопный мужик обмотал ею длинный ящик и весело крикнул: «Подымай!»

Ганька удивился, с какой легкостью они со Сватошем подняли ящик. «Наверно, пустой», — подумал он.

— Вот и все! Спасибо, Ганя.

— Зенон Францевич, а куда везете этот гроб?

— И верно, что гробина. Только в нем не труп человека, а...

— А что в нем?.. Кто?

— Нерпа. Читай-ка, куда везу.

Ганька взглянул на дощечку. Было написано: «Зоологическому музею Академии наук».

— Дык, она что-то легкая?

— Препарировал нерпу — одна шкура, да кое-что.

— А я думаю, покойника везете.

— Ладно, Ганя, ты посматривай тут, а я пойду к капитану, попрошу каюту. — Сватош поставил рядом с ящиком свой чемодан и ушел.

Уже давным-давно гаркнула «Ангара» и покинула Сосновую Губу. На голубом фоне стали четко выделяться ребристые бока Святого Носа, а Зенона Францевича все нет. Ганька проголодался. Достал из мешка хлеб, вяленого омуля и подсел к парню, который пил чай...

— Присоединиться можно?

— Глотай. Воды не жалко.

Парень молчун. Отвел глаза в сторону и швыряет.

— Ешь со мной. Чево один чай-то хлебаешь, — только успел Ганька пригласить, парень забрал к себе омуля, большой ломоть хлеба и начал с жадностью есть.

— Да ты не давься. Я еще дам.

— Паря... отстал от своих и вот, — выдохнул парень.

Подошел Сватош.

— Как в ресторане расселись. Идем, Ганя.

Устроившись в каюте, Ганька спросил:

— Где вы так долго пропадали?

— Да разве Семен Аркадьевич отпустит скоро. Принесли обед. По бокалу не забыли пропустить для аппетита. Тары-бары, сам знаешь.

— Хотите, я сбегая за чаем?

— Какой сибиряк отказывался от чая. Неси.

По возвращении Ганька увидел на столе шахматную доску.

— Сыграем?

— Я ж, Зенон Францыч, только в шашки могу.

— Жаль. Ну что ж, давай в шашки.

Через несколько ходов Ганька ловко подставил пешку и «съел» у Сватоша сразу три.

— Ого, вот чертенок! Тебе, Ганя, я советую научиться играть в шахматы. Мышление развивается.

— Угу. Спробую. — Парень хитро ухмыльнулся и поставил напарника в «пиковое» положение.

— Сдаюсь. Я слаб в этой игре. Вот в шахматы я бы тово, — отодвинув доску, Зенон Францевич спросил: — А мать-то как чувствует себя на новом месте?

— Первое время ворчала, когда и всплакнет. Теперь привыкла.

— А мне, Ганя, не тово — поеду зимой мимо Онгокона, а вас там не будет... и подумаю тогда — «нету Веры, никто так радушно не встретит и так вкусно не накормит...» Напрасно вы покинули Онгокон. Ты бы поступил ко мне в стражники, а?

— Я бы пошел, но меня Воловик вызвал на учебу.

— На курсы? Вот здорово! А на кого ж ты будешь учиться-то?

— Как вам сказать?.. Видимо, взрослых учить буду.

— Ого, сынок! Это хорошее дело. А ты старайся, глядишь, и на учителя вытянешь. Я знаю тебя — ты башковитый.

Ганька рассмеялся.

— Башковитый только на охоту... Я, Зенон Францыч, понял: охота одно угробление, а толку нету. Шибко понял. Вот был мой дед охотник — умер нищим, искалечился на охоте. Отец тоже мучился...

— Ну, а теперь-то другие времена.

— Зачем равнять... А тяжело как?.. Опасности оста-

лись те же... Начальству-то невдомек, каким трудом достается каждая шкурка.

— Ну, об этом спору нет, — кивнул Сватош.

— Я думал, думал... Народ станет грамотным, и охоту все забросят. Ваши соболя, Зенон Францыч, никому не нужны будут. Сколько вы мучились зазря. Мне мать баила, што от вас слышала, будто всю гражданскую войну ни гроша вы не видели, да и харчей, кроме рыбы, никаких.

— Было дело. Голоду и холоду натерпелись мы. Грозилась убить, но заповедник мы не бросили. Охраняли.

Ганька долго смотрел на Сватоша. Покачал головой.

— А все же кажется мне, — охоту забросят. Соболя будет бегать везде как кошка. Никому не нужная будет зверюга.

Сватош засмеялся.

— Ох, Ганча, ты насмешил! А выходит, что такое соболя — ты и не понимаешь. Это вечный мех, бесценный. Он и в глубокую старину славился. Тунгусы платили дань соболями гуннам, монголам, маньчжурам и, наконец, русским царям. Сюда, на Байкал, приходили вооруженные отряды именно за этим, как ты назвал, ненужным зверьком. Грабили и уходили восвояси. Вот ты, наверно, не знаешь, что у Байкала есть несколько названий и почему? Буряты называют его — Байгал (священное море), монголы — Далай-нор (море-озеро), китайцы — Пе-хай (северное море). Все они в поисках соболя шли сюда и каждый называл его по-своему. Так что видишь, эти разные названия все из-за соболя.

Теперь скажу, как относились к соболю в давние времена у нас. Было такое, что государь всея Руси Иван Грозный издал высочайшее повеление, которое гласило, что если кто осмелится продать в чужеземную державу живого русского соболя — тому голову сечь.

— Это зачем же? — спросил Ганька.

— Оберегали монополию на соболя. Если бы увезли несколько пар живых соболяков, да развели бы их у себя, то в других странах появился бы этот бесценный мех, понимаешь?

— А-а, ишь, хитрющие!

Сватош улыбнулся и продолжал:

— А вот в дореволюционные годы цена на соболя баснословно поднялась. За головного соболя купцы платили до пятисот рублей, а корова с теленком стоила пят-

надцать целковых. Стало быть, добудь за зиму одного соболя — сразу разбогатеешь. Вот и потянулись все, кому не лень. Каждому хотелось добыть соболя. Жадность обуюла всех — неделями преследовали зверька. В конце концов до того доохотились — почти полностью исчез. Вот тогда-то и дошло до царского правительства. Задумались. И послали на Байкал ученых, чтоб они начали работу по охране соболя. Один из них перед тобой. И вот видишь, заповедник создали, соболя сохранили. Вот что такое соболя, а ты?..

Ганька замялся, покраснел.

— Значит, те уехали, а вы остались...

— Как видишь.

— Да нет... Заповедник — хорошее дело. Это верно. Но тайги шибко много. Я думал, думал... наверно, тайгу надо вырубить да пашни, покосы делать. Города строить, фабрики, заводы. Люди учиться станут в городе. Жить. Даже тунгусы туда перекочуют, а то живут эвон в Таськимо, даже бани не знают...

Долго смотрел Сватош на Ганьку. Потом тихо заговорил.

— Воловик-то не дурак. Он вызвал тебя учиться. Потом ты приедешь в Таськимо и станешь тунгусов учить грамоте и не только грамоте — поведешь их в баню. А насчет тайги ты чепуху порешь. Лес брать надо, но с умом. Если, как думаешь ты, начнут рубить без разбору, сплошь, то это станет бедой для Байкала.

— Как?.. Байкалу худо будет?

— А так. В природе все по своим законам идет, взаимосвязь непреложная. Вырубишь тайгу — высохнут речки, реки. Значит, обмелеет Байкал. Где была тайга — песок разгуляется. Ветровая эрозия — это страшное дело — тоже подействует на Байкал. Города, заводы, фабрики... Ну, кто против всего этого. Но учти, они — враги природы.

Ганька даже приподнялся. От удивления блестели глаза.

— Враги?.. Как это?.. Я не по...

— Учись. Читай больше. Поймешь. Сейчас тебе трудно объяснить. Только одно добавлю: конечно, любят люди природу, ценят ее и, стало быть, подойдут с разумом к природе и к строительству городов,

«Ангара» загудела.

— Устье. Помогни, Ганя, мне. Мы еще встретимся, поговорим. А сейчас ты учись. Со временем все поймешь...

— Давай-ка чемоданчик...

* * *

Ганька разыскал Дом политпросвещения, в котором были организованы краткосрочные курсы по подготовке учителей для обучения взрослых. На двери крайней комнаты — уголок от объявления, сорванного кем-то. «Здесь, наверно, начальство сидит», — решил Магдаулев и вошел в комнату.

Два приземистых стола, похожие на бурятские сундуки; один стоит в углу, а второй — посредине, у окна. За каждым — женщина. Одна даже не подняла голову, а красногубая холодно посмотрела на Магдаулева.

Ганька подошел к ней и подал командировочное удостоверение. Она бегло прочитала и мотнула головой в сторону другой женщины. Та наконец подняла голову и взглянула на Магдаулева большими выпуклыми глазами.

— Извольте радоваться, Зоя Михайловна, парень только прибыл на учебу.

Ганька понял, что не так-то уж и радехоньки ему здесь.

— Вы, молодой человек, откуда это с таким опозданием? — не взглянув на поданную бумагу, спросила женщина.

Магдаулев удивленно смотрел на ее глаза и тонкое длинное лицо.

— Неужели так долго ехал?

Ганька от волнения хрипло ответил.

— Поздно бумагу получили. Живем-то в тайге, за морем.

— Интересно, за каким это морем? — улыбнулась, сжала тонкие губы. — А образование у вас какое? Где учились?

— У Ивана Федоровича Лобанова. Дома учил.

— Значит, в школе не учился? Это плохо. Совсем никудышные твои дела, молодой человек. В школе не учился, на занятия опоздал. Наверно, почти неграмотный, а собираешься учить людей.

— В райкоме приказали учить взрослых грамоте.

— Райком пусть тебя и учит, а мы не можем с каждым в отдельности заниматься. Надо бы вовремя приезжать.

Ганька стремительно вышел из учительской.

Здание райкома партии совсем рядом. Знакомое с детства высокое крыльцо дома купца Лозовского. Когда-то давно, десятилетним мальчонкой, крепко уцепившись за полу отцовской шубы, поднимался на него. Тогда купец Михаил Леонтьевич казался ему земным богом, который поит и кормит промысловых людишек, поэтому и потрухивал Ганька.

Теперь он одним махом вскочил на это крыльцо. Двери, коридор, кабинеты он знал хорошо. Не раз бывал у Трофима Изотовича Воловика. На секунду остановился перед дверью секретаря. Вошел. Воловик разговаривал по телефону. Взглянув на Ганьку, мотнул головой.

— Ну, как там в Таськимо ваша коммуна развернулась? — спросил, положив трубку.

— Крыши над головами есть. Сена накосили, на две зимы хватит. Рыбалка хорошая, да вот беда — плохие дела с солью и бочек нет.

— А Семен-то почему молчит? Мы бы помогли.

Магдаулев помолчал.

— Не знаю. Получил он бумагу от вас и отправил меня на учебу.

— Устроился?.. Приняли тебя?

— Оpozдал. Не приняли.

Маленькие серые глаза Воловика потемнели; решительно принялся звонить.

— ...Зоя Михайловна, у нас на севере аймака проживает много эвенков, а учителей, владеющих эвенкийским языком, нет...

По телефону что-то ответили, видимо, неприятное для Ганьки.

Воловик долго смотрел в окно. Барабанил пальцами по столу.

— Бумажные душонки!.. Им подавай чуть ли не диплом, — секретарь окинул Ганьку быстрым взглядом.

— Иди, сдавай экзамен. Не бойся.

Тяжело шагая по гулкому коридору, Ганька снова вошел в учительскую.

Выпуклые глаза Зои Михайловны недружелюбно окинули его; сердито заговорила:

— Хоть одно стихотворение когда-нибудь учил?
Не ответив, Ганька сразу же забубнил:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог.

.....

Ганька торопился. Он хотел показать ей, как много знает из «Евгения Онегина». Поэтому, недоговаривая слова, сбивался, но без удержу катил и катил.

— Хватит! Хватит! — замахала тонюсенькими руками учительница. — А каких еще писателей читал?

— Гоголя, Толстого. Чехова... Еще читал Джека Лондона и Фенимора Купера.

— Ну и ну! Возьми его за рубль двадцать! А как у тебя с арифметикой? «Два кадетика» или лучше?

— Знаю дроби.

— А алгебру?

Ганька покачал головой, насторожился, поспешил уговорить строгую учительницу:

— А я быстро пойму. Я и ночью буду учить уроки.

— На море живешь. Значит, ты рыбак. А общественную работу ведешь какую?

— Секретарь комсомольской ячейки в Таськимо.

Учительница близоруко склонилась над тетрадью и записала фамилию курсанта.

* * *

Магдаулева Зоя Михайловна посадила рядом с краснощекой курсанткой. На перемене та быстро, быстро заговорила на монгольском наречии. Ганька половину разговора не понимал, и они перешли на русский.

— ...Я жила совсем рядом с Монголией. Граница там у нас. Застава тут же. Пограничники с овчарками. Кони у них совсем не походят на ваших — высоченные!

— А коммуны есть?

— Конечно, есть! Мой аба¹ председателем был, а теперь его сюда перевели. Не хотел, а отказаться не мог — партийный.

Разговор прервал звонок.

Удивительно, как быстро летит время за учебой. В Баргузине уже лютая зима.

Ганька с Туяной сидят как на иголках. Только бы

¹ Аба — отец (монг.).

скорей закончились уроки, и они бегом побегут к Туяне. Там их ждет отец девушки, который приехал с далекой монгольской границы, куда ездил на похороны бабушки. Ведь Туяна родилась в казачьей станице, среди русских. Поэтому так хорошо владеет русским, в диктантах редко сделает две-три ошибки да еще успеет востроглазая усмотреть, где неладно у Ганьки.

У преподавателя была слабость: он любил диктовать тезисы. При этом усиленно клевал своим непомерно длинным, острым носом, который почти закрывал рот.

«И чего это он одно и тоже десять раз повторяет?.. Вот бы сюда Ванфреда Лобанова! Он-то не мучил бы нас тезисами. Ох, какой был мастер рассказывать! Заслушаешься, бывало», — думал Ганька.

В коридоре — дзинь-дзинь-дзинь! — заливисто зазвонел звонок. Туяна облегченно вздохнула и улыбнулась своими большими продолговатыми глазами.

— Ну, Ганя! Я ведь казачка, а поэтому — алюр «три креста»! Ты знаешь, что это такое? — спросила девушка. — Это значит, надо бегом бежать на воздух.

— Я не любил казаков, думал, что они все были белые и шли против Советской власти.

— Эх ты! Горе же с тобой, Ганя!

— Казаки атамана Семенова у нас в Баргузине расстреляли много большевиков... и моего друга Кешу Мельникова тоже.

— Это были беляки, а наши казаки партизанили. Били бандитов барона Унгерна. Мой аба тоже был с ними. Даже Сухэ-Батору помогал. Они с дядей Сергеем Волосатовым были проводниками у Сухэ-Батора и Рокоссовского.

— Про Сухэ-Батора я много слышал от своего бабая, а Рокоссовского не знаю.

— Вай! Не знаешь Рокоссовского! Эх ты! Он же ведь наш кяхтинский. Жена его из Кяхты, она дочь дедушки Бармина.

— А чем же отличается этот ваш Рокоссовский?

— Ты не знаешь? — Туяна с сожалением посмотрела на Ганьку. — Рокоссовский под станицей Желтуринской разбил большой отряд барона Унгерна. А у него ведь было совсем немного бойцов. Правда, здорово помогли ему станичники. Все выступили... Тогда Рокоссовского ранило... Зато Ленин наградил командира орденом. Вот он какой, наш земляк! А ты не знаешь.

— Ой, Туяна, ты так много и быстро говоришь, что я у тебя ничего не могу разобрать, — отмахнулся Ганька.

Туяна хохочет звонко, звонко. Вообще у нее очень звучный и приятный голос. Ее часто просят курсанты спеть монгольские песни, и она с удовольствием исполняет их просьбу. Любит Туяна родные напевы. Они такие задушевные, мягкие, лиричные. Ганька готов слушать их хоть всю ночь, хотя они не похожи на гортанные песни эвенков и западных бурят.

Ганька не сводит глаз с Туяны. Она какая-то особенная... будто родная, родная; словно уже тысячу лет он ее знает. У Туяны большие с раскосинкой глаза, прямой нос, красиво очерченные губы. Толстая длинная коса чуть не до колен. С золотисто-бледного лица никогда не сходит румянец. И кажется Ганьке, что чем-то она похожа на Цицик. А чем и сам не знает, ведь Цицик синеглазая, белолицая... Но есть у них что-то общее... А что?

* * *

— Аба, я теперь ведь студентка! — хвастается Туяна отцу. — Заочница. Зимой буду работать, а летом будем учителей мучить, а они нас.

«Язык-то у нас разный все же; Туяна отца называет аба, а мы — бабай», — подумал Ганька; его раздумья прервал старик.

— А вы тоже студентом стали, молодой человек?

— Да какие еще студенты! Вот через год сдадим экзамены, тогда посмотрим — студенты мы или нет. Завтра уезжаю домой. Здесь наши ямщики, они и довезут меня.

Ганька как обычно спокойно разговаривает, а на душе гадко. Совсем незаметно вошла в его душу Туяна. Привык к ней. Привычка? Да уж какая там привычка, когда вошла в душу, в сердце...

Любит молчком. Боится признаться ей, боится приотронуться. Медведя не боится, а эту веселую девчущку потрухивает. Черт знает, как она отнесется к его чувству. Возьмет, да просмеет при ребятах. От нее можно чего угодно ожидать.

Отца Туяны назначили председателем колхоза. В Баргузине он накупил для колхоза всякого хозяйст-

венного добра. По плохой дороге ведет переднего коня в поводу.

Приотстав от обоза, Ганька с Туяной идут молча. Магдаулеву не верится, что пришла пора расставаться. Он бы так и шел в бесконечную даль вместе с ней.

— Туяна.

— Ой! Наконец-то открыл рот! Я уж начала думать, что вот так, без слов, молчком, как собаки обнюхаем друг друга и расстанемся.

— Туяна... я... хочу спросить...

— Давно бы пора спросить, поеду ли я к тебе на Байкал. Буду ли твоей женой и стану ли жарить тебе омуля на палке.

— На рожне, а не на палке.

— Какая разница! Знаешь Ганя, у вас медведей много. Я трушу даже перед картиной, где этот зверь нарисован. А главное, ты девчат боишься хуже, чем медведей. Так? Молчишь? — Туяна рассмеялась.

— Я не боюсь, а стесняюсь. Что же хорошего в нахальстве? А тебя, Туяна, побаиваюсь,—сознался Ганька.

— Да-а, отчасти ты прав, нахалов не терплю. Но на твоём месте давно бы эту веретешку Туянку обцеловала, а ты даже пальцем не притронулся к ней.

Ганька остановился и заулыбался, смотрел на Туяну, будто впервые ее видел.

— Эхэ! Я знаю тебя! Попробуй-ка облапать да поцеловать! — Туяна расхохоталась.

— Ты, Ганя, боязнуля... Как на охоту-то ходишь?

— Трусом-то еще никто меня не называл. А вот перед тобой... почему-то робею.

Туяна как-то особенно взглянула на Магдаулева.

У парня пересохло в горле.

Не успел он и глазом моргнуть, как Туяна резко придвинулась, обняла за шею, обожгла коротким поцелуем и, не дав Ганьке опомниться, кинулась за подводами.

Глава четвертая

Артамошка Лисянский закрыл свою лавчонку. У него сегодня желанные гости — пожаловали из Подлеморья соболевщики — Хабель да Цивиль. Браво пьют горькую, не поморщатся даже. Жуют жирного омуля с луком.

Молча слушают Артамошкину болтовню о новостях житейских. Лисянский больше слезу льет — конец нэпу подошел. Солидные купцы куда-то разлетелись, кто как смог. Остались вроде него лавочники. В те разы, бывало, Артамошка держал свой «хвост» крючком — смело рассуждал, громко поругивал вся и всех, а в этот раз он какой-то пришибленный, говорит тихо, да и то с оглядкой. Но зато яду в его словах куда больше стало.

— Когда собираетесь в Подлеморье? — закончив свое повествование, спросил Лисянский.

— Сначала спроси, накопытимся ли туды, — хрипловатым голосом ответил Хабель. Из-под насупленных бровей смотрели темные колючие глаза. — Кое-как ноги унесли. Сам Сватош со стражниками гонялся за нами.

Артамошка часто-часто заморгал, нервно передернул плечами, по-бабьи зачастил:

— Выдумали какой-то заповедник. Сватош-то, я слышал, бабе своей соболью шубу сшил, а вас, как собачонок выгоняет из Подлеморья. И нам не сладко от этой выдумки. Раньше, бывало, целыми десятками плыли собольки в наши сундуки. Выгода была. Налоги да торговые убытки с лихвой покрывали собольими хвостами. А теперь дело подходит к гибели. Советы начали за дылало нас хватать. Скоро разорят, по белу свету пустят. А вам, охотничкам, «рай» земной уготован — взвоюте. Помяните мое слово: собольков задаром будете сдавать в кооперашку. Я читаю газеты — волосы дыбом поднимаются — раскулачивают богатеньких, вскорости, чую, подряд начнут стричь. И вас, промысловых людшек, которые заглядывают в заповедник, за шкирку — и в тюрьму.

— Тако строго? Пымают, значит, и как собаку бросят в острог? А как быть? — поцарапал под мышкой Хабель.

— Ружья-то зачем носите? Я бы на вашем месте этого Сватоша из-за дерева пальнул, да и вся игра. Тайга все скроет.

Хабель затряс лохматой головой, замычал сердито, а Цивиль подмигнул Артамошке, сказал будто смехом:

— Вас эвон сколько торгашей в городе, сделайте складынь да положите в карман добру молодцу тышонку.

— Да мы уж обмозговали. — Лисянский взглянул в окно и тихо договорил: — Деньги сию минуточку на кон.

Он ушел на вторую половину дома, где жил с семьей, и скоро вернулся. Не глядя на охотников, положил на стол две пачки денег.

— По пятьсот на нос. Хватит, поди?

Хабель, не сводя с Лисянского удивленного взгляда, поднялся из-за стола.

— Ты это того, Артамон... шутишь?

— Зачем же, дядя Петрован, буду шутовство разводить. Бери пачку, бери.

Хабель перекрестился на угол, потом набычившись, подошел к Лисянскому.

— Сдохну, но грех на душу не приму. Сдохну. Понял, сволочь?

Цивиль криво усмехнулся. Большими заскорузлыми руками загреб деньги.

— Мне больше достанется... А Сватош так и так обрек себя на гибель... Не я, дык другой пулю всадит. Шибко старательный.

Ганька Магдаулев спешил в Таськимо. Подвернул к знакомому торгашу Лисянскому, чтоб купить кое-чего матери да сестренке, но лавка почему-то закрыта.

Только было повернулся уходить, лязгнула задняя, выскочил Хабель.

— Торгует? — спросил Магдаулев.

— А-а, Ганька. Вот тебя-то и надо. — Хабель вцепился в ворот полушубка. — Ты когда домой?

— Утром еду с ямщиками.

— Паря, упреди Сватоша. Пусть в лес не ходит, — отходя за угол, заговорил Хабель.

— А что такое?

— Одна сука его прихлопнет... За тыщу целковых. Магдаулев отступил.

— Ты, дядя Петрован, не врешь?

Хабель грязно выругался, да так взглянул на парня, что тот сразу поверил.

— А чичас беги в Белые Воды. Там хоронят твоего дядьку Ивула, — добавил Петр.

В Белых Водах, по соседству с рекой Иной, Куруткан построил новый большой дом с прирубом. Люди говорят, что такой хоромины не бывало даже у самого князя Гантимура.

Все было хорошо. Радость переполняла душу Курут-

кана, да только неприятность приключилась и омрачила праздник новоселья — зашиб его бегунец работника Ивула. Тот бедняга долго мучился — пролежал в постели двое суток и ушел к предкам на Нижнюю Землю.

Похороны и поминки легли на плечи Куруткана. Как-никак Ивул двадцать четыре года работал в его большом хозяйстве. Мужик старался, дни и ночи стерег скот, будто собственное стадо, приумножал его. Был на редкость покладист и молчалив. Даже косым взглядом ни разу не взглянул на хозяина добрый Ивул. Не в обиду на него и Куруткан. При всем народе не постыдился — слезу размазал по толстым щекам своим.

Приехал на похороны сын Волчонка — Ганька Магдаулев. Ведь покойный доводился Ганькиному отцу братом. Правда, не родным — Волчонок был выкраден у бурят беспомощным голышкой.

Между Куруткан и Волчонком когда-то пробежала росوماха — враждовали они непримиримо. Куруткан и по сей день нет-нет да и вспомнит соседа:

— Волчонок всю жизнь рычал на меня. А теперь его щенок смотрит исподлобья...

Беловодских эвенков издавна называли степными тунгусами за то, что они жили в безлесной, степной части долины Баргузина и кроме охоты занимались скотоводством.

Еще при царе Николае хозяином Белых Вод был Куруткан. Не сказать, что он унаследовал богатство, нажитое предками. Не был он и княжеского рода, а просто был смекалистым, научился у купца Новомейского счету: «дважды два — четыре ста». Присмотрелся, как легко обманывают его сородичей русские купцы, поднаторел.

Куруткан и теперь в ус не дует. Спасибо Советам — нэп придумали, привлекли богачей на помощь — подымать страну из разрухи и голода. Жить можно. В его магазине приказчик Семка Кривой сноровисто, умело торгует по старинке, а сам он по-прежнему скупает пушнину у своих сородичей. Скотину расплодил, через таежный Ямбуи гоняет в город Читу на продажу гурты жирных быков и нетелей. Полюбил Куруткан и золотишко. В его кованом сундуке много желтеньких монет с головой царя Николая. Хранятся браслеты, кольца, золотые самородки, песок зернистый.

Хоть и перевалило Куруткану за полсотню, но нынче

осенью за богатый калым он взял в жены дочь княгини Катерины — красавицу Чолбон. Она звонким голосом покрикивает на женщин, которые подносят людям стойбища вино и баранину.

— Молодец Куруткан, черному пастуху такие поминки справляешь в своем большом доме. Это зачтется тебе перед Буддой-Амитабой, — слащаво тянет буддийский священник. — Ведь Ивул поклонялся Будде-Амитабу, а поэтому отпевал его не шаман, а лама из дацана.

«Эх, дядя Ивул, даже после смерти тебя называют черным пастухом... Черным», — горькие, горькие мысли приходят Ганьке. Он сидит, опустив голову, к вину и пище не притрагивается.

Куруткана это тревожит.

«Надо как-то улистить сына Волчонка. Он ведь, гаденыш, грамотей. Возьмет да подаст в суд на меня. — Ивул на моей работе изувечился. При новых-то порядках живо возьмут за шиворот да в народный суд уволок». — Хозяин подозревал жену, кивнул в сторону Ганьки и тихо приказал:

— Сыну Волчонка поднеси на серебряном подносе вина и жирного мяса. Да заставь выпить. Надо напоить его, поняла?

У Чолбон покраснелись щеки: ей нравился этот высокий с открытым светлым лицом парень. Она подошла к Ганьке с подносом, на котором аппетитно дымилось мясо, сверкал бокал. Ловко подсела к нему, блестя глазами, заговорила нежным голосом:

— Мой муж уважает тебя. Он опечален смертью Ивула, он послал меня, чтоб я поила и кормила сына Волчонка из своих рук. — Чолбон наклонилась к самому уху парня и горячо прошептала: — Мое сердце тянется к тебе. Я сейчас выйду во двор. Приходи.

— Ты забыла, что мы поминаем Ивула?

— Тише, славный. Я же... — Чолбон виновато взглянула на Ганьку и подала большой серебряный бокал с водкой.

Магдаулев взял красивый сосуд, поднялся и взглянул на хозяина дома.

Куруткан подумал, что парень что-то хочет сказать ему приятное или же помянуть дядю Ивула, сердито крикнул на пьяных сородичей:

— Замолчите, серые мыши!

У Магдаулева закипела такая обида, что он, не вытерпев, взревел:

— Серые мыши, а ты человек?!

Ганька с маху выплеснул водку на Куруткана. В доме воцарилась тишина. Куруткан опешил, а потом задохнулся в бессильной злобе. Люди испуганно отстранились, зная силу Магдаулева. Ганька, шатаясь, вышел во двор, широко открытым ртом хватил морозного воздуха. Кое-как успокоился, взял себя в руки.

Послышались легкие торопливые шаги. Из-за угла выскользнула Чолбон, быстро подошла, протянула тяжелую березовую палку.

— Уходи скорее. Куруткан подговорил Черкана. Он убьет тебя, — прошептала она и также быстро скрылась.

Ганька прислушался. Из дома доносился визгливый голос Куруткана. Вторя ему, из степи донесся протяжный вой волчьей стаи.

— Вот они, сородичи твои, Куруткан.

Ганька нащупал на кушаке рукоять ножа и по-охотничьи легко зашагал в сторону Улюна. Шел, постукивая дубинкой по обледеневшему снегу накатанного зимника, на душе становилось тревожнее. Тихо вокруг. Волки перестали выть. Это худо. Сторожат, ждут его. Вдруг между кустов редкого тальника, тянувшегося вдоль дороги, мелькнула тень. Сейчас же на дорогу вышел волк и бесцеремонно уселся на середине.

«Вожак. Вот бы ружье сейчас», — подумал Ганька, оглядываясь кругом. Там и здесь мелькали тени. Стая сжимала кольцо.

«Спереди отобьюсь, а сзади», — зоркие глаза охотника различили куст, который стоял у дороги. Ветви и корни его туго переплелись, образовав единое причудливое дерево. Это была надежда. Он быстро оттопал под кустом жесткий хрустящий снег и прижался к нему спиной. Вожак стал медленно приближаться. Каждое его движение ледяными иглами входило в сердце. Казалось, волосы шевелились на голове, поднимая шапку. «Ружье бы», — билась назойливая мысль. Пересиливая страх, Ганька натянул поглубже свой малахай, крепче сжал дубинку.

Вожак не торопился, выжидал, когда подтянутся остальные. Вот справа скользнул на дорогу второй волк, слева третий. Теперь вождь прижался брюхом к снегу, подобрал под себя ноги, вытянулся. Вот-вот прыгнет...

Но вдруг вожак взвыл по-собачьи, вскочил и, трусливо поджав хвост, бросился в степь. За ним кинулись остальные. В тот же миг послышался стук копыт, который и напугал зверей.

«Черкан. Этот зверь пострашнее», — подумал Ганька, прижимаясь к кусту, стараясь слиться с ним. Но тот, кто догонял его, был не слепым. Он вылетел из-за поворота, осадил коня, вскинул ружье. Разгоряченная лошадь встала на дыбы, скакнула в сторону, грохнул выстрел.

Человек выругался. Ляцкнул затвором. В этот миг конь вздыбился, развернулся на задних ногах. Сутулая спина человека оказалась совсем рядом. Ганька изо всей силы ударил по ней.

* * *

Рано утром Ганька с Черканом подъехали ко двору Улюнского сельсовета. У коновязи стоял высокий статный конь, впряженный в кошевку.

«Кто-то из начальства», — подумал Магдаулев.

Все время молчавший Черкан спросил:

— Тюрьма мне?

— Иди, гадина, — подталкивая прикладом, завел арестованного в помещение.

У топившейся печки стоял сторож.

— Дядя, это кто? — спросил он.

— Начальник из Баргузина. Воловик, кажись, зовут его.

Магдаулев повеселел. Подтянул кушак, подобрался. Выхлопал от снега шапку.

— Посмотри за ним, — попросил он сторожа и вошел в кабинет председателя.

Перед камином сидел разутый Воловик и грел ноги. Едва мотнув головой в ответ на приветствие, сердито спросил:

— Заблудился?

Холодные серые глаза впились в винтовку. Он вопросительно взглянул на парня.

— Откуда она у тебя?

— Отобрал... Вот, хотели убить меня... Я и колотнул его.

— Кого? Где он?

— Привел. Здесь в коридоре.

Воловик быстро обулся. Сел за стол.

— А ну, веди!

В кабинет, в сопровождении Магдаулева, удивленно озираясь, вошел эвенк.

— Как звать? Фамилия? — хмуро спросил Воловик.

— Черкан я, сын Эмидага.

— Ты стрелял в него?

— Штреляль, штреляль, — шепелявя, признался арестованный.

— А зачем? Ты же мог убить его.

— Куруткан велел. Она мой хозяин. Как не стрелять? Винтовку дал, сказал: «Иди, Черкан, убивай сына Волчонка. Он комсомоль, нам худо делает». Я штрельнул, да конь мешал дрыг, дрыг, эльгэргэ¹.

Воловик насторожился. Тонкие бескровные пальцы правой руки забарабанили по столу. Длинный косой шрам на лбу побагровел.

— Значит, Куруткан велел? Значит, велел убить комсомольца? — Воловик ударил кулаком по столу. Шрам на лбу дернулся, взвился, напоминая дождевого червяка.

Арестованный покачал головой.

— Пошто такой сердитый?

Воловик изучающим взглядом окинул Черкана, тяжело вздохнул, взял у Ганьки винтовку.

— У Куруткана есть еще такие? — неожиданно спросил он.

— Много. Чипко богатый.

— Где он их прячет?

— Чолбонка спит огде, там ружье есть. Много-много.

— Так. Понятно. Ганя, отведи его к сторожу и скажи, чтоб ни шагу от него.

Закинув руки за спину, Воловик долго ходил по кабинету. Он, казалось, не заметил, как вошел Ганька, и стал у окна. Парень не сводил глаз со шрама, похожего на дождевого червяка, который постепенно белел, становился вялым и наконец перестал дергаться.

Воловик сел на скамью и уже потеплевшими глазами окинул Ганьку.

— Садись ближе, Волчонок. Смотри-ка, такой же матерущий, как и отец... — проговорил он, но вдруг рез-

¹ Эльгэргэ — злой дух.

ко наклонил голову и зажал ее руками. Долго растирал виски.

Ганька сел рядом, отвел глаза в сторону. Ему стало не по себе от того, как страдает этот, такой близкий и такой далекий человек, который воевал с его отцом. Он уважал и побаивался Воловика, поэтому держался чуть в сторонке, а теперь, увидев, вот это минутное — замерзшие ноги, волнение, побагровевший шрам, и секретарь райкома стал каким-то домашним, своим. Ганька еще ближе придвинулся к нему. Воловик виновато улыбнулся, покачал головой.

— Черт... как поволнуюсь — начинает колоть в висках, в глазах рябит. — Положил легкую руку на Ганькино плечо. — Ну, вот я и увидел в тебе бойцовский характер Волчонка. Но запомни, в жизни много раз встречаешься с таким, что невольно зазудятся кулаки. Умей сдерживать себя. Я видел, как ты прикладом его. Нелзя так. Ты уже не Волчонок. Тому было простительно — кулаками доказывал свое «я».

Ганька вдруг вскипел, грубо выпалил:

— Поневоле будешь драться! Куруткан в Белых Водах — князь. Заездил народ. Рядом живете, не видите. Раскулачить надо. Убрать его к черту. Выслать... выслать его!

— Видим, брат. А ты не понимаешь, тут национальная политика. С эвенками нельзя так круто обходиться. Вековая отсталость.

— Куруткану можно все? Убивать, калечить?

— Ого, а ты колючий, — усмехнулся Воловик. — Куруткана придется арестовать.

Ганька обрадованно блеснул глазами.

— Наконец-то люди отдохнут... отвяжется гад...

Воловик кивнул, перевел разговор на другую тему.

— А Зоя Михайловна хвалит тебя. Сейчас берись за ликбез. Потом опять на учебу пошлем. И вот что советую. Работаешь ты в самом отдаленном уголке Подлеморья. Туда сейчас попрет всякая нечисть. Держи ухо остро. Понял? — Воловик взял винтовку, оглядел, щелкнул по ложу, — хороша штучка.

У Ганьки заблестели глаза.

— Еще бы! С такой красулей я бы от десятерых отбил.

— Бери ее. Я скажу начальнику милиции, чтоб записал на тебя.

Ганька схватил ружье, прижался щекой к отполированному прикладу.

— Спасибо, дядя Трофим! — вырвалось совсем по-домашнему, по-свойски.

* * *

Гудят Ганькины ноги, без малого тридцать километров отшагал без отдыха. Вошел на широкий двор Короля и опешил: с крыльца свесился какой-то матерый мужик, надрывно стонет, блюет, несвязно бормочет. В избе кто-то поет охрипшим голосом, тренькает балалайка. Перешагнув через пьяного, Ганька вошел в шумную избу.

— С праздником, что ли? Здравствуйте!

Утонул в пьяном гвалте Ганькин голос, но хозяин дома заметил Магдаулева.

Король легко вскочил на ноги, мелко крестясь, забормотал:

— Свят, свят, свят! — пьяно раскачиваясь, подошел к Ганьке. — Изыди, еси ты есмь нечистый дух! — сделав испуганные глаза, Филантий отступил назад. — Волчонок! С того свету пожаловал ко другу верному! Истинный господь, не вру! Волчонок, братуха мой! — Филантий затряс жиденьким клинышком бородки, расхохотался и обнял гостя. — Ганьча, варначина! До чего ж ты походишь на отца! Боже мой! — Король качает головой, хлопает Магдаулева по плечу. — Э-эх, паря, чуть не опоздал! Видишь, собрались на рыбалку — обмываем путь-дорожку, штоб было везенье да талан. Оно, паря, спокон веку заведено. Мы с твоим отцом тоже попили винца! Э-эхма! Кучеряво мы живем! — Филантий повел плечами и, приплясывая, запел, на ходу сочиняя:

На улице Варваринской
Спит Король — мужик разязвинский.
Липистинье снится, что в веселом кабаке
Пьяный муж несется в трепаке.
И руками и плечами шевелит,
А гармоника пилит, пилит, пилит!

— Так! — Филантий пустился в пляс. Дал трепака и, тяжело переводя дух, потащил Магдаулева к столу.

Сын Короля Тимоха хмельно устался на Ганьку.

— Ты, ушкан, пошто покинул нас? Налей-ка, батя, штрафного брацкому! — Парень подмигнул Ганьке и до-

бавил свою любимую поговорку: — Интересно девки пляшут!

Тимоха навалился, обнял Магдаулева.

— Ганьча, бросай Таськимо. У нас девчонка есть. Ей-бог, сосватаю! Я ж ведь любой девке зубы заговорю! А, Ганьча?

— Про тебя еще не слыхал, а вот отец-то твой — всем сватам сват. Мать моя до сих пор помнит, как он сватал ее.

— Хы! А я хуже?.. Такой же артист!

Магдаулев расхохотался.

— Короли — артисты!.. Жена-то где?

— С матерью во дворе убираются. Еще не развелся...

— Пошел бы, Тимоха, с тобой бармашить, но начальство велит учить взрослых грамоте.

— Ково учить? Мужиков да баб? Зачем?

— Будут книги читать. Писать письма.

Тимоха вылупил глаза и забазлал на весь дом.

— Очнись, паря! Кумуха тебя укусила! На хрена попу гармония?

Дремавший за столом Филантий встрепенулся.

— Где поп? А? Дайте его мне!

— Вот поп! В Таськимо будет учить стариков да старух.

Филантий затряс козлиной бородкой.

— Кого учить?.. Козлов да баранов? Аль, послушался я?

— Буду взрослых грамоте учить. Могу и тебя, дядя Филантий.

Король расхохотался и ударил себя по ляжкам.

— Меня? Четра старого? Упаси бог!

Вошла Липистинья с невесткой. Молодуха была высока, грудаста, миловидна. Магдаулев впервые видел ее.

— Здравствуйте! — Ганька поднялся из-за стола.

— Уй, Ганьча! Здравствуй! — Липистинья пристально взглянула на него. — А мать-то когдысь привезешь?

Филантий, раскачиваясь, подошел к жене.

— Вот, Липа, Гаврило теперь будет учить меня грамоте. Стану грамотеем — выйду в начальство, а тебя куды дену?

Липистинья с невесткой рассмеялись. Хозяйка заговорила в тон своему развеселому Королю:

— Говорят, што начальство пешком ни шагу. Запря-

гешь меня, да и дуй на работу! Ты же мастер на бабе кататься, поди не забыл?

— Э, паря, нет! Отошла коту масленица! — Тимоха подошел к курятнику, над которым висел хомут, снял его и направился к отцу. — Мать, он на тебе ездил? Ездил! Помню, как на масленке запряг тебя в кожу и прокатился по улице. А теперь, Филантий Василич, ты вырастил сына, который и тебя может захомутать!.. А ну, старая кляча, подставляй-ка шею!

— Тимка, сдурел, черт! — подскочила к нему молодуха и вырвала хомут.

— Ты, невестушка, не знаешь Королей. У нас это заведено. Пусть старуха прокатится на мне, — сказал Филантий и смиренно склонил голову.

Тимоха взял у жены хомут, похлопал отца по холке, пощупал загривок и ловко захомутал.

Филантий резко вздернул голову. Выпятил грудь, дробно, словно копытами, застучал, загрохотал, готовый вырваться из рук сына. Вздрыбился, громко заржал, закидался во все стороны, зафыркал, как дикая лошадь, а потом, высоко подпрыгнул и лягнул Тимошку в зад.

Раздался взрыв хохота.

Ганька навалился на стол и смеялся до слез.

Когда смех немного улегся, Король обратился к Магдаулеву:

— Но, как? Глядя на Королей, может заржать и старая кобыла?

— Еще бы, дядя Филантий! А когда на рыбалку выезжаете?

— Завтра отчалим.

— Везет же мне. И я с вами хоть до заповедника, дальше пешком убегу.

Бириканские рыбаки ехали промышлять хариуса на бармаша. Начиная с Чивыркуя, останавливались бармашить в каждой губе, где только было зимовье. Большая группа осталась в Малых и Больших Черемшанах, а Король с Тимохой еще дома решили добраться до заповедника, куда их приглашал сам Сватош. «Дальше в лес — больше дров. Хариуса добудете столько, что не увезете», — говорил им Зенон Францевич, когда ночевал у них нынче осенью. С ними ехал и Магдаулев.

Торосистая поверхность Байкала была безлюдна и

тоскливо пустынна. День подходил к концу. Нестерпимая стужа заставляла бежать рядом с саними. Багровый шар солнца походил на глаз свирепого дракона. Ганька вспомнил дырявый чум деда Воуля, в углу шкафчик с бурханами и драконами. Ему сейчас казалось, что вот эта жуткая стужа исходит от дракона, который смотрит на него холодным кровавистым глазом-солнцем. Бр-р!..

Островерхие гольцы Байкальского хребта окрасились в кроваво-красный цвет, а снежная равнина моря стала нежно-розовой. «Как щеки Туяны», — подумал Ганька. Явилась девчонка с веселыми раскосыми глазами, улыбнулась. Исчезла. Сразу стало теплее и мир краше.

— Эй, парень, вон кого-то бог дает! — крикнул Король с соседних саней.

Темный ком быстро нагонял обоз.

Через несколько минут Магдаулев помахал лохматой собачьей рукавицей и в подъехавшем человеке узнал Мельникова.

Ефрем изо всех сил натянул вожжи. Разгоряченный быстрой ездой жеребец высоко задрал красивую голову, кусал удила, танцевал на месте.

— Чего?!

— Дя Ефрем, подвези!

— Падай!

Ехали быстро. Легкие сани кидало на торосах. Ганьке казалось, что они почти не касаются льда, больше летят по воздуху.

Ефрем молча правил. Даже кивком не ответил на приветствие. Сидел глыба глыбой в волчьей дохе, будто вмерз в ледящийся воздух, как бармаш в прозрачный лед. Придет весна, лед растает, и бармаш оживет, весело заплывает в отогревшейся воде моря. Также и Ефрем, приедет к своей княгине Катерине и словно от солнышка растает весь. Зеленоватые глаза засмеются, даже красная борода преобразится и потянется щекотать нежные щеки красивой тунгуски.

Между Мельниковым и Магдаулевым как бы застыла прозрачная ледяная стенка. Через ту стенку холодом разит от Ефрема.

«Бесится — раскулачили. Был бы жив твой сынок, он бы еще раньше раздел тебя», — сердито посмотрел на широкую спину. — Точно такие же истуканы каменные стоят на гуннских кладбищах. Я сам видел их».

При быстрой езде Ганькин полушубок продувало по всем швам, и он так промерз, что готов был упасть с кошевки. Проехали мимо зимовья. Из трубы валил густой дым.

Магдаулев еще больше обозлился, ткнул Ефрема в бок.

— Ночевать-то будешь где, аль до Катьки своей? — взревел он. — Истукан с гуннского кладбища! — добавил парень, хотя едва ли Мельников знал о существовании в Забайкалье воинственных гуннов и тех гранитных баб, оставленных ими тысячи лет назад, о которых Ганьке рассказывал Лобанов.

Ефрем даже не обернулся.

Снова Ганька, как береста на огне, весь съежился, дрожит. Ему кажется, что от лихого мороза на голове отделилась кожа от костей, мозги скорчились, трясутся студнем. Это был предел. Ганька собрался скатиться с саней, но в это время Ефрем подъехал к рыбацкому зимовью.

Не помнит Ганька как влетел в зимовье и прилип к камину, на котором догорали поленья. С минуту-две отогревал руки. Потом прибавил дров. Смолистые поленья моментально вспыхнули и осветили внутренность зимовья. Хозяева, видать, недавно уехали и ненадолго. На столе стоял большой котел с ухой, а у кромки камина чайник с недопитым чаем.

Вошел Мельников. Перекрестился, сел на нары и начал оттирать с бороды сосульки.

— Хозяев-то нет, дя Ефрем. Видно, в Кудалды уехали.

Мельников молчал. Уставился в одну точку и не сводит глаз.

Отогревшись, Магдаулев сел ужинать. По правилам подлеморцев, что есть в зимовье — кушай на здоровье. Уходишь или уезжаешь, если имеется лишок в твоих продуктах, то оставь тому, кто будет здесь после тебя. Хорошее, очень человеческое правило.

— Дя Ефрем, садись за стол.

«Хоть бы мыкнул быком», — обидно подумал парень.

После ужина Магдаулев еще раз заговорил:

— Сам не хошь жрать, дак коня-то, поди, можно накормить? Я пойду, а?

Мельников сердито сверкнул белками, молчит.

— Ладно. Дело хозяйское.

Магдаулев подбросил в камин дров и улегся спать. Ночью Ганька увидел сон: идет он по широкой степи к древнему кладбищу гуннов, где на могилах стоят высокие, в рост человека, каменные истуканы. Один из них — Ефрем Мельников. Он поздравил Ганьку и говорит ему: «Смотри, паря, чо сделали со мной коммунисты — сердце каменное, тело тоже, а руки кремневые, твердь необычная. Попробуй-ка их силу». Ганька взял черную руку Ефрема и сразу же леденящий холод объял его. Он проснулся. В зимовье — тьма: в дырявой хибарке медведь и то околеет. Достал спички из кармана, нащупал в изголовье щепки и быстро растопил камин.

Мельников как сидел, так и сидит. Глаза широко распахнуты; безжизненны.

«Конь-то голодный!» — вспомнил Ганька и выскочил во двор.

Жеребец, заботливо укутанный дохой, ел сено.

«Мороз, пожалуй, до полста градусов жмет», — определил парень. Далеко в море бухали тяжелые орудия, — это, на невероятном холоде, лопался байкальский лед. Будто с испуга дрожали звезды. Волчья стая жаловалась кому-то — с подвизгом, нестройно выла песню.

«Поют черти!» — усмехнулся парень и взглянул на созвездие Орион — три яркие звездочки, взявшись за руки, дружно шагали с востока на запад. Ганька довольно точно определил по ним время и зашел в зимовье.

— Чо выскочил к коню? Я ведь не колхозник, чтоб мордовать животину, — неожиданно заговорил Мельников.

Магдаулев молча согрел уху, вскипятит чай. Сел за еду, а ложка сама по себе упала на стол.

— Вредный! Чево дуешься-то на меня?! Ведь голодный же! — закричал на Ефрема.

Мельников придвинулся к столу. Из-под лохматых бровей сердито смотрят большие глаза.

— Э-эх Ганьча, до еды ли мне, спроси-ко... Я помню, как ты хвостиком таскался за моим Кехой. Сам знаешь за что его казнили, потому и баить нечего о нем — ты все кумекаешь сам.

Мельников долго молчал. Трубку за трубкой набивал крепким самосадам.

— Дя Ефрем, я все знаю. Понимаю. Но зачем голодать-то?

— Понимаешь ты, да с другого конца. Зеленый еще.

— Может быть. Только я одно знаю точно, что ты сильный человек. Перебори себя и иди в колхоз, а то в рыбзавод. Ты ж мастер по снастям, по рыбалке.

Мельников отошел на свое место и оттуда пробубнил:

— Небось побежишь к княгине Катерине... Я как пес бездомный... Все отобрали. Ладно, пусть конфисковали рыбацкий скарб, но зачем из дома-то выгнали? Все беды сразу сгуртились, — напоследок и жену похоронил.

Теперь Ганька опустил голову. Молчал. Стыдно стало за свою грубость.

«Дом-то надо бы... это зря. Пусть бы жил. Тут переборщили сельсоветчики. Как-никак ведь Ефрем-то является отцом героя. Это зря так. А если я напишу заявление в БурЦИК, чтоб дом возввернули ему?»

— Дядя Ефрем, давай я накатаю жалобу от тебя, приятелем товарищу Ербанову?

Мельников махнул ручищей. Встал, подпер потолок головой.

Ганька невольно залюбовался могучим человеком.

— Дальше-то поедешь со мной?— пробубнил тот.

— Нет, дядя Ефрем, мне Сватоша надо увидеть.

— А-а, Зенона... Поклон от меня...

— Ну как, дядя Ефрем, черкну в Верхнеудинск от твоего имени. Хоть дом вернут.

Мельников рассеянным взглядом окинул Ганьку, подумал и коротко буркнул:

— Ладно, черкни.

Ефрем, не попрощавшись, вышел запрягать коня. Через некоторое время Ганька услышал гулкий топот, визг стальных подрезей.

Глава пятая

Через час быстрого хода Ганька вошел в квартиру директора заповедника. Встретил его сам хозяин. Ганька поздоровался и заглянул через плечо Сватоша.

— Екатерины Афанасьевны нет дома? — возбужденно спросил он.

— В питомнике. Ты откуда катишь, Ганя?

Магдаулев обтер ладонью лицо, одним залпом выпалил:

— В лес не ходите. Убьет Цивиль. Его подкупили. Сватош улыбнулся.

— В Баргузине я встретил Хабеля. При нем Цивиль получил деньги. Я усомнился, думал, болтает пьяный Хабель, второй раз забежал к нему. Он был трезвый и подтвердил. Вот написал вам. Не верите? — Магдаулев подал письмо.

Сватош развернул лист бумаги.

«Зенон.

Кланитца тебе Хабелька. Мои глаза видали как Цивиль захапал деньгу, а за теи целковые он обещал одному гаду сотворить над тобой злодейство. Мотри паря не суйся в лес. Ишо раз кланитца тебе Петрован Хабель».

— Ясно и понятно — снова запугивает меня хитрый Хабель, — Сватош порвал записку и закинул в плиту.

— Э-эх, не верите. — Ганька опустил на стул. — Тогда я скажу тете Кате. Она поверит и...

Сватош сердито затеребил темно-каштановые усы. Ганька знал, что это означает крайнюю досаду. «Усы-то все выдержат. Знаменитые, пышные».

— Нет, не скажу ей. А вы, Зенон Францевич, зря не верите.

— Верю. Но заповедник-то не оставишь на произвол. Ты... пойми. Столько лет мучились — расплодили соболей, а теперь отдать браконьерам на съедение? Нет!

В сенцах послышался топот. С морозным паром ввалился стражник Бимба.

— Зенфран, однако, ходить нада?

— Идем, идем.

— Куда? — с тревогой спросил Магдаулев.

— Тут рядом, волки задавили оленя.

Браконьер шел ровным шагом. Далеко не убегал и близко к себе не подпускал стражников.

«Опытный гад. Силу сберегает, — думал Сватош, идя по его чумнице. — Ничего, измотаем тебя, голубчик».

Раев шел первым. А позади всех Бимба. Он недавно поступил в стражу заповедника. На лыжах еще не наловчился. Часто падал. Раев язвил, подсмеивался над ним. Но Бимба не сердился на товарища, а ругал свои ноги, которые так долго не могут научиться ходить на лыжах.

Небольшой, но крутой спуск. Сватош с Раевым скатились и пошли дальше. Покатился Бимба. Вредная левая лыжа заскочила на правую, он потерял равновесие, полетел головой вниз и уткнулся в снег. Вскочил, отряхнулся от снега, чтоб Раев снова не просмеял его. Но, видать, у Раева и на затылке есть гляделки. Когда он догнал товарищей, снова услышал смех.

— Эх, Бимба, лучше бы ты пас баранов у себя в Барагхане. Тоже мне стражник. Может, Хабеля поймать надумал? Он заведет тебя в такое место — в штаны накладешь.

— Перестань, Митрий, — сердито осадил товарища Сватош. — Первый год я хуже Бимбы ходил, да научился же.

Люди брели из последних сил. Легкие охотничьи лыжи к вечеру стали трехпудовыми. Пот лил ручьем. В глазах белый снег — темным пеплом стал, а лыжи пятились назад. Раев молчал, хотя его тянуло и Сватошу съязвить. «За двадцать пять рублей столько поту льем. А за что? За голубые глаза директора?» — зло подумал он. Потом взглянул на сгорбившегося, с трудом шагнувшего впереди себя Сватоша и изменил мысли: «Эх, Зенон Францыч, наверно, один-единственный ты такой непутый, вместо конторского стула в ряд с нами лямку тянешь. Я б на твоём месте с бабой спал в тепле, а ты седни будешь «дуги гнуть», да звезды считать всю ночь. Я бы... да на хрена мне, если б грамотешка была... Эх, какой ты директор...»

Впереди рукой подать гольцы. На них страшно смотреть. Глыбы снега грозно нависли над людьми и в любую минуту могли обрушиться снежной лавиной, которая измелет, сотрет в порошок и браконьера и стражников.

День угасал. Розовые клыки гольцев стали лиловыми. Они быстро темнели.

— Эх, черт. Можно было б и ночью пошел договнять. — Сватош с досады затеребил усы, отдирая сосульки, кидал их с силой в браконьерскую чумницу.

— Иди, иди. Глаза-то выколешь первым же сучком, — ворчал Раев.

Сватош разглядел в сторонке несколько сухих деревьев и повел товарищей к ним. Место приглянулось, и возле сухостоя они сбросили свои поняги.

У Зенона Францевича продолжали ныть плечи. Ветра

не было, но деревья почему-то раскачивались, они двонились и трюились в глазах. «Это меня так качает», — догадался он и, плюхнувшись на свою пoniaгу, закрыл лицо руками. Долго сидел в таком положении. Потом начал чувствовать, как постепенно отходит боль, непомерная тяжесть покидает его измученное тело. Рядом зазвенел топор. Взглянул — Бимба принялся рубить дерево. Далеко в стороны отлетали ярко-желтые щепки; на белом полотне снега они походили на жарки-цветочки.

У Сватоша потеплело на душе.

— Ох и звонарь ты, Бимба.

— Да-а, какой уж там звонарь, топор добрый. — Раев смачно сплюнул и обошел вокруг сушины с запрокинутой головой. Определил, куда упадет дерево, одобрительно кивнул дровосеку, дескать, правильно рубишь, и принялся копать в толстом снегу яму. Лопатой ему служили широкие лыжи. Стражник ловкими сильными движениями далеко откидывал снег и быстро углублялся.

«Что это за люди, сибиряки? Какая невероятная выносливость?» — с восхищением думал Сватош. Ему стало неловко перед товарищами, он с трудом поднялся и принялся помогать Раеву.

— Давно бы так. Ишь раскис, как директур на мягком кресле, — смеялся Дмитрий.

Бимба перестал рубить. Раздался треск.

— Эге-гей! — взревел он. В следующий миг сушина с грохотом свалилась на землю. Бимба скинул шинель и в одной безрукавке сноровисто, по-плотнички принялся разрубать дерево на сутунки.

— Черт брацкий. Прытко робит, гад, — похвалил Бимбу Раев.

— Я ж говорю, что он звонарь, — вместо улыбки болезненно сморщилось обмороженное лицо Сватоша.

Через полчаса Раев с помощью Зенона Францевича выкопал обширную яму в снегу. Края ямы они обложили снежными кирпичиками. Получилась юрта. Только у этой юрты не было крыши: вместо нее леденисто-холодный купол темно-синего неба. Посредине снежной юрты разложили большой жаркий костер. На березовый таган подвесили котлы с мясом и чаем.

После ужина Бимба с Раевым улеглись спать, а Сватош заступил на дежурство. Пока сидел лицом к огню — замерзла спина. Отогрел спину — застыла грудь. Вот и вертится.

Усталость, тупая боль. Кто-то неотступно шепчет: «Спать, спать, спать». А спать нельзя. Он должен держать огонь до двенадцати, а потом его подменит Раев. С трех до рассвета — дежурит Бимба.

Чтобы отогнать сон, он попытался заговорить с огнем. Это давно испытанное средство. Огонь, словно живое существо, кивает ему гибкими язычками пламени. А когда разговор зайдет о чем-нибудь необыкновенном, то он примется приплясывать, прищелкивать. Но сегодня разговор не клеился. Гадко и тяжело на душе. Все чаще и чаще приходила в голову та записка от Хабеля.

«Значит, Цивили наняли убить меня?» — Сватош старался отогнать прочь эту назойливую мысль, но она не уходила, как муха в жаркий летний день кружилась вокруг головы. «Сколько исколесил по белу свету, на десятерых хватит, а такого не встречал, чтоб за мной охотились, как за зайцем».

В определенное время разбудил Раева, а сам улегся на его постель из еловых веток. Заснул быстро.

Раев через силу боролся со сном. Сказывалась страшная усталость. Но только засни, юрта-то без крыши — перестанешь поджиглять огонь дровами, сразу нахлынет мороз. Но сон не свой брат — загнул шею, склонил голову ниже колен, и шапка Раева упала с макушки, подкатилась к огню. Не прошло и минуты, она задымилась, вспыхнула.

Утром Раев утрюмо молчал и не смотрел на товарищей. Сватош достал из мешка вязанную из верблюжьей шерсти шапочку и протянул ее Раеву.

— Ты чо, Зенон Францыч, смеешься? — сердито зыркнул глазами стражник. — Може, бабий платок дашь?

Сватош снял свою рысью шапку.

— Ладно, надень мою.

— Эка, Зенфран, пошто так? — Бимба никак не мог выговорить полностью имя и отчество своего начальника, а поэтому звал его Зенфраном. — Однако худо. Митрия учить нада было. Спать любит.

Браконьер ночевал всего в километре от них и недавно ушел дальше.

В обед стражники достигли подгольцевого редколесья. Браконьер шел заметно медленнее их. Сватош подменил Раева и пошел впереди. Вдруг под ним зашевелился снег, не успел моргнуть — улетел в глубокий отдув. При падении что-то резко хрустнуло.

«Лыжи кончил», — мелькнуло в голове.

Товарищи наклонились и испуганно заглядывали в яму.

— Живой? — враз спросили они.

— Лыжи сломал.

С помощью товарищей кое-как выбрался из глубокой ямы, и, взглянув на браконьерскую чумницу, уходившую к гольцу, зло сплюнул, и опустился на снег.

— Наладишь лыжи, да догонишь нас, — советует Бимба.

— Нет, ты лучше дай мне свои.

— Зенфран. Ай-яй-яй. Худо баишь. Я сама.

Раев двинулся догонять браконьера. Остановился.

— Зенон Францыч, Бимба-то прав. Как-нибудь и без тебя управимся.

Браконьер вышел на кромку редколесья. Дальше высилась голая лысина хребта. Вдруг услышал шорох лыж. Изредка доносился стук ангуры¹. По звукам понял, что идет один стражник. В крайнем ельнике он сел за выворотень. Перед ним вытянулась полянка метров на триста. Через нее тянулась его чумница. За полянкой был реденький лесочек; оттуда приближался стражник.

Браконьер глаз не еводил с ближнего перелеска. Вот замелькала в просветах фигура человека.

«Быстро идет гад», — подумал он.

Через минуту-две показался стражник. Браконьер сразу обратил внимание на его шапку и злобно ухмыльнулся.

«Это Сватош в своей рысьей шапке. Вот ты мне и нужен».

Оттянул пуговку затвора, начал целиться. Вздогнул, испуганно перекрестился и, снова взяв на мушку белую шапку, нажал на спусковой крючок.

Сквозь пороховой дым браконьер увидел, как его противник, взмахнув руками, уткнулся в снег.

— Вот тебе за заповедник. Все! — рыкнул сквозь зубы и, трусливо оглядываясь, что есть силы побежал к перевалу. Наконец одолел взлобок, остановился. Сзади раздался выстрел. Браконьер упал и пополз вниз с гольца.

¹ Ангура — лыжная палка.

В крошечной темноте Магдаулев зашел в оградку, проскочил сенцы, открыл дверь.

Мать с полотенцем у плиты, Анка за столом.

— Здравсте, вот и я.

— О боже мой! Слава те, царица небесная, — прозвучал знакомый, знакомый материн голос.

Анка вылетела из-за стола, повисла на шее.

— Ой, Ганя, Ганя! Какой ты большущий стал, — визжит сестренка.

Освободившись от Анки, парень повернулся к матери. Та стоит. Из глаз, капля за каплей, текут по щеке скупые слезы.

— Волчонок мой. Как есть живой Волчонок, — наконец заговорила Вера. — Я, грешная, ажно вздрогнула, когда ты вошел, думаю, отец с того света возвратился.

Анка засуетилась у плиты.

— Мама, Ганя-то голодный.

Вера всплеснула руками, забегала, засуетилась. Не успел парень еще очухаться от встречи, на столе шипела сковорода с омулями. Пыхтел старый медный самовар.

— Ешь, сынок, ешь. Поди, соскучился по рыбке-то?

— Еще бы. Ох, скучал. Байкал свой ни за что не променяю на другие места. Не-е.

Долго и много ел Ганька, а потом, отпыхиваясь, спросил:

— А родня-то у меня есть? Чево же не вытаскиваете из-за стола? Я ж лопну.

После ужина уселись рядышком, разговорились.

— ...А Туяна-то красивая? — влезла в разговор Анка.

— Кыш, стрекоза, — отмахнулся Ганька.

— ...Гордей нынче в промыслу, — продолжала Вера. — Хионья тоже не сидит без дела — сетевязалкой ведает. Сережка ейный с нашей Анкой учится. Живут ладно. Одна беда, Гордей-то частенько запивает. Сам мне нынче признался, грит, как вспомню войну — сразу душа чернеет, сколь безвинно убиенных гниет в земле, а которых и захоронить-то не довелось, вот и заливаю душу водкой. Тетка-то Хионья башковитая, да и сама бывала в партизанах, знает, какой червяк точит душу Гор-

дея, а потому и молчит. С похмелья-то он никуда не бежит — старуха излечит. Так и живут.

— А Петька где?

— Рыбачит с Гордеем. Сам Макар-то бригадиром на неводу. Да, видишь, по старинке народ забижает. Где и кулаком стукнет, кто ленится. У них с Самойловым целая война. Хотели Макара прогнать, да заменить некем. Гордей не идет, на здоровье жалуется. Говорит, в сетевой бригаде и то тяжело.

— Да-а, Грабежов-то старый башлык. Умеет промышлять неводом.

— То-то и оно. План-то надо выполнять, а без Макара как?

Магдаулев не сводит глаз с постаревшего лица мачехи. Морщин еще больше, седых волос уйма, глаза поблекли.

Анка прижалась к нему, тепленькая. Давно ли это было, он помнит хорошо, как кудлатую кроху носил по всему Онгокону. Она, бывало, верхом оседлает и брыкает ножками: «Чу, мой конька».

— Ну, сестра, как учишься-то?

— Хорошо.

— Молодец ты у меня.

«Чем старше становится девчонка, тем больше походит на мать. Вот бы сейчас увидел ее отец. Ведь души в ней не чаял», — подумал Ганька.

В большом доме Алганая — школа. Рядом второй домик — интернат. Заведует этими домами иркутская бурятка Ксения Михайловна. В четырех классах у нее больше сорока учеников. Занимается она в две смены, с утра до ночи, да еще на ее плечах — ликвидация неграмотности среди взрослого населения.

Рано утром в квартиру учительницы вошел Магдаулев.

— Здравствуйте. Меня направили к вам на работу.

Бурятка совсем сузила и без того глаза-щелки и отступила назад. Обрадованно заговорила.

— Я уж боялась. Думала, скоро упаду и больше не встану. Замучилась одна.

— Моя фамилия Магдаулев.

— А звать-то как? — засуетилась у стола женщина, потом пододвинула табуретку и предложила сесть.

— Звать Гань... — не договорил и поправился, — Гавриил...

— Вы в школе работали?

— Нет. Рыбачил, охотился. Потом курсы.

— Я вам помогу, Гавриил... как величать-то?

— Бадмаич.

— Гавриил Бадмаич. Бурят, а фамилия эвенкийская.

— Отец воспитывался у них. Я тоже.

— И язык эвенкийский знаете?

— А как же.

— Это чудесно! Здесь и нужен такой учитель. Вы мне поможете, а я вам. Я, хоть убей, ни единого слова. Эвенки нарочно при мне разговаривают на своем языке, смеются, наверно, меня просмеивают порой. Это я чуть-ем угадываю...

Выйдя от учительницы, Магдаулев подошел к домику Алганая. Опять, как и раньше, почему-то охватило его чувство неловкости. И образ Цицик всплыл, заслоня все на свете. Ганька постучал и вошел. Алганай сидел на полу и разбирал сети.

— Мэндэ.

Алганай мотнул головой. Исподлобья обжег взглядом.

— Мне бы Цицик увидеть.

— Ей некогда.

В соседней комнате шуршала бумага, видимо, Цицик перелистывала книгу. Магдаулеву стало не по себе. «Интересные люди. Думают, что я виноват в чем-то перед ними...»

— Ну что ж, до свиданья, — Ганька с горечью покинул дом.

* * *

На стенах висят три керосиновые лампы. Свет от них желтовато-тусклый. В длинный ряд составлены столы и скамейки. Сидят взрослые люди. Низко наклонили головы над тетрадями и выводят прямые палочки, потом палочки с крючками вниз, а последние две строчки — кружочки.

— Теперь напишите букву «а». — Магдаулев взял мел и пишет на доске. — Смотрите внимательно на мою руку и также пишите в тетрадях. Сначала пишу кружочек. Вы написали кружочек? Теперь к кружочку добав-

лю палочку с крючком. Написали? Это какая буква, Уриндак?

Поднялась девушка.

— Это буква «а», бакша¹.

— Молодец, Уриндак, садись.

Ганька подошел к девушке и, наклонившись над тетрадью, написал «хорошо».

— А мне!

— Мне-то, бакша!

— А ну черкни и мне цену работе. Покажу своей Цыпе, — попросил Анкоуль.

— Успею всем. Никого не обижу, — улыбается Ганька.

Из всех парней только ершистый Бодоул не ходит в клуб, а про учебу в ликбезе и слышать не хочет. Уже давно они с Уриндак любят друг друга. Вечерами, затаившись за сосенкой, он неотрывно смотрит в окно клуба. Сердце обливается кровью, жжет огнем, когда Магдаулев низко наклоняется над его Уриндак, проверяя написанное в тетради.

Сначала Бодоул пригрозил Уриндак:

— Если будешь учиться, дружба-любовь наша погибнет.

— Нам обоим учиться надо. Сядем рядышком, как будет хорошо. Не чуждайся, ты же не волк, — сказала девушка. Тот замолчал, опустил голову.

Через некоторое время Уриндак вступила в комсомол. Бодоул обозлился и сказал:

— Я убью твоего бурята.

— А за что? За то, что он грамоте людей учит? Да?

— Грамота эвенка портит. Не нужна она. Ослепнешь от белой бумаги, как стрелять будешь, а?

— Никто еще не ослеп. Ты слова шамана повторяешь.

Прошел месяц как Магдаулев прибыл в Таськимо и начал заниматься со взрослыми.

Ганька ведет урок. Великовозрастные ученики пыхтят, потеют. Толстые негнущиеся пальцы умеют держать лишь ружье, топор. А тут... этот сын Волчонка сует малюсенький карандаш, который выпадает из паль-

¹ Б а к ш а — учитель.

цев, никак приловчиться нельзя к этой зловредной палочке.

Анкоуль исписал сверх положенного целых два листа. Пальцы от напряжения занемели. Трясет ими, охает.

Человек двадцать мужчин и женщин сидят за столами. Десятилинейные керосиновые лампы скупо освещают помещение.

Сегодня Анкоулю особенно трудно. От усердия даже тело затекло. Еще бы. Он пишет самое дорогое имя — «Ленин». Он малюет уже третий лист.

Магдаулев повесил портрет вождя и мелом написал на доске: «Ленин наш учитель».

Взгляд Анкоуля остановился на портрете. Лобастый человек мягко улыбается, ободряет его, дескать, осилил тайгу, осилишь и грамоту... Под портретом большие черные буквы. Неожиданно для себя, сам, без помощи учителя, громко прочитал: «Ленин наш учитель». Не поверив себе, он подскочил к доске и, тыча пальцами в слова, взревел изо всей мочи:

— О-бой! Люди!.. Смотрите, читаю. А!.. ведь читаю!..

Ликбезники бросили писать. Улыбаются. Рады за Анкоуля и в то же время завидуют ему, так быстро грамотеем стал. Подошла хрупкая Уриндак. Раскраснелась вся. Прочитала: «Ленин наш учитель». Тут уже не поверили, дескать, за Анкоулем повторила девка. Уриндак строго сдвинула тонкие брови.

— Ганя, напиши другие слова, — попросила она.

Магдаулев исполнил ее желание. Написал: «Уриндак хорошо учится». Девушка громко прочитала и, застенчиво улыбаясь, села на свое место.

Ликбезники удивленно уставились на Уриндак. Сидевший в сторонке дед Тымауль выронил трубку из рта. Махнул кисетом и громко засмеялся.

— Во! Ха-ха-ха! Во! Внучке-то моя башка досталась. Вот, видели... Вся в меня, ба-а-ашковитая!

После уроков народ собрался в клубе. Пришел и Самойлов. Ганька прочитал две-три статьи из республиканской газеты. Его перебил Анкоуль.

— Ты, сын Волчонка, прочитай-ка нам лучше свою газету.

Магдаулев рассмеялся.

— Моей газеты нет, а статья есть. Если желаете слушать, то...

— Читай, — приказал Самойлов.

— Твоя? Писал ты, а машина сделала? О-бой! Давай, давай, — раздались и под конец слились воедино несколько голосов.

— «Сигнал из Подлеморья», — прокашлявшись начал Магдаулев.

— «В Таськимо кроме коммуны «Волна» есть охотничья артель. Оленнее хозяйство в артели находится в весьма тяжелом положении: во-первых, из-за ненадежности труда по выпасу и, во-вторых, из-за совершенного отсутствия ветеринарного обслуживания.

В артели нужно ликвидировать уравниловку и поедокий принцип. Распределение натуральной части дохода ведется без всякого учета количества и качества труда...

По-моему, настало время и в Таськимо организовать на базе коммуны «Волна» и артели крупный охотничье-рыболовецкий колхоз. А также незамедлительно направить к нам ветеринара. Селькор Г. Магдаулев».

Размахивая трубкой, выступил Анкоуль.

— ...Олени, когда не дохли они у эвенков? — всегда. Делить доходы от промысла ерунда. Если же маленько обделят, обманут — дело привычное. Когда же тунгуса не обманывали? Ладно, наплевать. Проживем. Колхоз? А зачем он нужен?

— Правильно Анкоуль бант. Правильный он человек, — прошамкал беззубый Тымауль.

Остальные поддакнули и молча курят. А что они скажут. Ведь Анкоуль один-единственный партизан во всем тузсовете, да, пожалуй, во всем аймаке. Он да еще Волчонок воевали против воинов белого хана Николы. Большие люди партизаны. Батыру Ленину подмогнули правильную власть сотворить — Советскую. Тут еще сам бабай Тымауль одобрил слова Анкоуля. Остальным уж сидеть и помалкивать нужно. Му-удрый бабай Тымауль.

— Еще кто скажет свое слово? По-моему, дядя Анкоуль выступил очень плохо, — распаляясь, сердито заговорил Ганька. — Мой отец Волчонок вместе с Анкоулем дрался за Советскую власть, погиб, чтоб спасти других. Я уверен, что он постыдился бы говорить против Советской власти.

Как ужаленный вскочил Анкоуль.

— Ты, сын Волчонка, сдурел?! Когда я баил против власти?

— Кто против колхоза, тот против Советской власти.

— Стой, стой! — перебил Анкоуль. — Я не против колхоза. Артель, говорили мне в тузсовете, тот же колхоз.

— Правильно, товарис предчедатель, — крикнул кто-то из задних рядов.

— Нет. Такие же, как ваша карликовая артель существовали десять тысяч лет назад — у первобытных людей. Я про те времена вам книгу прочитаю. А колхоз... колхоз — это уже большое хозяйство. Сами изберете правление, председателя. Обязательно будет счетовод — грамотный человек, который запишет в книгу все ваши доходы и расходы. Ты, дя Анкоуль, говоришь: «Когда тунгуса не обманывали...» Эх, ты! Как тебе не стыдно так говорить-то. А за что ты воевал? За что?

Анкоуль опустил голову, потом буркнул:

— Однако, однако, сын Волчонка, ты прав.

В «Красном Чуме» воцарилась тишина. Через некоторое время зашептались, потом загудели. Поднялся Бодоул. Исподлобья взглянул недобрыми глазами.

— Ты, сын Волчонка, сильный... Но помни, сохатый куда могутнее тебя, а ему рога обламывали мы... Однако ты худой человек. Иди к своим русским друзьям. Не то будем тебя бить.

— Правильно! Катись к своей русской родне, — раздались два-три голоса.

— Не пугай, Бодоул! Я не из рода Зайца, а сын Волчонка, — сердито выкрикнул Магдаулев и пристально взглянул на Анкоуля. Тот резко поднялся.

— Кто враг сыну Волчонка, тот мой враг!

Анкоуль сердито запыхтел:

— Ты, Бодоул, смотри у меня. Запомни — русские наши братья. Неправильно кукуешь да трещишь: все делать надо по-тунгусски, а не по-русски.

Поднялся Семен Самойлов. Люди насторожились.

— Ну што, товарищи соседи, сгоношим колхоз, што ли? У меня в коммуне работяги добрые. Мы будем рыбалкой ведать, а вы — в лесу промышляйте. Выгода будет всем. Можете председателем поставить товарища Анкоуля, а я у него в помощниках стану ходить.

— Э-э, брось, брось! — вскинулся Анкоуль.

— Колхоз?.. А это кто такой? — спросил дед Тымаль.

— Это, бабай, тоже артель, только большая-боль-

шая. Все Таськимо в одну кучу соберут. Но только порядок должен быть строгий. Кто что сделал, должны записывать на бумаге. Кому сколько полагается за его труд — тоже записывать. Все это называется учет. Должен за столом сидеть грамотей и все записывать, считать до копейки все доходы и расходы, — пояснил на эвенкийском Ганька.

— О-бой! Голову надо!

— Башки такой у нас нету! — громко крикнул кто-то из угла.

— Найдется! Эвон Уриндак уже читает. Скоро и другие научатся. Чо мы не люди, — сердито взглянув в угол, сказал Анкоуль.

— Однако лучше по старинке жить будем, — робко донеслось откуда-то, — зачем колхоз.

Вскочил Магдаулев.

— Э-э! Шаманский дружок запел! По старинке?! Голодать по неделе? Чтоб вши заедали? Болезни одоле-ли? Не для того наш народ Советскую власть завоевал. Сколь головушек полегло. Не быть тому!

— Правда, бакша!

— Верно баит парень!

— Не надо по-старому!

— Пойдем в колхоз!

От громких выкриков все заходило ходуном. В этот вечер долго бушевали страсти в «Красном Чуме». Решение о создании колхоза было принято.

* * *

Артамошка Лисянский — первый друг Куруткана. Уже несколько лет они вместе сколачивают артели охотников. Снабжают промысловиков харчем, ружейным припасом, не жалеют и спиртиска. Завозят свои артели в глухие таежные места по соседству с заповедником. И идут людишки воровскими тропами в запретные места промышлять черного соболя, шкурка которого ценится до восьмисот целковых...

Лисянский неведомыми путями разнюхал, что Куруткану грозит беда. Послал ему сообщение с верным человеком. Куруткан не мешкал, удрал с младшей женой Чолбон в глухую Подлеморскую тайгу, где жила его сестрица Лэтылкэк с сыном Бодоулом. Куруткан явился темной ночью в Таськимо, испугал Лэтылкэк своим ви-

дом, блуждающими, как у затравленного волка, глазами.

— Аяльди? Слышала, что я от Советов прячусь?

— Аякост. Садись. Знаю твою беду, — дрожащим голосом пригласила Лэтылкэк Куруткана.

«Сроду не заезжал в стойбище к бедным, а тут...» — подумала хозяйка.

— Вижу, боишься, что пришел к тебе.

— Молчи, не гневи богиню Дунде. Мы с сыном будем помогать тебе... Только к нам не ходи. Рядом живет Анкоуль. Он тебя и нас утащит в тюрьму.

— Анкоуль? Тот, который партизанил?

— Он... Еще живет тут сын Волчонка, Ганька. Собрал молодых в какой-то косомоль. Вечерами учит читать, писать, новые песни петь, плясать...

— Знаю. Из-за него чуть в тюрьму не попал. — Куруткан скрежетнул зубами.

— Племянник мой тоже с ним?

— Бодоул-то в ссоре с Ганькой. Не знаю толком из-за чего. Сын Волчонка зовет Бодоула учиться — он не идет, зовет в косомоль — отказался.

— Молодец...

— Невеста Бодоула, Уриндак, записалась в косомоль. Вечером бежит с бумагами в «Красный Чум», а парню моему не по нутру. Боюсь, худым кончится это.

Вошел Бодоул и удивленно уставился на гостя. Потом натянуто поздоровался.

— Что, племянничек, дядю не узнал?

— Зачем так сразу с обиды разговор начинать, дядя Куруткан? — вопросом же ответил парень.

«Давно ли племянником стал? — подумал он. — Раньше, бывало, мимо ездил, теперь хвост прижали, зашел».

Куруткана не проведешь — старый лис. Легко поднялся и, улыбаясь, вручил Бодоулу дорогой подарок.

— Вот, парень, бери. На триста сажен нерпе в глаз попадешь. Такого ружья не имел ни один охотник. Дорого платил, берег для себя. Бери, бери, не стесняйся! Ведь родня же! Да дядю не забывай.

Бодоулу не поверилось. При неровном свете костра новенькая винтовка заманчиво подмигивала, сверкала, блестела. Казалось, она таинственно шептала: «Возьми, возьми, возьми меня». Руки парня невольно потянулись, он схватил ружье и выскочил на двор.

Из-за двугорбой черной горы показалась луна и освещала

тила макушки деревьев. На фоне зубчатого ровного сосняка выделялась высокая сухая лиственница, редкие сучья которой, как длинные кривые ноги паука, вцепились в темную синь неба.

Бодоул передернул затвор, прицелился в самую верхнюю «ногу» и плавно нажал на спусковой крючок. Легкий толчок в плечо, пламя из ствола, и в тот же миг смачно щелкнула пуля, «нога» полетела вниз. По тайге победно, весело грохотало эхо выстрела.

«Такого ружья и в руках не держал», — от радости поцеловал приклад, прижал к груди. Спихватился и, словно пьяный, ошалело влетел в чум.

— Эни¹, давай огненной воды.

Горбатая Лэтылкэк даже выпрямилась и угодливо засуетилась — ведь хозяин чума велит.

Куруткан закурил. По-родственному удобнее устроился на шкурах.

На низеньком столике куски жирной оленины, рядом бутылка водки и две кружки.

Гость, обмакнув палец правой руки в водку, побрызгал на огонь. Долго шептал молитву, выпил.

Бодоул тоже осушил кружку.

— Молодой сокжой². Сытый зверь, — обгладывая кость, хвалил Куруткан.

После ужина Куруткан вкрадчиво заговорил:

— Ты, Бодоул, слышал про колхозы, нет? Это несчастье одно. Горе народу нашему. Скоро в Таськимо всех загонят в колхоз. Как ты смотришь на это, сынок?

Бодоул помялся. Вопрос застал его врасплох. Вспомнил слова Анкоуля и ответил также двояко:

— Однако смотреть буду. Всяко бают люди. Но сын Волчонка всем головы забил — хвалит колхоз, хулит всю старину.

Куруткан сморщился. Долго молчал. Потом спросил:

— А мне-то будете помогать?

— За такое ружье я злого духа на рога возьму, только скажи. Почему не помочь попавшему в беду человеку, тем более сородичу.

— Дяде родному, — добавил Куруткан. — Поможешь сейчас — сделаю тебя богачом. Скоро придут к нам японцы и Советы изгонят. Новый белый хан сядет на

¹ Эни — мама.

² Сокжой — бык, дикий олень.

золотую скамейку. Заживем по старинке. Я не дурачок какой-то, все самое ценное, которое не гниет и не ржавеет,— в землю захоронил. Там много золота. Ха-ха-ха,— подзахмелевший Куруткан стал весел, и постепенно развязывался его тугой язык.

— Япон? А это кто такие?

— Народ есть такой. Так же, как буряты, бурхану Будде молятся, схожие с нами люди. Живут за теплым морем.

— Значит, придут. Прогонят Анкоуля, сына Волчонка, Самойлова?

— Как белок, обдерут их.

Куруткан разгладил черные свисающие усы. Рукавом смахнул пот с лысины большой клинообразной головы. Спрятал за толстыми веками глаза.

— Теперь слушай, что тебе делать: скоро у вас тоже колхоз будет—вступай. Старайся угодить Анкоулю. Будь самым лучшим охотником колхоза. С сыном Волчонка будь осторожней, он не пожалеет тебя, если болтнешь ему неладное. В лавке покупай муку, соль, масло, огненную воду, табак. Все это, будто на охоту готовишься,— вези ко мне в ущелье Белого Волка. Вот тебе деньги.— Куруткан вытащил из-за пазухи пачку крупных купюр и подал Бодоулу.

Бодоул взял деньги и тут же выронил тяжелую пачку. Куруткан усмехнулся.

— Боишься?

— Не боюсь. И боязно тоже. Главно душа не лежит к сыну Волчонка. Все его хвалят—умный, грамотей, трезвый, сильный. Я тоже сильный. Я лучший охотник. Я бравый парень, не хуже его, а на меня... меня будто нету... Будто я последний... Никуда...

Куруткан рассмеялся. Хлопнул парня по плечу.

— Черт с ними! Такое время пришло. Это пройдет. Ты будешь самым богатым тунгусом. Обещаю перед великими шаманскими духами.— Куруткан поднял голову, уставился в дымник чума. С толстых губ срывался шепот молитвы. Брызгая слюной, он поклялся перед небожителями.

— Учись грамоте, а в комсомол не лезь. Прикинься дурачком. Оттягивай. Обещай, что вступишь. А придет время—сын Волчонка окажется в твоих ногах. Тогда топчи его, как сохатый.

Лэтылкэк подкладывала в огонь дрова, курила и ти-

хонько смеялась от счастья. В такт речи Куруткана старуха трясла седыми космами.

— А Монка Харламов здесь живет?— неожиданно спросил Куруткан.

— Прикочевал к нам.

— Как найду его?

— В самом конце с того краю строится.

— Он мой друг. Верь ему — если он приведет к тебе человека, то веди ко мне. Понял?

Куруткан попрощался и вышел.

* * *

Дремучая тайга подступила к Таськимо. У кромки ее белел новый сруб. Неподалеку маячили две тени, слышался приглушенный говор.

— Шамана Хонгора, значит, нет дома. Ты, Монка, встретишь его, скажи, что я нахожусь в надежном месте.— Куруткан говорил почти на чистом русском языке.— Если кому надо меня, то пусть скажут моему племяннику Бодоулу. Он приведет того человека ко мне. Понял?

— Понял, дя Куруткан.

Харламов долго молчал, едва заметно качая маленькой головой с большими оттопыренными ушами.

— Хоть опасно, но ради тебя, дя Куруткан, я все сделаю. Скажи, дя Куруткан, Советская власть-то ишо долго будет над нами?

Куруткан сердито кашлянул, заговорил сбизчиво.

— Не знаю... Есть люди, знают. Год-два пройдет, потом придет япон, придет герман, придет американ. Таким, как мы с тобой, будет шибко хорошо. А сейчас мы будем вред делать Советам.

— Надо. Надо, таку иху мать.

— Будь хитрой лисой, Монка, не матерись. Советы не ругай, дурачком покажись, пьяницей.

— Ладно, дя Куруткан, учить не надо.

— Забыл. Ружье хорошее купи. Патрон надо больше иметь.

— Ладно, дя Куруткан, есть белый офицер, прячу его, да долго не смогу, возьми его к себе. Ох злой на Советы. Этот верным будет тебе помощником.

— Посылай его. Прощай, друг-тала мой.

Куруткан черной тенью мелькнул между деревьями и исчез.

Глава шестая

В ясный полдень Уриндак собрала народ в клуб. На сцене — большие портреты Ленина и Сталина.

За столом сидит зампред аймисполкома Голубев. Анкоуль рядом, будто шустрый мальчонка, елозит на табурете, справа — Самойлов, Магдаулев с бумагами тут же. Строчит, головы не поднимая.

Голубев густым баском загудел:

— Товарищи! Такими маленькими артелями, как у вас, далеко не уедешь. Мало мощные они, да и порядку в них нет никакого. Партия направила меня в Таськимо организовать колхоз...

Поднялся Анкоуль и заговорил на родном языке.

— ...Мы с бакшой Магдаулевым еще до этого толковали вам, что нужен колхоз. Наша артель слабая. Видать, коммуна, тоже маленько «худой табак». У коммуны есть невод, сети, лодки. Рыбаки и рыбачки есть. Будем добывать омуля, а в тайге пушнину. Магдаулев в газете толковал об этом.

— Правильно, Анкоуль! Я омуля люблю! Записывай меня первого в колхоз,— ударил в грудь Бодоул.— Зимой белку, соболя добуду, а летом омуля.

Люди удивленно посмотрели на Бодоула.

Голубев захлопал в ладоши.

— Bravo! Вот молодец! Настоящий советский человек.

— Меня тоже!— крикнул комсомолец Вачеланов.

— Меня!.. Меня!..— заговорили другие.

— А я могу быть колхозом? У меня одна собака да ружье. Возьмите, пожалуйста,— встрял в разговор и дед Тымауль.

— Колхозником,— подправил Анкоуль.

— Пиши. Народом веселей промышлять.

Записались почти все.

Монка Харламов, косо поглядывая на стол президиума, поспешно улизнул из клуба.

Выступил Самойлов.

— Не думайте, люди, что я свою коммуну раздва и привел в колхоз. Нет, товарищи, мы на своей шкуре поняли, што колхоз более выгодная штука, то есть хозяйство, в котором, если дружно работать, то толк будет.

Поднялся дед Тымауль. Ткнул трубкой в Семена Самойлова, перебил его.

— Только надо короший голова.

— Правильно баит бабай Тымауль! — вскопчил горячий Анкоуль. На темно-бронзовом его лице белозубая улыбка, — я хочу предложить — председателем товариса Самойлова.

На этом же собрании было избрано правление.

Председателем колхоза «Красный таежник» стал Семен Самойлов. Заместителем — Анкоуль.

* * *

Заместитель председателя аймисполкома Голубев давний друг Харламовых. Сын богатого крестьянина, он перед мировой войной окончил реальное училище. На войне был прапорщиком, после ранения получил крест святого Георгия, офицерское звание и спокойную службу ротного командира в запасном полку в городе Иркутске. Вот тогда-то он разглядел в своей роте услужливого солдата Монку Харламова и взял к себе в денщики. С тех пор и дружба повелась между ними, проверенная годами, верная, надежная.

А в гражданскую Голубев хитрил да и ненавидел «белокостных» офицеров. Выжидал, куда ветер повернет. Когда иркутский ревком расстрелял адмирала Колчака, он понял, что дело белых пропащее. И, долго не думая, подался в родные края. Лежал в уютной землянке в глухой тайге. Монка Харламов привозил ему харчишки и свежие новости. Вместе с ним были такие же, как и он, «зеленые». Пришло время, закаркали вороны над его землянкой: «Карр! Кррышка! Карр!» Приехал Монка и со слезами сообщил: «Пропащее дело»... Тогда Голубев скинул с себя «зелень» и стал командиром уже не «зеленых», а сразу же «покрасневших» своих дружков. На их счастье по тайге брела белая банда Дуганова; дугановцы расстреливали коммунистов, устраивали жуткие надругательства, дикие оргии. Голубев со своими молодцами из засады перебил половину бандитов. Остальные вырвались и подались по тайге на восток. В этом бою Голубева ранило. Домой Голубев заявился с красным бантом на груди, с перевязанной головой и репутацией — защитника Советской власти. Вступил в партию. А дальше пошло как по маслу. Умный, хитрый, он умел

ладить с людьми. Начал с делопроизводителя и дошел до зампреда.

Монка всю ночь ходил за конем Голубева. Перед рассветом запряг в легкую кошевку.

Голубев, одетый в длинную до пят собачью доху, удобно уселся. Монка подоткнул его со всех сторон толстым брезентом.

— Не продует, Лександр Никодимыч! Знай, сиди.

— Спасибо, Монка. Наклонись-ка ниже.

Харламов приложил ухо к вороту дохи.

— Слушаю.

— ...В заповедник заглядывай. Смотри в оба, может быть, поймашь Сватоша за нехорошим делом. Мне нужна зацепка. Понял?

— Понял, Лександр Никодимыч. Слушаюсь, исполню в точности. А ежели соболь пересекет мне путь-дорожку?

— Приголубь,— подумав, добавил:— Старики твои пусть вступят в колхоз, а ты повремени. Для тебя я найду работенку. Старайся ближе быть с Самойловым и Анкоулем. Понял?

Харламов еще ниже наклонился к Голубеву и тихо зашептал на ухо:

— Лександр Никодимыч, в нашей тайге добрые люди завелись. Куруткан верховодит ими.

Голубев задумался. Помолчал.

— Дураки они. Что хотят сделать? Их, как поганных лягушек, растопчут. Ты, Монка, не смей с ними якшаться, понял? Запрещаю!

— О, господи! У-умный же ты, Никодимыч!

— Так, понял?! Ты с другого конца, из-под земли, как мышь подкапывайся. Незаметно вбивай клин между Самойловым и Анкоулем. Между правленцами и колхозниками. Между русскими и тунгусами. Бригадиров подрубай. Легче начать с Макара Грабежова. Он дикий, но как бригадир — бесценный. Знаток, гад. А заповедник мы должны взять в свои руки. Сватоша надо чернить. Он ведь чех по национальности. Ты, в это же время, напиши на мое имя донесение, что Сватош в 1918 году встречал белочехов с хлебом-солью. Понял? А я толкну это дело дальше. Это самый верный ход...

Еще раз приказываю: с Курутканом ни шагу! Наоборот, при случае — бей его. Этим самым заслужишь авторитет и доверие. Почему?.. а?.. Да потому, что Куруткан

и его прихвостни обречены. Понял? Им так и так смерть... Ну, с богом!

Горячая лошадь вскачь вынесла легкую кошевку на улицу, и она быстро скрылась из глаз.

Монка стоял и радостно улыбался.

— Ишь ты! Ума-то, ума палаты! Правильно! Зачем лезти в драку, как Куруткан? Лучше тихонечко прибрать заповедник. Там же живое золото — соболи! А здесь буду исподтишка кусать... бо-ольно укушу кое-кого... Навек запомнят... Ха-ха-ха!

* * *

Король у окна подшивал ичиги. Вдруг вскипел от обиды, плюнул и откинул в сторону свою работу.

— Ты чего, Филантий? — робко спросила жена.

Бросил на жену колючий, недобрый взгляд, потом махнул рукой, опустил голову, едва слышно, будто сам с собой, заговорил:

— Соболевство запретили. Какой-то заповедник удумали в Подлеморье. Зачем он нужен? Забава ребячья... Того не поймут, што не все дураки, как я. Эвон Петруха Хабель звал меня хитить соболя в заповеднике.

— И шел бы с ним.

— Дура! Как есть дура, хоть и дикой Король я, а когда-нибудь воровал? А?

— Кто об этом скажет! Язык не повернется. Но это ж не воровство, а охота тайком.

— Э-эх! Што у кур, што у баб. Раз государство запретило — это ж закон. Поняла? А нарушил закон — вор и преступник ты!

— Раз такой честный, шел бы в стражники. Сватош-то звал тебя.

Король покачал головой, дескать, что с бабы взять. Поднял с пола ичиг, повертел в руках.

— Годков двадцать скинуть бы — пошел.

— Вот тебе и «бы», а я-то куды?

— Семьями живут. Эвон кум Митрий Раев сколько лет уж там.

— Не-ет, сдохну лучше в своем Бирикране. Тут по-христиански похоронят.

Под окнами послышался звон колокольца, скрип са-ней. Чей-то глухой голос невнятно гудел.

Липистинья посмотрела в окно.

— Легкий на помине — Сватош появился.

На крыльце загрохотали тяжелые шаги. Вошел директор заповедника.

— Здравствуйте, добрые люди!

Король поднялся навстречу.

— Проходи, Зенон Францыч. А чо в ограду не заехал? Ночевал бы.

— Тороплюсь, Филантий Васильевич. Забежал на минутку.

— Липистинья, самовар! Да омульков поджарь,— приказал Король жене.

Та привычно засуетилась около плиты.

— Не надумал ко мне?

Король затряс бородой.

— Не-е, Зенон Францыч. Вот собираюсь на рыбалку.

Сватош тяжело опустился на скамью. Закурил, хмуро взглянул на хозяина, будто он, Король, виновник какой-то беды.

— Ты, што, паря?

Сватош молча курил, наконец сказал тихо:

— Раева убили... Хотели меня, да ошиблись.

— Раева? Это моего кума Митрия?

Сватош кивнул.

— О, господи!.. Грех какой... Кто же мог такое сотворить, а?

— Арестовали Цивиля. Признался. Спрашивали, кто был с ним, молчит.

Король невидящими глазами уставился на жену. Та испуганно опустила глаза, перекрестилась.

Опять загудело крыльцо, и в дверь с шумом ввалился чернявый Тимоха.

Филантий трахнул кулаком по столу.

— Интересно девки пляшут! Ты, батя, спятил? — удивленно уставился на отца Тимоха.

— Браконьеры твоего крестного убили.

— Дядю Митю?

— Его...

В доме воцарилось тягостное молчание. Его нарушил тихий голос директора заповедника.

— Один Дмитрий и догонял браконьеров. Остальные-то стражники так себе.— Сватош оглядел парня.— Вот бы мне такого молодца.

— Я бы пошел! За дядю Митю дал бы прикурить!

— С-сволочи! — выпалил Тимоха. — Только дотолкуйся с председателем. А то мне в колхозе негде размахнуться...

Сватош улыбнулся.

— А у нас есть где.

Филантий, обхватив голову руками, набычился. Жена испуганно замахала руками:

— Это прямо беда... Это — смертушка парнишке. Варнаки пальнут... Царица небесная, спаси и помилуй.

— Цыть! Не лезь в мужичьи дела! — выругался Филантий.

— Не пуцу парня!

Король, не обращая внимания на жену, хлопнул по плечу директора.

— Забирай, Зенон Францыч, Тимоху! На лыжах от ветра не отстанет! Любого хищника в один момент догонит.

Липистинья сердито вскрикнула:

— Сам, лешной, иди! Чего парня под пулю посылаешь?!

Тимоха рассмеялся.

— Интересно девки пляшут! Опять рев! Вот семейка!

Кто-то постучал в окно. Хозяйка выглянула — и тут же, накинув платок, быстро вышла во двор.

— Слава богу, умелась! — усмехнулся Филантий.

Мужики запалили трубки. Тимоха спросил у Сватоша:

— Зенон Францыч, слышал я, придет время, когда в заповеднике расплодится столько соболя, что им не хватит корма, тогда как?

Филантий вынул трубку, строго взглянул на директора.

— Парень толкует дело. А то не вышло бы — собака лежит на сене. Ни людям, ни нам...

Сватош усмехнулся.

— Так не будет. Да, соболя уже много стало. Я договорился с Москвой. Нынче отловим двадцать живых соболей. В клетках перевезем их в Голонду. А со временем разрешат там промысел на него.

Отец с сыном переглянулись.

— А меня, поди, не отпустит колхоз? — спросил Тимоха.

— Через исполком добыюсь. Спасибо, Филантий, за Тимофея. Может быть, и сам пойдешь?

Филантий тяжело вздохнул, с досадой взглянул на Сватоша.

— Пошел бы. Никто не скажет, што у Короля штаны трясутся. Никто! Ходули стали болеть... Ведь сколько гор, гольцов перемахнул на них — всю баргузинскую тайгу исколесил. А сейчас и на белковые-то иду с опаской. Ты уж, Зенон Францыч, Тимоху-то сдерживай. Начудить может. Кровь-то дикого Короля, куда денешь.

* * *

Лыжи из широченных досок никак не утонут в глубоком рыхлом снегу. Гладкие конские камысы приклеены к доскам осетровым клеем. Лыжи скользят вперед и вперед, а назад ни капли не сдадут, хоть по самой что ни на есть крутизне иди вверх. Вот ведь удобства самые таежные! Какой-то мудрый тунгус изобрел эти лыжи в давние-давние времена. Так и называются они тунгусскими.

Тимоха Король идет впереди, за ним Сватош, сзади — Бимба. Бимба совсем недавно поступил в заповедник. Подружился со Сватошем, прикипел к нему душой. А до этого он жил в Барагхане, весной приезжал на Байкал стрелять нерпу, а после охоты уезжал к себе в степь. Во время нерповки Бимба часто встречался со Сватошем на море, где Зенон Францевич изучал жизнь байкальского тюленя. Фотографировал, попутно и на Бимбу наводил глазок аппарата. Бывал Бимба и в Кудалдах, где гостил у директора. Екатерина Афанасьевна угощала пышным пирогом, а Зенон Францевич из розового графина наполнял бокалы вином.

Весенний Байкал капризен и коварен. На каждом шагу можно провалиться. Смертельная опасность не раз угрожала и Бимбе и Сватошу. Не раз спасали они друг друга.

Бимба идет сзади, пот ручьем заливает глаза. Он еще так и не научился ходить на лыжах.

...«Тимошка-то на лыжах, как ветер. Наверно, не хуже самого Хабеля, которого уже четвертый день выслеживаем, варнака... Но и на этот раз Хабель опять же обманет нас. Это шаман, наверно, а не простой че-

ловек. Черт, замучил всех, черная болезнь забрала бы его!» — ругается Бимба медленно.

Заметив какое-то изменение в браконьерской чумнице, Тимоха сорвался с места с такой быстротой, что Сватosh с Бимбой сразу же потеряли его из виду.

Вскоре далеко впереди раздался выстрел. Зенон Францевич тревожно оглянулся на товарища.

«Не убили бы Тимошку, как Раева в тот раз», — подумал и Бимба.

Забыв про все на свете, он не отставал от Сватоса. Смело спускался вниз с крутых гор — сам дивился, что не падает, как обычно.

Примерно через час бега, где-то почти сзади, снова раздалась подряд два выстрела.

— Убьют природы парня! — хрипит Зенон Францевич.

— Могут, холеры.

Сватosh зарядил винтовку и свернул с чумницы прямо по направлению выстрела.

Вихрем неслись они под гору на помощь товарищу. У подножья горы, перед рекой, опытный Сватosh, поставив лыжи на ребро, резко затормозил и сбросил скорость. А летевший на той же скорости Бимба тормозить еще не научился и свернуть-то в сторону не успел. Как неся по следу товарища, так и пролетел. В следующий миг он оказался на горбушке Сватоса и оба, свившись в один ком, закувыркались под гору.

Когда немного очухались, то услышали заливистый хохот Тимохи Короля. Пригляделись. Внизу, у кромки густого ельника, стоит их товарищ с винтовкой в руке, а рядом с ним браконьер.

Сватосу стало стыдно, что не мог увильнуть от наседавшего Бимбы, он мысленно отругал себя, а тому буркнул:

— Тебя, варнака, сторожем поставлю.

— Хабеля! Хабеля ловили! Не сердись, Зенфран! — кричал Бимба.

— Но, как?! Интересно девки пляшут?! А!

— Спасибо, Тимофей.

— Из «спасибо» шубу не сошьешь! — подмигнул Тимоха Бимбе.

Бимба первый подошел к браконьеру. Удивленно уставился на знаменитого на все Подлеморье лыжника Петрована Хабеля.

Из-под насупленных бровей смотрят маленькие ко-

лючие глаза. Он небольшого роста, плотный, широкий в плечах. Во всем облике браконьера чувствовалась кошачья ловкость, смелость.

Подошел Сватosh, сердито сверкнул глазами.

— Все же бесстыжий ты, Петруха, зачем в парня палил? Вот так и Дмитрия Раева застрелили, сволочи.

Браконьер вскочил на ноги и, брызгая слюной, запальчиво заговорил:

— А ты, Зенон Францыч, видел, кто палил? А? Тимошка, гаденыш, одну пулю так пустил, што ухо мие чуть не отяшил! Ты думаешь, Хабель хищник, дык и рука у него подымется на человека? Не-е, не таковский я мужик.

В устье Больших Черемшан небольшое зимовье нагнулось вперед над крутым берегом моря, будто готово спрыгнуть в бурлящие волны. Байкал словно летом — ни льдинки. Сквозь густой туман не видать кромки льда. Может, на километр отнесло льды, может, на десять.

Люди опешили.

— Ого, братцы! Интересно девки пляшут! Кучеряво мы живем! — присвистнул Тимоха. — Теперь жди, когда замерзнет.

— Берегом уйдем.

У Тимохи Короля сегодня радостный день — наконец он изловил знаменитого браконьера. Никто не мог Хабеля догнать на лыжах, а он, Тимошка, настиг. Правда, Тимоха два раза пальнул в браконьера, чтоб пуля прожужжала возле ушей. Радость бурлила в парне.

— Дя Хабель, отбраконьерил, а? Влопался ты! Снова наковытишься в заповедник — поймаю и уши отъем! — окинув бушевавшее море, запустил руку в волосы, удивленно продолжал: — Ведь давно ли по льду мы шагали. Больше аршина толщиной был лед, а тут на тебе — разломало и унесло. Не верится! Ведь рождество давно минуло, цыган уж шубенку свою продал.

— Мужики, мясо сварилось, ешьте! — пригласил Бимба.

Хабель отказался. Не до еды. Все обдумывал, как улизнуть от стражников. Сколько раз он уходил из рук: даже самого Зенона Сватоса на Малютке-Марикан так обманул, что все Подлеморье смеялось.

«Этих-то ушканов в любой момент обставлю и удеру,

а вот от Тимошки дикого трудно на убег кидаться — допрет гаденыш. Весь в Короля, такой же настырный. Э-эх, Филантий, Филантий! Сколько мы с тобой дружили, а теперь «горшок лопнул». Сам не идешь соболя хитить в Подлеморье, да еще своего щенка науськал идти к Сватошу в стражники. Ну, погоди уж! Хабель еще докажет, что он хитрее любой лисы. Докажу язвило!»

Хабель неохотно поужинал, разулся и незаметно натер свою ногу каким-то порошком из трав. Через четверть часа в том месте на ноге появилась краснота. Хабель застал, заохал.

— Ты что, дя Петрован?— встревожился Тимоха.

На чумазом лице браконьера гримаса боли.

— Утром, когда удирал от тебя, стукнулся об колоду.

— А ведь шел-то нормально. Ты не прикидывайся. Больше не обманешь,— сердито сказал Сватош.

— Сгоряча было дело. Чо я, баба, што ль, охать! А обмануть тебя, Зенон Францыч, можно было когда-то, а не чичас.

— Верно, дя Петрован, конец тебе. Зубы живо отобьем.

— Зря, Тимоха, не отбивай. Время скажет.

Сватош посмотрел на часы.

— Спать пора. Ты, Бимба, будешь дежурить.

Бурят подбросил в очаг дров, улыбнулся.

— Значит, я Хабеля караулю. Это хорошо. Думал, не доверит Зенфран.

— Ночью подменим.

— Не-не, Хабельку отпустишь. Спите. Я за ногу держать буду.

Тимоха расхохотался и завалился на нары.

Хабель стонал и растирал «больную» ногу.

Бимба сел у двери. Гладил ствол винтовки. Курил. Не обороть его сну.

Море снова покрылось льдом, но по нему не уйдешь — провалишься. Низкие тучи плотно прижали тайгу. Сыпал мелкий снег. За ночь в ладонь толщиной выпало.

У Хабеля раскраснелась, опухла нога. Он громко стонал. Проклинал заповедник, директора, стражников и свою судьбу.

Сватош помрачнел. Задумался. Потом решительно вышел из зимовья, за ним последовали стражники.

— Знаешь, Тима, придется тебе сбегать в Кудалды за конем.

— Ладно. Только Хабеля не отпустите,— сказал и скрылся в снежной мути.

Через некоторое время Хабель перестал стонать.

— Полегчало, Петруха?— спросил Бимба.

— Аха, паря, отпустило. Я мочой обливал тряпку и прикладывал. Оно, вишь, помогло.

— Слава бурхану.

Бимба лег и захрапел. Всю ночь дежурил — не спускал глаз с браконьера. Его подменил Сватош. Молчал, даже не смотрел на задержанного.

Хабель присел к столу и с аппетитом съел уху.

«Сегодня Тимошка только-только дойдет до Кудалдов. Снег-то рыхлый, да и подваливает, за ночь еще прибавит. Завтра утром нога моя совсем «заживет». Пойду я с этими и в дороге придумаю что-нибудь», — решил браконьер.

Прошел ненастный день. И ночью не прояснило — валил густой снег. Утром Хабель обулся и под стражей Бимбы сходил на двор. Он едва прихрамывал. И вслух жалел, что Тимоха напрасно поторопился в Кудалды за конем.

— Можешь шагать? Пойдем,— предложил Сватош.

— Могу. Нога маленько отошла. Чево коня-то мучить.

Бимба слушал мужиков, а сам обдумывал свое. «Если идти, зажав в середке Хабеля, вдруг где упадешь — он прыг в сторону, и был таков! Нет, надо привязать бечевку за его кушак и вести, как собаку на поводке. Я пойду впереди, вторым пойдет Хабелька, сзади Сватош с поводком».

— Зенфран, вязать надо Хабельку. Ему верить худо. Обман, обман, всегда обман делает он.

— Я так же думаю. А то улизнет варначина от нас. Мы-то с тобой не угонимся за ним. Стрелять нельзя.

Снег валил и валил. За двое суток нападало сантиметров сорок. Бредут медленно. Лыжи переднего провалились почти до колен. Снег, что твой пух.

Бимба едва передвигал ноги. За ним, уже по проторенной лыжне, легко шагал Хабель. За браконьером, держа его на поводке, двигался Сватош.

Километр мял снег Бимба и, обессилев, плюхнулся в снежную мяготь, которая словно перина приняла уставшее тело.

После перекура впереди брел Сватош, замыкал группу Бимба. Браконьер оберегал силы, шел и ухмылялся в усы, а сам все время обдумывал, как сбежать. «Если бы не веревка, я рванул — был да нету, а тут, как собачонка на поводке. Как убежишь? Вот ведь тварина, догадался до чего. Сам-то Сватош такую хитрость не придумал бы. Пока придется охать да стонать. Чего доброго, еще пустят передом мять снег. Нет, пусть они байкаются».

— Эй, Петруха, хошь немножко бы помял снег.

Браконьер еще пуще застонал, заохал.

— Ужо разуюсь, узришь, чо творится с ногой.

— Ладно, ладно. Что мы не люди, звери, што ль.

Снова впереди мнет снег Бимба. Сила есть в мужике, а все же не сохатый. Матерого сохача и то собаки изматывают вконец, подходи охотник и режь ему горло.

На этот раз Бимба сумел пробиться метров четыреста и сдал.

— Эх, бурят, бурят — вокруг юрты дурят, мясо жарено едят! Лучше бы пас баран у себя в улусе. Там снегу-то почти не бывает. За зиму до оборок выпадет, — говорил Хабель, а сам нет-нет да охнет.

Бимба неприязненно взглянул на него.

— Скоро браконьер не будет ходить к нам. Ловить всех будем.

— Если дикому Тимошке голову не оторвут, то баить нечего — нашему брату туго стало. Но его заловят в ловушку. Шибко рискует варначина.

— Не заловят! Хватит! — сердито выпалил Сватош.

К вечеру стражники совсем ослабли; браконьер продолжал стонать и охать, а сам в душе смеялся над ними. «Пора удирать, а как? Еще немного протопаем, там Громотуха, там есть убойное местечко; вырвусь — и вниз, а эти ушканы испугаются», — решил Хабель.

Впереди едва тащил ноги Сватош. Наконец кое-как одолели крутой мыс. Ветер свистел, надрывно выл в дырах источенного сухого дерева. Измученные люди сидели, низко опустив головы, молча курили.

— Ты отвяжи-ка свою веревку, куды я с больной ногой-то денусь, — просил Хабель. — Эй, ты, Зенон Францыч, чо мне в штаны класть, што ли?

— Так бы и сказал, што «до ветру».

Сватош отвязал веревку.

— Валяй, — буркнул он.

Хабель рванулся. Отскочил к обрыву, и был таков! Только донеслось:

— Зенон, подбери «кучу»!

Подскочили. Заглянули вниз. А там — черная щетина деревьев, куда почти отвесно падала гора.

Сватош нагнулся, шагнул, но тут же сильная рука Бимбы отдернула его назад, он свалился.

Бимба помог подняться. Кивнул вниз.

— Ты сдурел, Зенфран! Башку ломаешь?

Сватош сморщился, сразу же сник. Он понял, что здесь мог скатиться лишь Хабель. Любой другой разбился бы; в лучшем случае, поломал бы руки, ноги.

Зло сплюнул, сорвал с головы шапку и хлопнул об снег.

— Ты, Зенфран, пошто отпустил?

— За уши держать, што ли?! Таку его мать!

Бимба удивленно уставился на директора — впервые матюгнулся тот.

Редкие волосы Сватоша трепало ветром. Рысья шапка лежала на краю обрыва.

Бимба осторожно достал ее ангурой и напялил на товарища, а Зенон Францевич жаловался кому-то:

— Ведь старался... Ведь как теленка вел... Куда, думаю, а он обманул... удрал. Совесь-то где у него? Жалели, как человека. Своими глазами видел, как опухла нога. А то... Вот ведь сволочь, дьявол!

Бимба сердито смотрел на своего директора. Смолк Сватош. Отвернулся. Слезы в глазах то ли от обиды, то ли от ветра. Ураган ревел обраненным медведем. Валились деревья. Стон стоял в тайге. Сватош не замечал ни буйного ветра, ни холода.

Глава седьмая

Магдаулев днем рыбачил в неводной бригаде Макара Грабежова, а вечером учил взрослых.

Вчера бригадир осмотрел тонь и не спеша замерил ее. Утром задолбились, пронорили и быстро запустили невод. Он спокойно шел к приборной иордани. Макар зорко наблюдал за ходом притонения, покрикивал на рыбаков — отдавал команду, чтоб одни не слишком прытко гнали свое крыло, другие — не «трясли штанами».

И вдруг невод остановился.

— Тьфу, язва!.. Проклятье!.. На задев напоролись!— матюгаясь, крикнул помощник бригадира Борис Курбетев.

— Вижу,— выдохнул Макар. Сбил с лохматых бровей куржак.— Здесь дно моря чистое... Тут, паря, другая беда. Можем без невода остаться, а тут «ангара» вроде напирает..

Действительно, тихий вначале ветерок начал разгуливаться.

В центре круга Курбетев выдолбил обширную лунку и заглянул в нее. Совсем рядом, огромным белым столбом глубоко вниз ушла льдина. Заглянул в сторонку — там вторая торосина острым тайменным зубом вонзилась в прозрачную мягкость воды. Поодаль еще белели кривые клыки, зубцы различных форм.

— Ой-ей-ей, дя Макар, иди-ко, иди-ко!— скликал Курбетев бригадира.

Грабежов мотнул головой и на ходу буркнул:

— За невод Самойлов в тюрьму меня. Вредительство припишет. Вот куру мать!

Почти добрая половина огромного морского невода запуталась на предательских подводных торосах. Кончился короткий зимний день. Люди в крошечной темноте трудились до изнеможения. Руки от тяжелых стальных пешен больно ныли и слабо держали ратовица. Многие потопили свои пешни. А «ангара», как назло, со свистом и зловещим воем все сильнее и сильнее обжигала рыбаков. Околевшие на ледящем ветру лошади ржали и бились на привязи. Рыбаки обступили Макара. Синенький вплотную придвинулся к бригадиру, хрипло заговорил:

— Мы што... скоты?.. Твари безответные?!

Грабежов закричал:

— Невод бросить?! А он примерзнет ко льду, тогда как, а?! Таку, растаку, перетаку вашу мать!

— Не реви! Люди пусть гинут!.. Так?!— надсадно кричал, осияя порывы ветра, Синенький.

Медвежья лапища бригадира поднялась над Синеньким, но каким-то невероятным усилием Макар сдержал себя.

— И-ых! Р-разорва сукина!— со стоном, гневно рявкнул он и оттолкнул от себя Синенького. Парень распластался на льду. В следующий миг вскочил, нахлобучил шапчонку.

— Ч-чево руки распускаешь на колхозника! Я тебе не Ефрема Мельникова батрак! Ужо я!.. Айда, мужики, по домам!

Синенький пошел в поселок. За ним двинулись человек десять. Ганька догнал уходящих.

— Комсомольцы, назад!— пересиливая ветер, крикнул он.

Четверо парней вернулись и молча взяли пешни.

На льду осталось семь человек.

«Ангара», будто поберегала свои силы днем, а теперь, когда уставшие, продрогшие люди, едва стояли на ногах, она налетела со свистом, с тонким воем, будто старалась свалить с ног.

Ганька долбил с каким-то остервенением. Макар едва успевал оттаскивать лед. Беспреданно кашлял, материл всех святых и угодников.

Рыбаки, расставленные бригадиром большим полукругом, выдолбили длинную канаву в метровом льду, она должна была скоро сомкнуться. Вода в канаве жирно лоснилась и казалась черной смолой.

Неожиданно над горами всплыл золотистый шар луны и осветил ледяное поле моря и выдолбленную рыбаками огромную полукруглую иордань. Макар с Курбетьевым стали давить длинными шестами-давками верхнюю тетеву невода вниз, а Ганька с парнями из всех сил потянули невод. Тянут, падают, поднимаются, еще сильнее налегают. Ичиги у рыбаков давно уже промокли, обледенели, стали скользкими.

Вдруг Магдаулев заметил со стороны поселка большое черное пятно. Оно быстро увеличивалось. Через несколько минут подъехал Гордей Страшных со своим сетевым звеном. Первым подбежал Петька. Встал рядом с Магдаулевым.

— Напоролись?

— Аха.

Прибывшие молча взялись помогать неводчикам.

— Р-разом! Р-раз-два! Иш-шо взяли!— командовал Магдаулев. Парни в такт команды налегали из всей мочи.

Петька молчал, скрежетал зубами, порой матерился и из всех сил тянул тетиву. Невод подчинился. Видать, Петькина силища взяла: затрещало полотно.

— Ребята, жмите!— закричал Грабежов.— Не дай бог, если приморозим невод!

— Р-ра-зом! Р-р-раз-два!— Ганька еще сильнее навалился. Жесткая, просмоленная веревка больно врезалась в плечо. Подо льдом снова что-то затрещало. Невод вдруг подался вперед, и он, не удержавшись на ногах, плашмя ударился об лед. Из глаз посыпались искры, загудело в голове. С трудом поднялся.

— Эй, Ганьча, ишо раз принажмем-ко!— подбодрил Магдаулева бригадир. Этот густой хрипловатый, знакомый с самого детства, голос Макара словно подстегнул парня.

— А ну-ка, братва, нажмем дружней!.. Р-раз-два!

За Ганькиной спиной слышалось прерывистое дыхание, скрежет зубов, стон. Люди отдавали последние свои силы.

— Рр-разом!— рывкнул Петька.

Подо льдом послышался глухой треск. Это рвалось полотно невода. Треск усилился. В следующий миг невод тронулся.

— Жми, парни!— взревел Макар.

Теперь невод шел легко, свободно. Вскоре на льду оказалась черная, разорванная мотня.

— Все!.. Куру мать!.. Спасли невод!..— громко, молододокричал Грабежов. Обошел вокруг невода.— Мотню за два дня починят бабы,— добавил сухо. Отошел в сторону и, как будто подрубленный старый кедр, бухнулся на лед.

Ганька поднял обломок доски от рыбного короба.

— Дя Макар, садись на эту доску, простынешь.

Старик молчал. Прерывисто дышал и не сводил глаз с черной кучи спасенного невода.

— Вишь, Ганя, дело-то худым пахло... Невод оставили бы на ночь — пропащее дело, примерз бы, потом не выручишь...

— Да-а, страшно.

— Спасибо, Гордей, без тебя пропал бы я,— выдал Макар.

— Но, но! Будя!

«Ангара», как и обычно налетев по-дурному, так же неожиданно стихла. Все вокруг присмирело. С луны слетела позолота, серебряным диском она освещала издолбленную, исковерканную на большой площади тонь, походившую сейчас на изрытое оспой бледное лицо.

Грабежов тяжело поднялся, сильно прихрамывая,

обошел вокруг приборной иордани и заковылял к саням, у которых стояли Ганька с Петькой.

Макар закурил. Долго вглядывался в Ганькино лицо. Потом придавил тяжелой рукой его плечо.

— А парни-то, Ганьча, послушались тебя.

— Я б им дал дело! Ведь комсомольцы — с их спросить можно, — ответил Магдаулев.

Старик затряс обледеневшей бородой.

— Комсомолия!.. Хы! А я думал, так себе гуртятся для баловства. Ан, кажись, не для дури-бури все это! Мотри-ко, дисциплину блюдут почти солдатскую!

Рысью подъехал Самойлов и соскочил с кошевки.

— Но, бригадир, угробил невод?

— Спросил бы, как стоишь на ногах Макар Федосевич, — густо пробасил Гордей. — Э-эх, Семен, Семен.

Макар с помощью сына надел доху и свалился в сани.

Утром Синенький лежал в постели и мечтал, как женится на Ульяне Медведевой. «Будем сидеть рядом с ней за столом и вести разговоры о хозяйстве», — думал он, загадочно улыбаясь.

Хлопнула дверь, вошел Монка Харламов. Поздоровался. Мать Синенького, тугая на ухо старушка, бормотала:

— Я и то говорю... А?.. Вот, вот! Оне таки...

Монка подсел к Синенькому.

— Чо, Макар руки распускает? А ты проучи его. Притворишь, что голову не можешь поднять, и лежи в постели. Зайдет Самойлов — стони, плачь. Подговори Ваньку Болтунку и других, пусть не идут с Макаром на тонь. Самойлов сам знаешь какой? Соберет собранье и пропесочит Грабежова. После этого Макар станет шелковым. Понял меня? А пока, вот выпьем, — Монка показал горлышко бутылки.

Синенький расплылся в улыбке.

— Ох и дошлый! Я б и не догадался! Так и сделаю, дядя Монуил, спасибо за науку. Мать, тщи жратву.

Неделя прошла, как расшили невод и по отдельным «столбам» затащили в сетевязалку. А на мотню невода все же пришлось составить акт и выбросить из-за совершенной непригодности.

Макар Грабежов ходил понурый; прятал в лохматых бровях темные глаза, сурово молчал; лишь мычал, как бык, в ответ на редкие вопросы.

Старый Филимон, Хиония, Ульяна да Вера возились с неводом от темна до темна. Даже вечерами, при тусклом свете керосинки засиживались они за работой. В умелых руках мелькали молниями деревянные иглы. Огромные дыры «выщипывали» маленькими ножичками, а затем, привязав мотауз к верхней пяте дыры, зашивали рванину. Казалось, этим дырам нет конца краю. А Филимон сшил полотно к тетиве. Наконец одолели чертовое рваньё. Быстро «сшили» столб к столбу. Посредине мотню новую вставили. Вот и невод готов!..

Неделя рыбалки пропала. План рыбодобычи колхозом и так не выполнялся, да еще эта беда. Самойлов был не в себе. Вызвал в контору бригадира и напал на него.

— Ты, Макар, вредительством занялся — сорвал план рыбодобычи! Свинопас, а не башлык ты!

— Чего, «березник-то»¹ распазил?! Первый раз, што ль, невод подо льдом зацепляется? Таку ево куру мать!

— Ишь ты! Оправданье нашел! Выгоню из колхоза!

— Испугал чем! Хы... бабник несчастный!

— Чево, чево?!

— Вот тебе и чаво, чаво! С Улькой-то на сеновале не ты елозился?! Чуть не запнулся я...

Самойлов не дал договорить Макару, стукнул кулаком об стол и выскочил из конторы.

Грабежов, словно пьяный, завалил в сетевязалку. Сел на неводную дель, сморщился от боли, терзавшей его душу. Впервые он услышал, позорящее старого рыбака, слово «свинопас».

А сетевязальщицы с Филимоном были в хорошем настроении. Ведь одолели такую большую работу. Никто и не думал, что за несколько дней они справятся с неводом. Даже сам Макар говорил: «На три недели хватит им». Но это уже не радовало Макара, после разговора с Самойловым он угрюмо молчал.

— На все божье повеленье, Макар. Уповай на милость его. Молись, раб непокорный,— бубнил Филимон, стараясь утешить его.

¹ Березник — зубы.

— Отвяжись, поповский обгрызок! — рывкнул и утонул Грабежов.

Филимон мотал лохматой сивой головой.

— Отче наш, помилуй!

— Чего это он еще злится-то? — удивилась Хиония.

— А ну его, давайте, бабоньки, споем! — предложила Ульяна и затянула высоким приятным голосом:

Рыбаки вы, хлопцы-ы-ы,
Удалы мо-ло-одцы-ы.
Вы закиньте се-ети
Через быстры ре-еки-и-и.

* * *

Монка Харламов затолкал своих стариков в колхоз, а сам рыбачил единолично. Самойлов будто не видел его. Однажды после заседания аймисполкома зампред Голубев позвал Семена в свой кабинет. Разговор завел о колхозных делах, о школе и между прочим попросил Самойлова, чтоб тот не трогал Харламова.

После этого Семен сквозь пальцы смотрел на Монку. Зачем, дескать, ему портить отношения с начальством. Тем более он знал заслуги Голубева, который здорово потрепал банду Дуганова, был ранен. Он даже был горд просьбой зампреда аймисполкома. «Вот начальник, а меня просит», — думал он про себя.

На следующий день, вечером зашел к Самойлову Харламов. Разговорились.

— ...Беднягу Синенького здорово ухойдакал Макар; парень лежит в постели. Ведь оторвал гад от работы человека, а руки-то лишние ой как нужны, — медовым голосом запел Монка председателю. — За это, вообще-то, судить не грех.

— Угу, — сердито согласился Семен.

— А ведь сколь трудового крестьянства Макар лупцевал кулачищем своим, когда был башлыком у мироеда Мельникова. Сам, поди, получал зуботычины. Ты же, Семен Иваныч, батрачил у мироеда...

— Угу. Было такое. На неводу бегом бегали. Плакали.

— То-то и оно.

Харламов наклонился к Самойлову и шепотом заговорил:

— Макар-то заходил ко мне, просил дать адрес Го-

лубева. Говорит, пойду к Ганьке, пусть жалобу накатает на председателя. Все его грехи знаю. Женатик, а с Ульяной Медведевой на сеновале...

Самойлов испуганно вздернулся, но его благоверная Настя месила на кухне квашню и, конечно, не слышала Монкин шепот.

— ...Кажись, Магдаулев уже настрочил ему ту жалобу. Говорит, теперь капут Сеньке, из партии выметут, как антипартийного алимента. Разложился.

Вся напускная суровость слетела с Самойлова, как пух с одуванчика. Он силился улыбнуться. Заегозил.

— Настя, нам бы чайку с Евлампичем.

— Чичас, мужики.

— А если б к чаю чего погорячее, — еще слащавее попросил Семен жену.

— Тоже найдем.

Долго они сидели за бутылкой.

Время уже позднее. Семен Самойлов вышел проводить гостя. У ворот остановились.

— Ты уж, Евлампич, поговори с Лександром Никодимычем. Скажи, Грабежов занялся вредительством в колхозе. Ясно ведь дело — невод угробил в самую ответственную путину.

— А ты, Семен Иванович, составь акт. Укажи, што Грабежов сорвал план рыбодобычи колхоза. Наперед знал он, што там торосы, а невод запустил, чтоб вывести его из строя. Укажи, што это явная вылазка классового врага. Искалечил активного колхозника Синенького. Чего еще добавишь там, сам знаешь... Башка у тебя умная.

— Я Макара выгоню из колхоза.

— А это чичас запросто. Не упускайте момента. А то он тебя съест из-за красотки Ульки. Ведь баба-то вкусная, а? Ха-ха-ха! Я знаю ее — в девках ей сотворил, ха-ха-ха!

* * *

На расширенном заседании правления колхоза «Красный таежник» обсуждался вопрос о бригадире Макаре Грабежове.

Самойлов обрисовал все дело с разорванным неводом как сознательную диверсию врага колхозного строя. Бригадир сорвал выполнение государственного плана.

Грабежов медленно поднялся. Исподлобья сверкнул красными белками глаз. Гулко трахнул себя в грудь.

Громадный, сутулый, он смахивал на вздыбившегося медведя: затряс клочковатой бородищей, взревел:

— Разорвал! Ублюдок! Р-распазил поганый бер-рез-ник! Р-растаку! Р-разэдаку!.. — рычал он на Самойлова, а сказать в гневе ничего путного так и не смог.

Кто-то из колхозников осадил его.

— Ты, крапивное семя, сядь и молчи, а то упрячут тебя за кулюганство.

— За что?! Да ну вас к дьяволу! Лучше издохну, чем перед вами на коленях ползать! — Грабежов с грохотом выскочил на улицу.

Люди понуро молчали.

Магдаулев попросил слово.

— Как не стыдно, Семен Иванович, так говорить-то. Все мы были на притонении, и никто не думал, что под гладкой поверхностью льда окажутся матерые подсовники... Как ни стыдно... Говоришь, что план сорвал Грабежов! Неправда! Ты в этом сам виноват. И мы, члены правления, тоже виноваты. Ты, как руководитель, не доверяешь нам, молодым. Сам суди: у нас только одна сетевая бригада дяди Гордея, а надо было организовать хотя бы три—четыре сетевых звеньев и план рыбодобычи мы бы давно выполнили. Разве мы не можем самостоятельно ставить сети в море? Мы бы сами выбрали себе парней и пошли соревноваться, кто больше подымет омуля. А ты вредительство нашел... Кто-то, дескать, виноват, а не я...

Вскочил Анкоуль, заговорил на эвенкийском:

— Ты, сын Волчонка, молчи! Макарка худой мужик. Кричит на нас. Злой. Того и смотри, как бы не ударил да не убил кого. — Потом перешел на русский. — Ты, Семен, однако, правильно ругать Макарку. Виновата — молчи, а она ар-р-р! Ар-р-р! Как собака зла.

Все заулыбались. Анкоуль снял какую-то натянутость. И каждый подумал: «И на самом деле, чего Грабежов рычит на всех? Невод порвал, ну и помалкивай. А то, как зверюга рычит...»

Самойлов сердитый, взъерошенный, с обидой в голосе предложил:

— Кто за то, чтоб исключить из колхоза Макара Грабежова?

Большинство подняли руки.

— Кто против?

— Я против!.. Лучшего мастера, лучшего бригадира

неводной бригады прогнали... А не подумали, — Магдаулев махнул рукой и сел на скамью.

Зашептались парни, что невод спасали, но не выступили — страшно говорить на собрании-то. Гордея не было, застудился в ту ночь, приболел. Так никто и не поддерживал Магдаулева.

После заседания Магдаулев выждал, пока не разошлись все колхозники. Самойлов рылся в каких-то бумагах, прятал глаза.

— Дядя Семен, ведь нехорошо получилось. Как-то надо бы это поправить. Характер у Макара, но...

— Все! Якорь на этом деле!

— И когда ты, Семен, стал таким злым? — спросил он в упор, заглядывая в глаза Самойлова.

* * *

Над Таськимо висел серебряный диск луны. Большая серая лайка Макара Грабежова, задрав тонкую точеную морду, нудно выла. Кристинья молилась:

— Матушка, царица небесная! Сохрани и помилуй...

Макар мотал пьяной головой; бородищей сметал со стола хлебные крошки.

— Ублюдок старой суки!.. Самойлов... прогнал меня с невода. А те ироды... р-разорвы! Р-разиху мать! — рычал старый башлык.

После того как Макара Грабежова исключили из колхоза, Семен Самойлов назначил бригадиром неводной бригады бывшего партизана, своего сослуживца Гришку Коновалова, а Курбетьева — помощником. Дисциплина в бригаде сразу рухнула. Уж на что робок да послушен Ванька Болтунок, а и тот такого бригадира знать не желал. А про Проньку Синенького, который не побоялся поцапаться с грозным Макаром, говорить не приходилось — совсем задрал нос.

Однажды выехал Коновалов на тонь с неполной бригадой. Остальные рыбаки нашли причины и остались дома.

Пока долбили да тянули невод — завечерело. Уже и «уши» невода показались, но тут случилось неожиданное — невод заартачился и не шел ни взад, ни вперед.

Час провозились с неводом — толку нет. Стемнело. А мороз к ночи жмет, жуткое дело. Синенький первым потопал домой. За ним Болтунок и остальные. Бригадир

в бессильной злобе всплакнул и тоже подался. За ночь невод примерз ко льду. Пропал — пришлось списать.

Тут-то колхозники вспомнили Макара. Хвалили. А Самойлов угрюмо молчал. Он понял, что из Конова-лова бригадира не получится. Гордей Страшных на невод не пошел. Нету здоровья у старика. Хорошо, что сетевым звеном не отказался командовать.

Заметался в отчаянии председатель — ведь колхоз-то остался без опытного бригадира. Вот тогда-то и понял Семен Самойлов, что допустил большую ошибку, исключив из колхоза Макара Грабежова. Послал за старым бригадиром человека. Макар отпотчевал посланца ма-тами. Самойлов зло натянул на глаза папаху и сам пошел.

Макар встретил его хмельной, взъерошенный. Огромная борода до пояса. Исподлобья уставил маленькие медвежьи глаза. Не моргнет, не усмехнется, а колет Самойлова будто двумя шильями враз.

— Чего надо?

— Пришел звать, дя Макар. Прймай бригаду.

— А на хрена тебе нужен вредитель?

— Не сердись, Макар Федосеич. Винюсь перед тобой. Поработай, подучи бригадирить кого-нибудь из молодежи.

— Семка, сам кумекаешь, я напрямик и баю то, что на душе. Вы, коммунисты, жалеючи эту шарагу, расплодили лодырей. Ладно, пусть буду я бригадир. По старой башлыцкой привычке возьму да трахну кого за лень? Ведь лапы-то мои.— Макар сунул в сторону Самойлова черный, волосатый кулачище.— Тогдысь судить кинетесь и тюрьма мне. Ведь в тот-то раз из колхоза выгнали меня за то, что я Синенького только толкнул... Всяко обругали.

— Ошиблись мы,— Самойлов больше ничего не мог сказать.

«А ведь старик прав»,— подумал он. Навалилась досада на себя. Закипело сердце. Стал злиться. Вот-вот вспыхнет.

— Нет! Отваливай! Я чужак. Не прилажусь я к колхозу. Да и не верю я, это — шайка лодырей. При такой работе-то все разлетится в пух и прах, сломается колхоз... Был и нету...

Самойлов бледный, дрожащий, сверкая гневными искрами глаз, подступил к Грабежову.

— Што?! Што?! Кто?! Колхоз разлетится?! Сволочь, контра! Завтра же выбирай свои сети. Если еще оставишь, то послезавтра мы поедем, выдернем их, составим акт и изрубим на твоих глазах. Понял? — Самойлов повернулся к двери, взялся за скобу, резко выкрикнул: — А после этого в ссылку закатаем тебя! Вот што, контра!..

Медвежьи глаза Макара наливались и наливались кровью. К концу недельного беспробудного запоя они стали похожи на багряную луну во время страшного таежного пожара, когда синь неба черным-черна, словно сажей запачкана чьей-то безжалостной рукой.

Макар Грабежов ревел, рычал в своей избушке как зверь в берлоге. Его Кристинья сидела в глубоком подполье у Веры, дрожала вся, как только заслышит тяжелые мужские шаги.

Семен Самойлов — порох. Вспыхнет. Загорится. Загрохочет. Зашумит. Через несколько минут затихнет, попросит кисет. «Давай, паря, перекурим да с другого конца попробуем долбить, глядишь, и иордань выдолбим». Рыбаки знали характер Семена, спокойно дожидались конца его «пороха», готовили кисет — «сейчас начнем долбить иордань», — в душе усмехались они.

Самойлов уже давно забыл про ту неприятную встречу с Макаром, про ругань и угрозы. Всю неделю сам рыбачил с Борисом Курбетьевым. Последний день Борис сам замерил топь. Задолбились. Запустили невод. Густо попало рыбы. Повеселели все. Девки песню затянули.

Самойлов, наблюдавший со стороны за ходом притонения, подошел к Курбетьеву.

— Так, Боря! Вожжи держи крепко! Дуй!

Больше ничего не сказал. Сел в кошевку и умчался в Таськимо.

А в это время, пока Семен Самойлов и Макар Грабежов ругались, доказывая каждый свою правоту, Монка Харламов молил бога, чтоб они перегрызли друг дружке глотки, чтоб в колхозе сплошные драки начались.

Кристинья Грабежова испуганно шептала соседке, что Самойлов хочет изрубить сети Макара. В тот же

день об этом узнал Харламов и расцвел от радости. Прежде чем ехать в море к сетям, сходил в магазин, прислушался к разговорам, купил бутылку водки. Положил в сани побольше сена, прихватил овса и отвалил. В тот день он не спешил. Уже вечерело. Все рыбаки уехали домой. А Монка не поехал. Накормил коня. Выпил водку, закусил.

На закате подул север, пошел густой снег. Он не стал садиться в сани, взял коня под уздцы и повел к соседней ставежке. Это были сети Макара Грабежова.

На море тьма — глаз выколи. Ветер со свистом несет густой снег. Кто же в такое время кинется искать свои сети. На погибель ехать? А Монка не боится этого бурана, он надеется на своего коня. Его Карек приучен к ночным поездкам. Крикнет Монка слово «домой», и коняга безошибочно вывезет воз с рыбой на берег.

Монка раздолбил лунки. Они сильно промерзли. Макар-то запил с обиды и уже который день не ходил в море к своим сетям.

Даже в такую темень было видно, как густо попало рыбы — омуль около омуля. Монка аккуратно сложил в куль рыбу. А сети растянул и начал рубить их острым топором. «Дядя Макар, это не я рублю, а Самойлов. Ведь он обещал», — Монка расхохотался. Воз с рыбой притянул веревкой, крепко, по-мужицки. Докурил. Окурочек положил в карман. У Монки во всем аккуратность.

— Карек, домой! — крикнул Монка. Запахнул полы длинной собачьей дохи и упал на сани.

Умная лошадь шла куда следует. Монка не думал, не беспокоился, что они заблудятся. Уже недалеко от берега Монка остановил коня. Подтянул супонь, чересседельник, еще закурил, постоял на месте. А ветер все сильнее и сильнее. Прошло минут десять, конь ждал приказа. Харламов прошел по своим следам — никаких признаков: ни конских копыт, ни бороздки от полозьев. Все замело ветром — сплошная снежная равнина. Радостный Монка весело захохотал.

Длинная собачья доха, что твоя баня. Он закутался, лег в кошевку, которую мерно покачивало на мелких торосках.

«Вот так умные люди делают! Слышь, Макар Грабежов? Я целый воз рыбки прибрал да твои сети ухой-дакал и следов не оставил, не прикопаешься. А ты, дурак, завтра заревешь медведем и чего доброго, изру-

бишь колхозные сети. Я тебя знаю, дикаря! Так и будет! За это пойдешь в тюрьму... А твой щенок Петька оторвет Семену голову... И пойдет кутерьма! Сам черт не разберется и конец вашему колхозу. Без Самойлова все разбегутся. Рази тунгус Анкоуль удержит их в руках? Ни в жисть! Ха-ха-ха! А ведь Голубев-то умница! Прав он. Надо кусать исподтишка. Здесь большее получится. И я не бандит, как Куруткан да его помощники. Умная башка у Александра Никодимыча!»

Ганька Магдаулев после ссоры с Самойловым не стал рыбачить в неводной бригаде, а перешел в сетевое звено Гордея Страшных. Всю тяжелую работу Ганька с Петькой делают сами, а бригадирю остается только затаг тянуть. Плох здоровьем Гордей.

Сегодня сетевое звено Гордея Страшных с хорошим промыслом, поэтому рыбаки задержались до самых вечерних сумерек.

Ганька доверился Серку, ослабил вожжи. Легкий попутный ветерок дует ему в спину, не прожигает, как обычно, колючими иголками лицо.

Впереди темный свод неба, его подперли исполинские вершины Баргузинского хребта, а в черной низине заманчиво мигают огни поселка. Там, в маленьком уютном домике, мать с Анкой поджидают своего рыбака. Ганьке сразу стало весело, тепло. Он сбросил тяжелую собачью доху, соскочил с саней и побежал рядом с Серком.

При свете тусклой «летучей мыши» рыбаки сдали на пункт рыбу и разошлись по домам. Ганька заглянул в окно, расплылся в улыбке. Мать стояла перед иконостасом, молилась:

— ...Обереги от гибели рабов твоих: Гавриила, Петра и Гордея... Не дай злому ветру разломать льды и унести их в море, в страшную студень, откуда никто никогда не возвратился... Мать пресвятая, обереги, заступись, отведи от несчастья.

Магдаулев знал наизусть эту нехитрую молитву матери и по движению губ повторил ее.

Анка нагнулась над столом, грызла карандаш, иногда с досады царапала голову, видать, не могла решить задачу.

Петька не задерживаясь прошел в колхозную конюшню, где его поджидал жеребчик Гринька. Тот заржал, потянулся за подачкой. У Петьки в кармане всегда хранился сахар. Парень поднес на ладони кусочек. Жеребчик ловко забрал сахар, захрумкал.

— Э-эх, жиденский ты еще, Гринька.— Петька тяжело вздохнул.— Замордуют тебя.

Не прошло и трех лет с тех пор, как Петька взял к себе погибавшего от голода жеребенка. «Не жилец»,— говорили о Гриньке знающие люди. Петька притащил его домой. Поил коровьим молоком из соски, кормил изо рта жвачкой и отходил малютку.

А когда Гриньке исполнилось два года, правленцы потребовали, чтоб Петька сдал жеребчика в колхоз.

Вот и ходит он в конюшню навестить Гриньку.

За ужином Кристинья жаловалась сыну:

— Отец-то переживает молчком. Обида засла его, што выгнали из колхоза, оторвали от невода. Ведь невод-то он любит пуще сетей. Штоб никто не заметил, как он горюет— на людях голову задирает, грудь вперед, а дома кусает себе руки—досаду срывает. Богу спасибо за тебя, если бы не ты— наложила на себя руки.

На морщинистом почерневшем ее лице одни глаза ясной голубизной посверкивают, ласкают сына.

— Хы, если в колхозе нельзя рыбачить, шел бы в гослов. Дали бы ему сети, коня, а в помощники— молодых рыбаков. Хы, сам бы только мозговал, где больше рыбы добыть... Да где там! Ему прежние башлыцкие порядки нужны. Куницы-благодетели усыкали его как собаку на рыбаков, штоб те от темна до темна булькались в студеной воде задаром. Мордобой ему нужен,— Петька сердито шагал по крохотной хибарке.

Кристинья казалось, что стены и те дрожат от могучей поступи ее сына. Она залюбовалась им; от радости распрямилась согнутая спина, стала выше ростом, помолодела.

— А батя-то куда подался?

Кристинья с тревогой в глазах взглянула на сына, посмотрела кругом, будто кто может подслушать и тревожно сказала:

— Отродясь не видывала его на коленях. А почью увидела: лампаду засветил и с богом баит мой Макар. Свят, свят, свят! Стоит старик перед иконостасом, кла-

няется, винится перед господом Иисусом Христом. Ведь молитвы-то ни одной он не знает. Прислушалась, жуть взяла меня: «Ты, царь небесный, пошто распустил эту гниду свою — людишек-то? Ведь изничтожили, искоренили старые порядки, купчишек разогнали. А теперь добрались и грызут христиан добрых, около которых век кормились кому не лень. До чего дошло: грешного Макарку Грабежова и то обещают прочь гнать с Подлеморья. А ведь я тут родился, вырос, в люди вышел. Сил моих нет, терпеж лопнул. Ты прости меня, батюшко Иисус, если я пойду с острым топором противу супостата мово Сеньки Самойлова, который изрубил мои сети, оставил меня без куска хлеба».

Петька удивленно уставился на мать. Та перекрестилась, зашептала какую-то молитву.

— Самойлов сети изрубил? Да он в уме ли? Рехнулся гад! Вот ублюдок старой суки! Я ему голову оторву за это!..

— О, господи! Царица небесная, отведи от грехов!.. — Кристинья упала на колени, заплакала.

— Не бойся, мать, не стану руки марать об тварину. — Петька усадил Кристиньку на скамейку и топтался около нее заботливым медведем.

Утром Ганька с Петькой зашли к своему бригадиру. Тетка Хиония заслонила собою всю печь и играючи орудовала матерой клюкой.

Парни поздоровались и спросили, где хозяин.

— Ушел к приемщику подсчитать, сколь до плану осталось. Какой-то табель удумали, одне гумаги да писанина, а денег нет. Раньше-то Сенька Самойлов был парень «ухо с мясом», а теперь спортился. Когда лешню раскачается, не знаю, — гудит Хиония.

Парни перемигнулись, спрятали усмешки, уселись.

— В море-то когда поедет? — спросил Петька.

— Седня шибко-то не копытесь на лед.

— Пошто?

— Хы, пошто, пошто? — передразнила хозяйка, — нарощенье нового месяца подошло... «Култучок» продул ночью, а сейчас «ангара». Сами с усами, кумекаете, что в это время лед может ходом в море уйти. Долго ли до греха — унесет вас вместе с вашим хромым башлыком.

Сильно прихрамывая, вошел Гордей. Мотнул головой. Хмурый, растерянный сел на курятник.

— Подсчитать не можете, поди? — Хиония тяжело вздохнула. — Рази мне пойти с клюкой? Нагоню холоду, може, сон слетит с этого приемщика? А Семен, поди, заступается за него?

Гордей махнул рукой, пуще прежнего задымил трубкой.

— Семен тоже медведем наплыл на приемщика, а што толку-то. Недоделанный какой-то. Я посмотрел — на столе бумажка, под столом бумажка; из карманов торчат, — тихо, будто сам с собой, разговаривал Гордей. Вздохнул. — Одним словом, ему бы пешней лед долбить... А ты, Ганьша, сохранил свою писанину? — обратился он к Магдаулеву.

Ганька кивнул и из нагрудного кармана гимнастерки достал аккуратно свернутый лист. Развернул его и подал Гордею.

— Из числа в число, всю сданную рыбу занес!

— Это хорошо... А присмщик-то за целых четыре дня нашу добычу куды-то задевал. Я же на стене зарубки делал, а он не верит.

— Неужели? Да я его! Я из глотки выдавлю! — взъерошился Петька.

— Тише, Петя, разберемся, — успокаивал Ганька друга.

Поковыряв в трубке, Страшных продолжал ворчать:

— ...И Семен-то Самойлов испортился... Какой был человек. А выдвинулся чуть в начальство — пропал. Кричит на меня.

Хиония поставила за печь хлебную лопату, забасила густым низким голосом:

— Э-эх, Гордюха, нам с тобой легче всего осуждать да хаять Сеньку. Я ведь тоже в другой раз не от ума открываю лайку на него. Ведь он закружился. То того нет, то другого. Одне веревки всю кровь испортили мужику. Ведь спуски-то все погнили, рвутся. А неводная дель где? Мот, смола, сети?..

— На то он и председатель. Требуется план, а досмотреть за своим кладовщиком не может. Ядрена мать!

Хиония махнула рукой.

— Тебя не переспоришь.

Глава восьмая

Гордей с Ганькой поехали в море, а Петьку бригадир отправил в лес заготовить и вывезти жердовник на порило, а то старое уже в нескольких местах переломилось, надоело парням каждый раз на морозе сращивать его.

С утра дул легкий «култук», потом стих и наступило непривычное в это время дня затишье. Солнце нарядилось в широченный пышный венец. До боли в глазах сверкало ледяное поле залива, покрытое молодым снежком, выпавшим прошедшей ночью.

Ганька сидел сзади и ерзал на санях. Без Петьки как-то непривычно, скучно: дорога, переметанная снегом, казалось, удлинилась вдвое. С Гордеем не очень-то разговоришься — молчун. Чтоб оживился, надо его чем-то «раскочегарить».

Гордей попыхивал трубкой и понукал Серка, который неохотно трусил в море, где каждый день до мозга костей пробирает его жгучая «ангара».

Наконец Гордей остановил коня у торчащей над приборной иорданью елочки. Тут начиналась первая ставжка омулевых сетей.

Ганька выхватил из саней пешню с сачком и принялся долбить приборную иордань. Эта, длиною в полтора метра, прямоугольной формы дыра во льду, была любимым местом Ганьки во время просмотра сетей. Только потянул за верхнюю тетиву, а в руках отдается легкое подрыгивание — это бьется в сетях рыба. В другой раз, вместе с омулями окажется и матерый сиг. «Какой же он? Поди с целого поросенка!» — мелькнет радостная мысль. И в следующий миг из иордани показывается голубовато-зеленая широкая спина, а когда рыбина повернется своим нежным, розовато-белым брюшком, — Ганьку охватывает неизъяснимое чувство восторга и удивления. «Красив батюшко-Байкал и рыбу нарожал красивую!» — шепчет в радости парень. Какой там мороз может пробрать его! И так по всем сетям. Руки все время или в воде, или выпутывают из полотна рыбу, а то тянут обледеневшую мокрую сеть. Они красные-красные, как лапки у гуся, если бы не были в постоянном движении, то покрылись бы слоем льда. Но Ганька, захваченный восторгом, не чувствует холода,

Подъехали ко второй ставежке. Гордей раздслбил «глухую дыру», подтянул сеть и привязал затыг — тонкую, длиной в сто метров веревку.

У Магдаулева приборная дыра тоже была уже готова.

— Выбирай! — скомандовал Гордей.

Новая удача. Рыбы полно: омуль возле омуля понатыкались в сети. Ганька, не разгибая спины, увлеченно выбирал белорыбицу. И так от ставежки к ставежке. Гордей был доволен добычей, весело кричал и время от времени басовито гудел:

— Ганьча, скоро примерзнешь к иордани. Дай я поработаю, а ты грейся вокруг саней.

— Не примерзну! — кричит Магдаулев. — Вода не сало — высохла и не стало!

— Где вода!.. На руках же лед!..

— Ничево!.. Тебе, дя Гордей, нельзя — ты же бригадир... Тебя беречь надо, — хохочет парень.

Рыбаки, увлекшись работой, не замечали, как все сильнее посвистывала «ангара», как спряталось солнце за низкими косматыми тучами, и вот уже начали падать редкие снежинки.

Вдруг стоявший с наветренной стороны Серко истошно заржал и начал биться в упряжке. Магдаулев, не обращая внимания, продолжал выбирать из сетей рыбу. Скоро собрали всех омулей, упаковали в сани, поехали...

Ганька первым заметил черный предмет на льду. Подъехали. Остолбенело уставились на груды изрубленных сетей. Рыба тоже была изрублена.

Гордей взвыл от досады. Сорвал шапку, хлопнул ею об лед. Хромал и хромал вокруг шапки, будто раздумывал, что с нею сделать. Потом устало, тяжело плюхнулся на лед, уронил седую голову.

Ганька обошел вокруг, рассматривая чьи-то следы. Человек в больших ичигах шел перед ними. Видимо, рано утром. На пятках заплаты. Одна пришта чуть наискосок. А больше — никаких примет. Следы ушли в сторону Крутой Скалы, где теперь рыбачил в одиночестве Макар Грабежов в своей крохотной землянке.

— «Неужели дядя Макар это сотворил? Следы от ичигов по размерам подходят — такие же медвежьи лапищи».

Магдаулев стал раздумывать, глядя на следы.

Человек очень спешил. Шаги широкие, запинаясь об тороски, он ступал без разбора, шел напрямик к следующим ставежкам. Ганька подошел к новой груде из рубленных сетей и рыбы. Здесь уже «пировала» воронья стая.

Неожиданно Ганька услышал истошный крик Гордея. Взглянул — старик машет ему рукой. А Серко ходит на дыбах, вырывается из рук бригадира. Почувяв неладное, Ганька кинулся к Гордею.

— Ганька, ядрена мать! — неистово ревел бригадир.

Тут Ганька понял, что произошло. Лед начал трескаться, появились едва заметные щелочки. Они на глазах расширялись.

— Эгей! Беда-а-а! Удирайте на берег! — кричал Гордей и размахивал пустым кулем, предупреждая других рыбаков. Многие, сообразив, в чем дело, уже мчались галопом в сторону Таськимо.

Ганька вскочил в сани и испуганно заозирался. Огромное ледяное поле залива шевелилось, будто живое существо. А Гордей еще возился, подбирая пешню и сачок, которые впопыхах забыл Ганька.

— Зачем добру пропадать...

Вдруг они заметили невдалеке человека в море.

— Кто-то в торосах, смотри, смотри, — заревел Гордей.

— Однако, это же Макар! Ведь утонет!.. — с ужасом проговорил Ганька, узнав знакомую, могучую фигуру старшего Грабежова.

Они повернули Серка в сторону моря, но конь вздыбился, стал пятиться назад и развернулся к дому. Долго бились с конем, но ничего не смогли поделать. Тем временем человек приблизился к ним и начал метаться из стороны в сторону, но его не пускала широкая щель.

— Ганьча, ты легче меня, бери затыг и беги к нему.

За щелью, шириной метра в четыре, действительно стоял Макар Грабежов и смотрел на Ганькину веревку, которую парень перебросил на его сторону.

— Дя Макар, хватайся! Я буду тянуть, — сказал, а сам устался на следы Макаровых ичиг. На пятках заплат; одна заплата чуть наискосок...

«Это он изрубил наши сети!» — пронеслось в голове.

— Дя Макар! Берись за веревку-то, — закричал Ганька, отгоняя промелькнувшую догадку.

Грабежов как стоял, так и стоит. Глаза расширились. Злые. Огнями полыхают.

— Да ты што? — разозлился Ганька, — ведь утонем оба, шевелись скорее...

Черная зловещая вода в щели становилась шире и грозила бедой.

Наконец Макар хрипло заговорил:

— Зачем Семка Самойлов изрубил мои снасти?! Небось всем колхозом помогали? А?! Ты, тварюга, хочешь, чтоб Грабежов подмогу твою принял? Смотри! — Макар пнул веревку, которая с тяжелым плеском упала в воду.

— Врешь, Самойлов не станет рубить! Да наплевать на сети. Потом разберемся... Бери веревку! Утонешь же!.. Дядя Макар, не гоношися! Хватай веревку!

Грабежов отошел от кромки. Снял шапчонку и трахнул ею в лед. Распалаясь еще больше рассвирепел. Изрыгнув страшное проклятие, разорвал ворот шубы, потом решительно подошел к кромке льда. Щель расширилась настолько, что уж и не перепрыгнуть.

— Вот! Косомолия!.. Так вас надо бы, как и сети, изрубить на куски! У-у, проклятушие! Накажет иродов господь!.. Сгорите в гниене огненной! Проклятушие! А я все равно выйду на берег! Не радуйтесь. Буду рубить, резать, кромсать! — прокричал Макар, круто повернулся и, перепрыгивая через щели, ушел в снежную муть, в ту сторону, откуда доносился грохот, скрежет и непрерывный гул. Там, словно гигантскими жерновами, кромсало лед и уносило в море.

Ганька остолбенел. Опомнился, когда льдина под ним качнулась. Взглянул в Макарову сторону, но увидел только белесую снежную муть, наступающую воду. Он охнул, подбежал к Гордею и упал в сани.

Обезумевший от страха конь неся через торосы прямо в берег. Парень больно тыкался лицом об рыбу. Свежие сиги, которые лежали поверх омулей, почему-то пахли свежими огурцами.

* * *

Сватош писал научную статью:

...Баргузинский соболиный питомник возник весной 1915 года, когда были пойманы живьем два соболя. Это был, пожалуй, самый первый в нашей стране пи-

темник, в котором велись систематические научные наблюдения за зверями...

В кабинет вошла Екатерина Афанасьевна, положила на стол журнал наблюдений. Сватош взглянул на жену и по озабоченному, унылому выражению ее лица понял что-то неладное:

— Что случилось?

Екатерина Афанасьевна пододвинула толстый журнал.

— Керме плохо. Читай,— тяжело вздохнула.

Сватош уткнулся в записи. Они говорили о том, что Керма не выживет, зверек тяжело болен.

— М-да-а. Если Керме станет еще хуже, придется забить ее. Зоологический музей академии просит прислать чучело соболя,— Сватош отвел глаза в окно, стекла которого были сплошь покрыты ледяными сосульками.

— Нет! Не дам! Не дам забивать. Может, выживет. Не постучавшись, ввалились Тимоха с Бимбой.

— Зенфран, новый вольер готова.

— Молодец. Я всегда говорю, что у Бимбы золотые руки.

— Э, Зенфран, не нада так банть.

Екатерина Афанасьевна ссутулилась и молча вышла из кабинета. Наступило молчание. Сватош закурил. Рассеянно посмотрел в окно.

— Переживает за соболюшку,— едва слышно сказал он.

— Быдто за ребеночка. Зря душу берedit себе.

— Жаль Керму. Ведь Екатерина Афанасьевна вырастила, выходила ее.

— А-а, уж пагуба придет — руку не подставишь. Оне, бабы, самый сердобольный народ, свое сердчишко в ошмотья изорвут и мужику горечи нальют,— попыхивая папирской, разводил свои изречения Тимоха.

Сватош переменял разговор.

— Ну, как Тимофей, обход сделал... Что там в заповеднике?

— Плохо, Зенон Францыч.

— Что случилось?

— Да-а, это несчастное брюхо зачем-то сунул бог человеку. Наверное, в наказание — давай ему три раза в день хлеба, да и только.

Сватош улыбнулся.

— Значит, опять мало продуктов взял... Пришлось поголодать. Бывает. Я однажды чуть не погиб. Уже помирал с голоду... Стыдно сказать — заблудился. Да спасибо Хабелю...

— Интересно девки пляшут! Браконьеру спасибо?

— Да, да. Если б не Хабель — погиб бы... Уж и силы покинули. Я упал, потом кое-как снял лыжи и лег на них. Впал в забытие. Сколько времени спал, не помню. Вдруг над ухом грохнул выстрел. Разбудился. Смотрю — костер ярко горит. Передо мной сухари лежат на снегу, рядом кусочек жирного мяса. Схожу с ума — подумалось, а сам грызу сухари, мясо прямо сырым проглотил. Насытился, отлегло; стал звать своего спасителя, но его и следов не видно. Вскипятил чаю, напился, и мне стало хорошо. Огляделся кругом — густой лес и больше ничего. Место ровное, блудное. «Опять начну кружить, обесилую и пропаду», — думаю про себя. Взглянул на свою ангуру — она воткнута в снег с наклоном в ту сторону, куда мне нужно было идти. Я и пошел. Иду по чьей-то чумнице, ни о чем не думаю... Отупел совсем. К ночи подошел к костру, к готовым дровам. Чую, кто-то ведет меня, а кто, не знаю. Утром снова по чьей-то чумнице топая дальше. На третий день я вышел в знакомые места, недалеко от Кудалдов. Смотрю, а свежая лыжня свернула в сторону к скале. Я глянул ввѣрх, а там стоит Петрован Хабель и улыбается...

— Интересно девки пляшут! Кучеряво мы живем!

— Да, Тима, жизнь наша довольно кудрявая. Вот тебе факт, именно Хабель спас меня.

— Хабель! Чего ж он хищничает в заповеднике? Вот я сейчас наткнулся на свежую чумницу... Еще бы день-два, и зацапал бы хищника. Может, это опять Петрован?

Сватош на минуту задумался. «Такими налетами мы успеха не добьемся. Надо на Малютке-Марикан жить, устроить засаду». Вслух сказал:

— Возможно, и он... Что делать? Надо задержать. Вы с Бимбой пойдете на Малютку-Марикан. Тимофей, ты сиди в засаде в самом узком месте, а ты, Бим, занеси туда продукты. Ходи взад-вперед, да с оглядкой, осторожней.

— Ты, Зенфран, не бойсь за Бимбушку.

— А на сколько дней оторвемся? Спиртяги дашь?

— Могу, но только как лекарство, — усмехнулся Сватош.

— Вот-вот! Лекарство и надо. Бутылкой натремся, а спирт выльем на огонь — бурхану, чтоб помог изловить Хабельку.

— Я знаю, куда ты выльешь.

Тимоха с Бимбой поджидали браконьеров на Малютке-Марикан, а Сватош пошел заглянуть на Чильчигир-речку, которая находилась неподалеку от Кудалдов.

...Хабель болел. Жар. Третий день в рот не брал ни кусочка сухаря. Пьет и пьет густую чагу. Утром кое-как столкнул на огонь два последних сутунка. Они уже догорали, дымились черные головешки. Хотел подняться, сходить за дровами, но в глазах потемнело, закружилась голова и он упал.

«Все. Конец мне», — пронеслась мысль, сознание затуманилось. Проснулся Хабель от какой-то непривычной тряски. Над ним мелькали деревья; под ним шуршал снег. Он понял, что едет, привязанный к лыжам.

Кое-как приподнял голову и увидел спину человека в рысей шапке. Сразу сообразил, что его подобрал Сватош.

— Зенон Францыч, запали мне трубку, — попросил он, когда тот остановился на отдых.

— А-а, наконец очухался.

Сватош снял с себя шинель, закутал ею Хабеля, а сам остался в меховой безрукавке. Высмотрел сухую сосенку, быстро срубил и развел костер. Набил котелок снегом и повесил над огнем. Вскоре чай вскипел. Зенон Францевич из-за пазухи достал бумажные пакеты. Вскрыл один из них и высыпал содержимое в кружку.

— Выпей лекарство.

Хабель затряс головой, но потом обнюхал кружку.

— Богородская трава? — спросил шепотом.

— Пей. Не отравлю.

— Чаю дай, пересохло, — выпив лекарство, прохрипел он.

Сватош не спешил. Копался в поняге. Из куля вынул белый калач, разрезал на ломтики, покрыл их толстым слоем масла. Потом только налил горячего чаю и поднес больному.

Хабель обжигаясь пил чай, пахнувший смородиной. Потом съел ломтик калача. Напившись, он растянулся на лыжах. Ему полегчало. Сел. Сам набил трубку само-садом, трясущимися руками запалил ее.

Сватош тоже подкрепился едой. Ловко вдел в юксы

ноги и собрался дальше тянуть свою ношу. Хабель за-протестовал.

— Я сам,— с трудом поднялся на колени, но тут же свалился на лыжи.

Снова замелькали кусты, стволы деревьев, неприятно поскрипывали лыжи. Хабель лежал в полузабытьи. Когда прояснилось сознание, он заметил, что чумница пошла вверх. «А у Сватоша и шапки не видать. Или снял ее — пот одолел, или согнулся в три погибели и едва тянет меня», — мелькало в голове. Ему становилось не по себе, начинала грызть совесть.

Вдруг тряска резко оборвалась. Сватош, тяжело, прерывисто дыша, наклонился над ним. На лицо Хабеля упала капля пота, вторая — на губу. Пот был терпко соленый. Хабелю показалось, что эта вторая капля прожгла ему губы и вдруг оказалась где-то под сердцем, потому что неприятно защекотало, защемило его, к горлу подступил тугой комок, загорелись глаза, застлало слезами их.

— Петруха, ты живой? Не замерз?

— Брось, Зенон, меня... Дерьмо я,— сквозь слезы едва выдавил он.

— Ничего. И из дерьма людей делают. Терпи.

Сватош долго отпыхивался, о чем-то бормотал.

Хабель снова впал в забытие.

Поздно вечером, при бледно-голубом сиянии полной луны Сватош доплелся до зимовья. От изнеможения опустился на колени, но тут же неловко свалился на бок. Долго лежал он на пухлом снегу. Потом, собравшись с силой, заполз на четвереньках в темное зимовье. Нашупал у себя за пазухой бересту. Зажег ее. Разгорелся веселый огонек. При его свете увидел в углу большую кучу нарубленных дров.

— Слава богу, теперь отлежимся здесь,— в пустом помещении слова казались тяжелыми и гулкими.

Сватош ободрился. Еще бы! Ведь для него эти дрова в данный момент были дороже всего на свете. Через две-три минуты от смолистых лучинок и сухих поленьев в камине полыхал жаркий огонь. Сватош прямо на лыжах затащил Хабеля в зимовье и уложил на нары. Огляделся кругом. Под потолком висел куль. Развязал — оттуда пахло хлебным духом. Рядом болтался боль-

шой кусок жирной медвежатины. Зенон Францевич рассчитал, что продуктов им хватит дней на пять, на шесть. Повеселел.

— Еще раз, слава богу! Теперь можем здесь устроить лазарет. Так, нет, Петруха?

Хабель молчал. Огонь быстро согрел зимовье. Видимо, в наступившем тепле его совсем разморило. Он уже храпел.

Есть в тайге святой закон. Человек, уходя из зимовья, оставляет в нем спички, дрова, хлеб, соль, табак. Оставляет не для себя — для другого. Может быть, больного, голодного, уставшего или убитого неудачей. Оставляет незнакомому, чужому человеку...

На пятый день Сватош и выздоровевший Хабель подошли к центральной усадьбе заповедника. Лаяли собаки, мычали коровы, слышался звонкий ребячий смех, который приятно щекотал слух. Сватош остановился. Сердито надулся. Оглядел с ног до головы браконьера. Хабель скрыл глаза за лохмами бровей. Стоял и ждал, что решит директор.

— Эвон по морю идет дорога. Катись колбасой, — сказал тот сердито. — Ну, чего?! А если не стыдно за свои делишки — зайдем ко мне. Екатерина Афанасьевна накормит.

Хабель вдруг, словно въявь, ощутил на губе ту упавшую каплю пота. Она будто вновь прожгла его всего с еще большей силой, вызвала невыносимую боль в сердце, от которой зарябило в глазах так, что выступили слезы...

— Зенон... прости грешного... Не гони... Ты за эти дни упал мне в самую душу

Сватош криво усмехнулся.

— Говоришь, не гони, а куда я тебя? В стражники, што ли, найму?

Хабель резко придвинулся. Ударил себя в грудь.

— Я б помог тебе! Все пути-дорожки браконьеров знаю как пальцы свои... Никто б не сунулся в заповедник. Я б искоренил, отбил бы зубы им.

Зенон Францевич давно мечтал о таком стражнике, из рук которого не вырвался бы ни один браконьер; одно имя которого отбивало бы всякую охоту хищничать в заповеднике.

«А что, если возьму да приму Хабеля в стражу? Можно испытать — контроль за ним установить. Например, послать следом за ним Тимоху... А ведь заманчиво!.. Занять такого ловкача, который догонит любого браконьера... Заманчиво, черт побери! Эх, так и быть рискну!..»

Сватош пристально взглянул на браконьера. Тот не отвел глаз. Смотрел откровенно, твердо; в небольших темных глазах светилась просьба, они умоляли его.

— Петро, ты сам знаешь свои грехи... Знаешь, сколь испортил мне крови... Если и теперь обманешь — не обижайся... Не вытерплю... Но все же несмотря ни на что я возьму временно. Понял?

Хабель перекрестился.

— Перед Христом-богом клянусь! Спасибо, Зенон Францевич, што даешь мне возможность грехи отмыть, отскрести... Давят они меня... давят... Веришь, нет?.. Спасибо тебе...

* * *

Монка Харламов зашел вечером к Самойлову.

— Здравате, добрые люди!

— Проходи, садись, Монуил.

«А вид у Семена не тово. Видать, переживает за Макара,— заключил Харламов.— Чует свою вину. Вот это-то мне и нужно».

— Как дела, Семен Иванович?

— М-да, как сказать тебе... пестро... Правда, рыбалка наладилась. Курбетьев-то не хуже старого башлыка тянет тонь. План, кажись, выполним.— Самойлов взьерошил соломенную волосню свою.— Это все поправимо. Да вот ведь беда — Макар утонул,— Семен поморщился виновато.— Напрасно я погорячился. Забыл, что Грабежовых «днкий поп» крестил, што его батька с каторги к нам притопап. Характеры чертовы — крапивное семя...

— Что ты расстраииваешься? Выперли из колхоза правильно. Мордобой запрещен у нас. Сам товарищ Ленин указ дал... Вы, правленцы, могли судить его. Ты, Семен Иванович, обошелся с ним мягко. Дело в другом: все ругаются, што Самойлов изрубил грабежовские сети, а тот не остался в долгу,— уничтожил колхозные и бухнул в воду.

Самойлов вскочил как ужаленный.

— Да вы чего это?! Седни Ганька Магдаулев тоже мне высказал в конторе... Я, правда, смолчал. А ты тоже...

— Вся деревня болтает-горгочет об этом. Ты, Семен Иванович, тут влип в грязное дело. За это могут привлечь тебя по партийной линии.

— Ты, Монуил, сдурел, что ли? Как я мог пойти на такое?

— Мог, не мог — говори теперя... А Грабежиха крестится, божится, што ты при ней обещал изрубить сети, а потом еще и в тюрьму затолкать старика.

Самойлов повесил голову.

— Правду баит старуха. Сказал я. Сгоряча вылетело. Ведь просто хотел припугнуть, да обжегся. Черт! Якорь!

— Вот тебе и «якорь». Как бы он тебя не затянул за собой в омут... Ты уж, Семен Иванович, не побрезгуй поклониться в ножки Голубеву.

— Твоя правда. Плохо дело. Ты уж, брат, помогай мне.

В этот раз Семен Самойлов провожал Монку Харламова не до ворот, а до его дома.

По улице навстречу им, широко раскачиваясь, шел пьяный. Не отвернул, не дал дорогу, а бодливо загородил путь. Это был Петр Грабежов. Узнав Самойлова, он запорозовал, вздыбился матерым медведем, поднял лапищи.

— А-а! Куру мать!.. Душегуб! Батьку мово угробил! Харламов повис на Петькиных кулачищах, изловчился и начал отталкивать пьяного буяна.

— Ты, хулиган каторжный, не трожь советского руководителя! Ты еще щенок противу товарища Самойлова!

— Ах ты, сучка!.. Обзывать!.. Это ты науськал этого кобеля, штоб он вытурил мово батьку из колхоза... По-о-омню! Получай!

От страшного удара Харламов отлетел далеко в сторону, пластом расстелился на снегу.

Самойлов подскочил к нему. Стал поднимать, но тот — ни тяти, ни мамы. Вышибло из сознания. Петька набывчившись, готовый своротить любую преграду, зашагал дальше.

— Батьку мово!.. Батьку загубил!— отчаянно вопил он.

Люди слышали этот вопль. Бабы испуганно крестились. Мужики хмурились.

Утром Кристинья услышала, что натворил ее сынок. Зная непокорный характер Петра, пошла сама к Харламову просить прощения.

Монка лежал на кровати. Глухо стонал от боли в голове. Кристинья помолилась образам, поздоровалась со всеми. Хозяйка холодно кивнула. Белесые, бесцветные глаза ее сверкнули недобро. Морщинистые губы сбежались в один узелок.

— Батюшко, Монуил Евлампиевич, до тебя с поклоном пришла. Ты уж прости варнака мово. Он ведь с горя это. Кручинится по отцу — водки-змеевки наглотался без меры, вот и помрачение накатилося, озверел чертущко,— Кристинья зарыдала. Долго всхлипывала. Потом снова принялась монотонно, словно молитву, начитывать:— Ты, Евлампич, мужик башковитый, сам кумекаешь, как нам горько — потеряли отца. Ежели посадишь парня в тюрьму — петлю надену на себя. Вот те крест!— Кристинья опустила на колени, стала молиться, отбивать поклоны.

Монке, видать, надоело старухино нытье. Приподнялся, слабо, всепрощающе махнул рукой.

— Калека я теперь. Кровь лилась из ухов... Не слышу. По заслуге в тюрьму ево... Да ладно уж, по доброте своей прошу, ради тебя, горемычной вдовы. Да скажи щенку своему, чтоб помнил доброту мою.

Кристинья от радости заплакала.

А Монка отвернулся. Злобно сверкнули кошачьи глаза. Заскрежетал зубами.

«И на самом деле, кажись, оглох на левое ухо. Гул стоит, звон сплошной... Но, Петька, гад, погоди! Уж я-то сумею одарить тебя своей «добротой»!..

Петька, чтоб избавиться от причитаний и нудных нареканий матери, ушел в море.

Брел, зорко оглядывая торосы.

«Может, в торосах найду батьку... Все ж, по-христиански похороним его... Матери будет легче... Да и лишнюю слезу ульет над могилой»,— думалось ему.

Вдруг, ввали заметил что-то черное. Подошел. Оказалось — изрубленные сети. Поднял обрубок тетивы с берестяной цевкой, на которой четко виднелось вырезанное ножом клеймо «М. Г.»

— Батины сети... Зачем же... зачем было их рубить?.. Эх, сука Самойлов!.. Ну, погоди же!.. Я ге...

Петька тяжело бродил между бесконечных торосов, потом повернул домой. Обрубок от сетей принес с собой.

«Покажу людям... Как это у рыбака поднялись руки рубить кормилицу. Пусть увидят, что Самойлов-то действительно порубил сети...»

* * *

Магдаулева потребовали в контору. Возбужденный, взъерошенный, он зашел к Самойлову. После гибели Грабежова он не хотел и видеть председателя.

— Надо к сетям ехать, а тут!.. Зачем звал?!

— Вот письмо из райкома. Люди заботу проявляют о тебе, а ты, как хулиган, вздорно разговариваешь со мной.

— С тобой и говорить не хочется. От кого письмо?

— От Трофима Изотыча.

Постепенно неприязненное выражение сошло с лица Магдаулева.

Прочитал. Улыбнулся виновато.

— Я думал, по пустякам зовешь меня. Дядя Гордей в море торопится. А Воловик на учебу зовет.

— То-то! — Самойлов обидчиво заговорил: — Все косишься на меня. Сердишься из-за Макара. Я же не толкал его в море. Черт знал... Крапивно семья... съел себя, а я...

— Дядя Семен, все говорят, што ты изрубил его сети, а он колхозные... Не вынес старик обиды...

Самойлов вскинулся, хотел что-то сказать, но махнул рукой. Опустил голову над бумагой так низко, что его длинный острый нос, казалось, расписывался на нарядах и прочей писанине.

— А меня кто повезет до Устья?

— Петька Грабежов. А насчет сетей — не рубил я... А как доказать — не знаю.

Сестренка Анка убежала в школу. Мачеха сидела за починкой сетей.

— Чо вернулся? Забыл, поди, чего взять в море? — тревожно спросила она.

Ганька с грустью взглянул на нее.

— Мать... ведь меня снова на учебу... Собирай.

Богомольная Вера подошла к иконостасу.

— О, господи! Царица небесная, сохрани и помилуй чадо мое в дальнем пути, в чужих людях! Матерь божия!..

Помолившись, повернулась к пасынку. Утерла слезу.

— Поезжай, Ганюша, учись, светлая головушка моя...

Глава девятая

У стражников кончились продукты. Тимоха отправил Бимбу домой прямым путем, а сам еще раз проверил Малютку-Марикан. По речке никто не ходил. Хабель не показывался. «Наверно, соболька пропивает в Баргузине», — заключил он.

Тяжело шагало Тимохе. Вдруг чья-то свежая чумница пересекла путь. Тимоха, внимательно приглядевшись к следам, оставленным чьими-то непомерно широкими лыжами, заподозрил неладное.

«У нас в заповеднике таких лыж нет ни у кого. Это какой-то богатырь ходит. Браконьеры!» — обожгла мысль.

Забыв про усталость, он понесся по чумнице нарушителей. В вечерних сумерках Тимоха догнал неизвестных. Их было двое. Высокий, могучий рубил сухое дерево на дрова, а низенький, кряжистый, навалившись на ствол берданки, стоял рядом.

«Так и есть, браконьеры! Вишь, боятся стражников, — один орудует топором, а второй из рук ружье не выпускает. Что же делать-то?»

Король задумался. «Тут надо обмозговать. Ведь их двое, а я один. Чуть чего, они прихлопнут меня и спрячут под колодой, а то и в речку под лед. Зенон Францевич, строго-настрого запретил рисковать необдуманно».

Тимоха стоял за толстым кедром, потихоньку выглядывал оттуда, рвал волосы с досады, что Бимбу отпустил домой.

«...Вот што: буду караулить гадов. Как только вздремнут, я цап-царап ружья, и наплыву на них!»

Осторожно, чтоб его не услышали, Тимоха пошел назад. Спустился в небольшой овражек, заросший густым ельником. Здесь совсем темно, тихо. Вниз по ключу дует легкий хиуз. Стражник облегченно вздохнул.

— Дым будет относить в сторону, можно и огонька раздобыть, — потихоньку бормотал он.

Из поняги выдернул топор, замахнулся на тонкое дерево, но не ударил. «Услышат», — подумал он. Из мешка достал кусок бересты, наломал сухих тонких сучьев. Все это сложил у высокого пня и поднес спичку.

Только теперь, отогревшись у костра, Тимоха почувствовал усталость и голод. «А мешок-то пустой. Ладно, вскипачу чайку, все же горяченьким прополощу брюхо», — решил он. Котелок набил снегом и подвесил на таган. Через четверть часа Тимоха, обжигаясь, швыркал водичку.

— Хоть бы махонький кусочек сухарька был бы. Нет уж теперь меня не проведешь. Пойду на день — возьму харчей на месяц. Пусть принесу обратно домой, Дуська любит охотничьи сухари, — разговаривал он с костром.

Ночь выдалась ясная, звездная. По созвездию Орион, как учил его отец, Тимоха определил время.

«За полночь перевалило. Браконьеры теперь дрыхнут, пора идти к их табору», — решил он.

Шел по чумнице на ощупь, нет-нет да сойдет с нее. Тычет ангурой в затвердевший снег, снова встает на чумницу. Наконец между деревьев мелькнул свет от костра. Тимоха, чтоб не шуметь, снял лыжи и пополз по чумнице к табору. Тимохе страшно. «Как громко стучит сердце!» — подумал он. Черные тени от деревьев чуть-чуть шевелятся. Стражнику кажется, что это браконьеры заметили его, готовятся к встрече.

— Если чего не получится да налетят драться, буду стрелять, — произнес он вслух.

На всякий случай вынул нож, крепко зажал его зубами, пополз к огню. Табор уже рядом. Тимоха приподнялся из-за колоды, стал рассматривать.

Один браконьер, повернувшись спиной к костру, спал, а второй сидел на толстом сутунке и беспрестанно

клевал носом. Около браконьера лежала новенькая пятазарядная винтовка. На пуговке затвора играли золотистые блики костра. Тимохе так захотелось перепрыгнуть через огонь к винтовке. Но он ясно понимал, что этого делать нельзя, — расстояние порядочное, может в этот миг очухаться от дремы тот, кто клюет носом, завяжется борьба, соскочит от шума второй.

Стражник, зорко наблюдая за браконьерами, пополз вокруг табора. Смуглый, со сверкающими при отблесках костра раскосыми глазами да еще с ножом в зубах, он был страшен в ночной тайге.

Браконьер продолжал клевать, а винтовка теперь оказалась совсем близко.

От напряжения пересохло в горле. Тимоха весь сжался, нацелился на винтовку. Прыгнул. Схватил ружье. Отбросил в сторону за дерево, а у своего передернул затвор.

Клевал носом первый. Жарил спину второй.

Тимоха теперь ошетинился. Ткнул стволом в бок сидевшему. Взревел медведем:

— Чо дрыхаете! Растак-перетак!

Человек вскочил с толстого сутунка, вытаращил глаза на парня, очухался, видать.

— Дикой Король! Чево удумал драться!

— А-а, сам Хабель влопался!

Второй браконьер вздыбился матерым медведем, замахал ручищами-лапами, умоляюще запричитал:

— Будя, будя, сынок! Упаси бог, ружо-то не лунуло¹ бы. Будя, будя, убьешь Хабеля!

— Его и надо угробить! Хищника! Замучил всю стражу. Сватоша-то извел, стерва.

— Будя, будя гритца, надо мирно. Ружо-то мотри!

Оба браконьера знакомы Тимохе. Про неуловимого Хабеля и говорить нечего, а второй — богатырского роста охотник из Адамовой — известный на все Подлеморье силач и добряк Николай Галактионович Шелковников, по прозвищу Будя.

Хабель морщился от боли и злобно смотрел на Тимоху.

— Ужо скажу Зенону Францычу, как диганишься² над человеком, щенок несчастный! Обрадовался — Хабеля пымал! На, выкуси! — Он ткнул дулю.

¹ Лунуть — выстрелить.

² Диганишься — издеваешься (мест.).

— Завтра будешь баить со Сватошем! Он тебя посадит на сани и отвезет в тюрьму.

На широком, красном, как кирпич, лице Буды появилась добродушная улыбка.

— Будя gritца, сынок, ты тут промахнулся. Он, Петруха-то, теперь сам стражником стал. По указке Сватоша пропер из заповедника дружка своо Оську Самагира. Вот меня леший копнул пойти в Подлеморье за собольком. Попался ему на пути, он и меня прихватил. Будя gritца, ты чухай, чо к чему. Будя, насмешишь добрых людей.

— Ты, дя Микола, не уговаривай Тимошку. Так тебе и поверил, что Сватош взял в стражники Хабеля. Небось Зенон-то Францыч покажет ему такого стражника, что брюхо заболит.

— Дело твое. Ты здесь хозяин, будя gritца.

— Хватит горготать! Иди за огонь! Там будете сидеть до утра. Чуть чего, стрельну! Сами знаете диких Королей. Не вынуждайте на грех.

— Будя gritца, баить неча, ты громкий парень! Весь в Филантия Короля! — Микола перешел к Хабелю, положил лапищи ему на плечи. — Петрован, не перечь Тимохе, будя gritца, он же не знает, што ты в стражники нанялся.

— А теперь кидайте свои ножи, топоры эвон туды! — приказал Тимоха.

Таежники подчинились приказу.

— Вот так! Теперь-то я вам и пикнуть не дам. А ты, Хабель, не уйдешь, как от Бимбы да Зенона Францыча в тот раз. Заставлю в штаны накласть, а больше тебе ни на грош не поверю. Так и знай! А кинешься удирать — пуля между лопаток чмокает!

— Будя, будя, сынок! Не горячись. Хочешь, я Хабелю в свою понягу завяжу и унесу, куды только повеленье твое будет. Будя gritца, убивством не порочь славное имя Королей. Диковатый был дед твой, да и отец тоже, но честные люди. Будя, будя, сынок!

Будя-богатырь взял котел с мясом и, перегнувшись через огонь, поставил перед Тимохой. У стражника при виде жирного мяса потекли слюни, но виду не подал. Не спеша пододвинул котел к огню.

— Чаек-то есть?

— Будя gritца, все есть! Бери, сынок, ешь, пей, да нас не серчай. Будя gritца, дотолкуемся с Зеноном Сва-

тошем. Мужик он добрый. Будя gritца, разберется во грехах наших, простит.

— Простить тебя еще можно. Ты, дя Микола, первый раз шагнул в заповедник. Наверно, свою старуху послушался, недаром говорят, што Будя-богатырь по одной половичке топает перед ней. А вот эту тварь, — Тимоха мотнул головой на Хабеля, — давно бы я извел, да все верил ему, жалел. Прощенья ему не будет — тюрьма по нему плачет.

— Будя gritца, в острог-то он не пойдет. Он же теперь у Зенона помощником стал. Вы теперь с Хабелем ни одну хайну не пропустите в заповедник. Это уж, будя gritца, я знаю.

— Дя Микола, не болтай, — с досадой махнул Тимоха и принялся за еду.

При сытом-то желудке блажен человек. Постепенно у Тимохи сердце начало таять, отходить.

— Ничо, дя Микола, я Зенона Францыча упрошу, чтоб тебя простил. Сობолька ты упромыслил?

— Нет, сынок, не успел, будя gritца, как на духу признаюсь тебе.

— А ружье где?

— Будя, будя, зачем ружо. Я с капканчиками шел ловушки ставить.

— Э-эх, Будя-богатырь! Шел! А куды шел? А?

— Грех, грех, будя gritца, попутал да окаянная баба.

Тимоха рассмеялся.

— И чего ты бабу боишься! Ха-ха-ха! Я своей Дуське пикнуть не даю!

— Да вы, Короли, ерои! Батя-то твой на Липистинье по деревне катался. Помню.

— Хы, куру мать! Она за это удалство еще больше уважала черта.

— Грех, грех, будя gritца, отца чертом кликать.

Тимоха вел браконьеров в Кудалды. В этот раз он глаз не сводил с Хабеля. А чтоб далеко не убежал тот, Тимоха прибегнул к хитрости — он надрезал ножом у лыж Хабеля сыромятные юксы¹, оставив лишь столько, чтоб тот мог осторожно шагать, а чуть разбежись, с силой налегая на юксы — ремни сразу же лопнут. Попробуй, убеги!

Будя покачал головой, дивясь находчивости парня.

¹ Юксы — крепления.

— О-ох, Тимошка, будя грицца, смекалки да хитрости в тебе напихано, што у другой бабы лукавства.

— Небось будешь лукавым, сколь раз из рук отпустили этого хищника... В тот раз я заловил его, как ушкана. Доверил мужикам, а он их обманул — сел оправиться, те только морды отвернули, а он хоп штаны в зубы и скатился с такого крутика, что мужики только взглянули вниз — взяла жуть. Куда там, насмерть разобьешься!..

— Будя грицца, Петруха-то молодец! Чуть разинул пасть — ищи ветра в поле!

— То-то и оно, но Тимоху не проведешь! Эвон уж Кудалды показались. Чичас Зенон Францыч вылупит глаза от удивления. Не поверит, шупать зачнет Хабельку. Ха-ха-ха! Я скажу ему: «Товарищ директур, ставь бутылку за самого заядлового хищника!»

Хабель оглянулся и с язвительной усмешкой заметил:

— Пустышку сосешь, парень. А вот я два дела зараз сделал: Оську Самагира выпроводил из заповедника. Он таперя не вернется к своей Малютке-Марикан. И Будю приволок к Сватошу.

Тимоха сплюнул, презрительно выпятил губы.

— Не болтай!

Король с гордо поднятой головой провел задержанных через центральную усадьбу заповедника. Вездесущие ребятишки удивленно смотрели на здорового Будю. В конторе Бимба со Сватошем возились около какого-то свежевystруганного соснового ящика.

— Здравате! Примаи, Зенон Францыч, Хабельку! — победно сверкая глазами, рявкнул Король.

Бимба рассмеялся.

— Э, паря! Тимошка! Опоздала ты! Зенон сам ловил Хабельку. Она, Хабелька-та, теперь тоже стражник.

— Как? Правда, што ли? — растерянно заморгал парень.

— Да, правда.

— Зенон Францыч, думаешь, Хабель тебя не обманет?

— Надеюсь. Поэтому принял его на работу.

— Интересно девки пляшут! Кучеряво мы живем! Тыфу, язвило!

— Да, кудревато. Ничего не скажешь, — усмехнулся Сватош.

Хабель устало опустился на скамейку, утер грязное лицо, мотнул в сторону Буди.

— Вот, Зенон Францыч, поймал этого друга на Малютке-Марижан. Он дал слово забыть про эту речку.

— Значит, Самагир покинул свою Малютку-Марижан?

— Насовсем.

— Поди, сначала драться полез! Сердитый тунгусина.

— Стрелял в меня, да пуля срекошетила. Осинка спасла. За это я чуть не пристрелил его сгоряча.

— Дядя Петрован, где они укрывались-то? Я ж там был, — дивился Тимоха.

— Ты еще молокосос.

— Но, но! Легче! — взъерошился парень.

— Ладно, Тимофей, тише. Идите отдыхать, — вмешался Сватош.

Дверь захлопнулась. Зенон Францевич сердито уставился на Будю.

— Знал куда шел?

— Знал, батюшко, будя gritца, грех попутал.

Будя ссутулился, смотрел в пол, огромные ручки плетью висели чуть не до колен.

— Грех говоришь?.. А зачем шел? Ведь заповедник-то от слова заповедь!..

— Будя, будя gritца... будя... нуждишка... Хотел сыну Трошке помочь... Наделал кучу щенят, а прокормить-одеть-обуть силенки не хва... будя gritца... Будя смилуйся, Христом-богом прошу.

Сватош покачал головой.

— Как звать-то?

— Будей — по-варначьи, а по христианству — Микола Шелковников.

— Сколько сгубил соболей?

— Не успел, батюшко... Будя gritца...

— Ружье-то где спрятал?

— Будя, будя, сроду не вру. Поверь, батюшко. Не взял из дому. Зачем оно мне. Я с капкашками пришел.

Сватош подозревал Бимбу.

— Накорми его.

* * *

В темноте во двор Голубева воровски тихо заехал Монка Харламов. Осторожно открыл дверь и, умильно ухмыляясь, снял шапчонку.

— Здравате, добры люди!

Сидевшая за столом дородная хозяйка тоненько запела:

— Проходи, проходи вперед, гостенек! Раздевайся. Поди, промерз насквозь? Мороз-то, мороз нонче какой злющий! Как там дома старики-то, ладно живут?

— А Лександр Никодимыч где?

Хозяйка махнула пухлой рукой, а сама сыплет и сыплет тоненьким голоском:

— Все у себя в аймисполкоме сидит. Собрания, заседания, совещания, встречи, проводы; всем надо угодить, улистит, уладить, уговорить. Ночью и то нет ему покою. Только приткнется ко мне под бочок — уж кто-то стучится. Ох, тяжело-тяжелехонько родненькому! А мне-то каково, думаешь? И боязнь меня берет, ведь народ-то у нас бедовый. Ох, бедовый! Эвон, сказывал мне бурят верховской — банда у них завелась. Колхозное сено жгут, хлеб, скот угробляют. Какого-то активиста стукнули. А долго ли и до моего добраться? Ах-ти! Беда не жись.

Монка, чтоб остановить этот словесный поток говоруни, громко крикнул и глухим нутряным голосом заговорил:

— Лександра Никодимыч скоро придет?

— Кто его знает. Да, забыла тебе сказать новость: директора заповедника Сватоша снимают с работы. Плохи его дела — с белочехами якшался. Сегодня решение вынесено о нем.

— А кто на его место сядет?

— Ивана Анохина назначили.

— Анохин-то без грамотешки, как будет дела-то вести?

— Моему Александру поручили найти грамотного помощника.

— А Зенона Сватоша куда?

— Научным сотрудником станет. Соболей будет изучать, узнавать, могут ли они в неволе рожать. Так сказывал Александр Никодимыч.

Монка усмехнулся.

— Сватоша самого, поди, надо обучать. Сколько лет живет с бабой, а ребятенков нету.

Хозяйка замахала, затряслась сытым телом, залилась тонким смехом. Отдышавшись, сказала:

— Александр хочет тебя поставить помощником директора.

— А не... врешь... то есть не врете?

— Скоро сам придет, вот и узнаешь, чурбак недоверчивый. Только смотри, ты там не спи шибко-то и нас не забывай — когда соболька, когда парочку нам сунешь.

— Об чем разговор! Да я своим благодетелям десятков не пожалею! Только бы бог сподобил всему этому сбыться.

— Сбудется, сбудется! Анохин-то хуть грамотешкой не владеет, а командир был лихой. Партийный — вот и доверили ему заповедник.

— О, господи! На коленях буду ползать перед вами! Вот только боюсь Анохина. Мужик взглядный да сурьезный.

— Говорят тебе, не бойся! Ваня Анохин — мой двоюродный брат. Боевой, горячий, но в душе он добренький.

— Ладно, поди, не прибьет бедного Монку. Я ж услужливый, в беде не оставлю его.

— Вот за услужливость-то и ценит тебя мой Александр.

— Настасья Петровна, я привез бочку омулей да стегошко сохатины. Куды прикажете?

— В амбар заката, голубок мой.

Голубев пришел домой поздно. После ужина он отправил жену спать, а сам с Монкой закрылся в маленькой комнатке. Харламов подробно рассказала Голубеву про Макара Грабежова. О том, как в колхозе было сорвался план рыбодобычи из-за того, что Самойлов остался без опытного бригадира неводчиков, но, как назло, Макара заменил везучий Курбетев.

— Ну, это мелочи. Ерунда. Надо вот как-то окончательно добить Сватоша. До чего доработался — никакими путями ни одного соболя не добудешь...

— А разве он останется торчать в заповеднике?

— С директорства его скинули. Твое письмо в отношении Сватоша в исполкоме принято за чистую белку. Только закавыка вышла в райкоме. Этот секретарь-то Воловик набычился, не верил, но я собрал еще несколько писулук у браконьеров, которых Сватош обижал. Так и то Воловик настаивал, чтоб Сватоша оставили старшим научным сотрудником. Если б не он, мы свернули б шею Зенону.

Помолчав, Голубев спросил:

— Что слышно про Куруткана?

— Лежит в своей норе. Сейчас куда сунется — снег большой, да и выследить могут. Племяш его, Бодоулка, приходил ко мне, просил патронов от берданки достать побольше, но я отругал его и выгнал. Сказал, что я честный советский гражданин.

— Правильно сделал.

— По вашей указке. Не то я Куруткану брательником стал бы.

— Пропал бы ты, как пропадет Куруткан со своими.

— Неужели Лександр Никодимыч? А может, оне отлежатся до прихода японцев?.. Дождутся атамана Семенова?

Голубев замотал головой.

— Ни ума, ни терпения у Куруткана не хватит, чтоб лежать в норе жирным тербаганом. Пойдет пакостить, и его зацапают.

— А кто? Ведь даль, ведь тайга непролазная там.

— Найдутся... Самойлов с партизанами. Магдаулев со своими комсомольцами. Пронюхают и поймают.

— Самойлов-то в тайге, как баран; вот Волчонок Ганька, тот как дома. Тот может.

— Ладно, бог с ними, пускай сами разбираются. Теперь вот что: будешь работать помощником директора по хозяйственной части; значит, завхозом, понял? Анохин, хотя и неграмотный, но башковитый мужик. Будь осторожен, услужлив, разворотлив. Веди хозяйство заповедника старательно, чтоб всегда в достатке было овса, сена, дров... Ну, там еще что надо...

— Со Сватошем не знаю, справлюсь ли? Умен чертушко, еще и честный... Чудак какой-то, ей-бог. Как баба с ним живет, не знаю. Для дому никакого старанья.

Голубев усмехнулся.

— В том-то его сила. Напрямик нам его не взять за рога. Это тебе не Самойлова с Грабежовым столкнуть лбами. Надо его сзади кусать. Дождемся лета. Когда будет солнце сушить тайгу, вот тогда и укусишь его. Выберешь время, когда Сватош будет в тайге, в том месте пустишь «петуха»... Понял?

— Мотаю на ус. Это я смогу.

— Теперь о Таськимо: продолжай дружбу вести с Самойловым. Страшных Гордея и Магдаулева не трогай. Эти нам не по зубам.

— Хы, Ганьку-то можно бы. Он, гад, с тунгусами чо выделявает. Прямо на глазах грамотеями становятся, да и разговоры уже за тайгу перешагнули. Вот ведь черт! Анкоуль газеты читает, девка тунгуска сопливая Уриндак прямо ученая стала, да баит про социализму. Удивление одно. Зловредный этот Ганька. Я слышал от шамана, што Магдаулев из рода князя Табангута. Вот бы за это и уцепиться, а?

Голубев досадливо махнул рукой.

— Брось ерунду пороть. Не поверят. Секретарь райкома Воловик за него горой стоит.

— Ишь ты, какой проныра бурят?

— То-то. Теперь вот что — зайди в милицию, к начальнику, скажи, что краем уха уловил слух у тунгусов, что в Подлеморье прячется Куруткан. Дальше этого ты не иди. Заинтригуй его пока. Покажи себя активным советским гражданином, который может в любое время помочь органам госполитуправления в борьбе с бандитизмом. Понял меня?

— Понял. Зайду.

...Монка шел по Таськимо радостно-взволнованный; носом резал воздух — так высоко задрал его. Он только что вышел от Самойлова — хвастался бумагой о назначении заместителем директора заповедника.

Шел Монка и ухмылялся, расцвел, словно багульник весной. Большой, нежно-малинового цвета шарф развевался на ветру. Белая папаха тоже с малиновым верхом; на унтах такого же цвета нашивки.

А из тайги, тоже радостно-взволнованные, верхом на оленях, въезжали в поселок охотники во главе с Анкоулем. Рядом с ним ехал Бодоул и зорко высматривал свою невестушку Уриндак.

Много дней они промышляли зверя в тайге. Соскучились по родным, по милым сердцу. А родные и того хуже — ведь кормильцы ходили по опасным тропам, порой рядом со смертью. Все вышли встречать своих добычливых промысловиков, мэргэнов¹ своих. Радостные вскрики, смех, звонкие голоса ребятишек, лай собак.

На Монку никто не обратил внимания...

¹ Мэргэн — меткий стрелок.

Ледяное поле Байкала, убегая вдаль, окуталось морозной сизо-сиреневой сеткой. Гольцы Баргузинского хребта круто вздыбились в поднебесье. Багряная заря окрасила их в нежно-розовый цвет, и они, клыкастые, зубастые, сторожат заповедную тайгу.

Тимоха Король возил Зенона Францевича в Баргузин по делам заповедника. Несколько дней побыл дома. Сейчас едут они обратно с разным скарбом для соболиного питомника: железные сетки для вольера, какие-то безделушки, которые он мог бы и своими руками сгношить там, в Кудалдах, а не давить сани. Ворчит Тимоха: «Коней лишней обузой загрузили».

Зенон Францевич дал Тимохе квартиру, и он вез свою Дусю к себе в далекое Подлеморье. «Хватит одному куковать, а то возьму да женюсь на тунгуске», — говорил он жене.

За Кедровой речкой, под сокуями¹ чуть струился дымок.

«Кто бы мог быть здесь? Рыбакам сейчас тут делать нечего, отбармашились² в этих берегах. А не хищники ли вышли из заповедника?» — подумал Тимоха и остановил коня. На задних санях закопошилась копна — Сватош спустился на лед, начал разминать затекшие ноги.

— Держи вожжи! — крикнул жене, побежал к товарищу.

— Зенон Францыч, глянь-ка в берег. Однако «гости».

— Где?

— Во-он дымок вьется. Дым не рыбацкий. У тех густой, им незачем скрывать, кидают в огонь всякие дрова. А эти топят листвяком, чтоб дыму не было большого.

Сватош смотрел, смотрел — не видать. Махнув рукой, полез за биноклем.

— Ну и глаза! Я кое-как в бинокль разглядел.

— Тимоха, отведи коней в сторону, — приказал Сватош. — А ты, Дуся, держи коня под уздцы.

Раздосадовался Сватош. Сморщился, будто от зубной боли.

— Черт! Нет оружия! Черт!

— Давай, Францыч, нахрапа, врасплох!

¹ Сокуи — целые горы ледяного наплеска на берегу у самой воды.

² Отбармашились — отрыбачились удочками в лунках на приманку.

— Так нельзя, надо обмозговать.

Сватош насупил густые брови. Долго обдумывал. Потом тихо заговорил:

— Если вместе пойдем, шумно будет. Ты легкий, иди впереди. Узнай, что за люди, сколько человек, какое оружие. Потом махнешь мне шапкой.

Тимоха мотнул головой и, с кошачьей ловкостью перебираясь через высокие торосы, удалился в берег.

Вскоре стражник оказался у прибрежного наплеска — сокуев. Взобрался. Прячась за конусообразными макушками ледяных горок, стал продвигаться к костру с жиденьким дымком. Поравнявшись с табором незнакомцев, осторожно выглянул.

У костра сидели четыре человека. Пили чай. Угрюмо молчали. Охотничьи лыжи в сторонке от огня, там же два ружья.

«Браконьеры,— заключил Тимоха.— Что делать? Нас двое безоружных против четверых с ружьями. Правда, вид-то у них усталый. А если я спрыгну с сокуев, то, пожалуй, вперед их окажусь у берданок?» — подумал он.

Сватош наблюдал за товарищем, нетерпеливо ждал знака.

Тимоха еще раз смерил расстояние между ним и неизвестными. Махнул Зенону Францевичу шапкой.

Осторожно приблизился и Сватош. Он осмотрел табор незнакомцев: опытным глазом определил, что эти люди — браконьеры. Идут издалека. Рады месту. Движения скупы и вялы. Смертельно устали.

Тронул за плечо Короля.

— Поднимемся враз. Ты, Тима, прыгай с сокуя, беги к ружьям. Понял? — прошептал Сватош на ухо товарищу.

— Аха, понял, Францыч!

Сватош напрягся весь. Мотнул головой. Вскочил, заревел:

— Парни, окружайте гадов!

Тимоха мелькнул в воздухе и мгновенно был у ружьев.

Браконьеры испуганно озирались, моргали широко распахнутыми глазами. Бледные, растерянные, они так и остались сидеть.

Тимоха передернул затвор пятизарядной новенькой берданки и вогнал в ствол патрон. Теперь, почувствовав себя хозяином положения, он, как и всегда озорно, по-королевски, кукарекнул:

— Интересно девки пляшут! Кучеряво мы живем!
Подошел Сватош.

— Где ваши трофеи?! Что молчите-то?!

— Это с перепугу, Зенон Францыч!

— Вот, мужики, если подобра, то я сделаю снисхождение: составляю акт, наложу сносный штраф и отпущу домой с условием, чтоб вашей ноги здесь не было. Иначе — отвезу вас в милицию.

Браконьеры переглянулись. Пожилой тихо буркнул соседу:

— Степан, отдай этому дьяволу.

Тот подал Сватошу пару собольих шкурок.

Глава десятая

Цицик часто ходила в большой дом Алганая. Дом этот теперь самый шумный в Таськимо. Она любила во время перемен водить хоровод с учениками. Здесь, в окружении детворы, позабыв разницу в возрасте, играла в снежки. Разрумянится. Ярко-синие глаза весело сверкают, и она становилась похожей на ту Цицик, которая беззаботно мчалась, бывало, по просторам Ольхона на своем резвом Гоихане.

Учительница Ксения Михайловна согласилась учить Цицик. Отдельно посадила ее, великовозрастную, и задавала ей уроки по программе шестого класса. Ведь Алганай держал в свое время специально для своей дочери учителя, привезенного из города Томска.

Алганай выздоровел и понемногу рыбачил в паре с соседом поблизости от Таськимо, куда дальше кинешься, если года ушли. Старики ставили под лед хайрюзовые сети, бармашили. С моря Алганай возвращался уставший и предовольный — талан — фарт, как и в молодые годы, сопровождал ему на рыбалке.

Цицик раздевала отца, сажала за стол, рада была обкормить его.

Шаману Хонгору не нравилось, что Алганай перестал печалиться, горевать о былом богатстве. Казалось даже, что тот доволен жизнью. Радует, что дочь так заботится о нем, не убегает замуж, не бросает его. Хонгор злобно плевался и качал головой. «Попустились таким хозяйством... Сами отдали голодранцам... В недалеком будущем придут белые с японцами, а с ними заявятся бывшие хо-

зьева, тогда осел Алганай со своей красавицей будут нищими... Да и я с ними... Нет, надо что-то придумать, чтоб Алганай и Цицик пошли рядом с людьми, которые борются против Советской власти... Надо... Молка-то Харламов сообщил мне, что «охотники» ушли в черную тайгу. Это значит, что офицер Новиков по зову тунгусского богатея Куруткана подался к нему в надежные места. Живут в своем логове, ждут к себе Хонгора. Вот к ним-то и надо сманить Алганая с Цицик. Старик-то, черт с ним, а без Цицик я никуда не тронусь. А как сманить? Ведь Алганай слушает дочь свою, как ребенок мать. Что скажет Цицик — для него закон. Вся загвоздка в Цицик. Добром ее не оторвешь от Таськимо. Ее здесь уважают. За Советы боролся ее жених Кешка Мельников, она помогала. Нет, тут надо мозговать, хитрить...»

— Боо Хонгор, суп остынет, кушайте, — услышал шаман голос Цицик и оторвался от своих мыслей.

— Эй, Хонгор, в каких заоблачных высях витают твои мысли? — смеясь, спросил Алганай.

В узеньких глазах мелькнул сердитый огонь и потух.

— Все продолжаю беседовать с небожителями. Большая тревога в их голосе. Беспокойство слышится за род человеческий. У богатых людей голь отобрала все добро, грабят, а нас, служителей черной веры, гонят прочь. Добра нам не видать. Ленин-то, баят люди, из тюрьмы да ссылки не вылезил. Помощничек-то его — Сталин, тоже каторжан бывший.

— Но ведь они наказание несли не за воровство да убийство, а за народ. Хотелось им, чтоб народу лучше жилось, — встряла в разговор Цицик.

Шаман пренебрежительно выпятил губу, махнул рукой.

— Цицик, тебя испортили большевики. Молись небожителям, они милостивы, простят все твои грехи, — шаман косо взглянул и повернулся к хозяину дома. — Дак вот, Алганай, скоро вынут свои мечи сыны Страны восходящего солнца. Они придут к нам и восстановят справедливость.

Цицик удивленно уставилась на шамана холодными, сердитыми глазами.

— Боо Хонгор, вы заболели? Бредите? Если нет, то прошу покинуть наш дом. В нашем доме... У нас не говорите так.

Шаман опешил. Он поднялся. Из широко распахнуто-

го рта летели какие-то гортанные, нечленораздельные звуки. Алганай подошел к нему и, почтительно взяв его за руку, подвел к столу и усадил. Но шаман тут же вскочил и, бормоча заклинания, схватил чашку с чаем, обмакнув палец, окропил Цицик.

— Порченая! Порча! Порча, уйди, покинь душу дочери славного Алганая! — громко вопил Хонгор.

«Я в глазах Алганая и Цицик снова должен стать великим шаманом. Я должен предсказать Алганая, что его ждет тюрьма. Его нетрудно туда спровадить! Да, да! А потом постараться вырвать оттуда. Тогда-то они будут послушными ягнятами!» — лихорадочно мыслил шаман, а сам гортанно тянул какие-то шаманские заклинания.

Вдруг Хонгор сник и кое-как удержался на ногах. Алганай, раболепно стоявший рядом с ним, поддержал шамана.

— Дочка, постель сготовь для боо, ему худо.

Цицик постелила у стены теплое одеяло.

Шаман жестом позвал к себе Цицик. Посмотрел жалобно на отца и дочь, хрипло заговорил:

— Слушайте, вещие слова боо Хонгора. Не хотел преждевременно вносить в ваш дом печаль тяжелую. Но небожители велят предупредить вас о грядущих черных днях в вашей жизни... Тебя, Алганай, ждет тюрьма.

Цицик снисходительно улыбнулась, дескать, рехнулся старый.

Шаман продолжал:

— ...Небожители велели мне, жалкому их слуге, всячески оберегать вас. Особенно тебя, Цицик. Ибо ты послана на землю, чтоб родить нового потрясателя вселенной — Чингисхана Второго. А поэтому вы должны безоговорочно исполнять все мои указания! Иначе вам не миновать беды.

Алганай испуганно попятился. Цицик уговаривала его:

— Не бойся, бабай, не дам тебя в обиду.

Хонгор улегся в постель. Слушал. Хозяин дома долго стонал, охал. Цицик полушепотом, ласково ободряла отца. Потом уgomонилась, улеглась спать.

После дня, проведенного на морозе, Алганай быстро захрапел. Цицик тоже заснула в своей крошечной комнатушке.

Шаман долго еще лежал, все обдумывал и обдумывал свой план. Боялся не ошибиться бы.

Глубокой ночью Хонгор потихонечку поднялся и на

цыпочках подошел к печке. Прислушался. За печью, в спальне девушки, он услышал ровное спокойное дыхание. Шаман одними губами прочитал заклинание. Потом тихо в темноте нащупал валенки Алганая.

«Их-то мне и надо!» — подумал он. Обулся. Оделся. Осторожно подошел к двери, перед тем как открыть, прислушался. Ничего опасного нет: Алганай храпит, а Цидик хоть за ноги тащи.

Дверь никогда не залаживалась. Он осторожно открыл ее и неслышно выскользнул на двор. Взглянул на созвездие Орион — высоко в небе три яркие звездочки дружно шагали с востока на запад. Шаман определил время, прочитал молитву.

«Перевалило за полночь. Все спят, и сторож тоже дрыхнет».

Черной тенью Хонгор подкрался к колхозной базе. Вот они, высокие, под тесовой крышей добротные амбары Алганая, а теперь — собственность рыбацкого колхоза.

Хонгор подошел к крайнему амбару, огляделся кругом. Стало страшно. Трясет всего. Для надежности обошел вокруг дворов. В зимовье тускло горела коптилка. Заглянул в окно — сторож сидел на чурочке, на коленях хомут, большим шилом посверкивал в полутьме.

«Увлекся работой, не выйдет скоро», — решил Хонгор. И уже смело подошел к самому большому складу.

Летом рядом с амбаром колхозные плотники кантовали лес. Здесь под ногами было много смолистых щепок. Хонгор собрал пригоршни две-три и на локтях подполз к амбару. Под нижнее бревно, которое лежало на «ступеньках», торопливо затолкал щепки и трясущейся рукой достал из-за пазухи коробку спичек. Ветра не было. Первая же спичка зажгла щепки. У Хонгора озарилось красными бликами темное морщинистое лицо. Ему в этот момент едва разгоравшийся огонь показался громадным кострищем, который видят все. Видят и его — поджигателя. С испугу резко поднялся и больно стукнулся о торец одного из бревен. Из глаз посыпались искры. Шаман усилием воли превозмог боль и растерянность. В следующий же миг он пустился бежать за темный угол соседнего амбара.

...Через несколько минут, тщательно обтерев рукавицей валенки от налипшего снега. Хонгор, словно рысь, бесшумно вошел в дом.

Алганай все так же храпел. Цицик спокойно, глубоко дышала.

Шаман разулся. На носках, затаив дыхание, подошел к печке и на то же место, где они были, поставил Алганавы старые, подшитые валенки. Потом облегченно вздохнул. Руки упали плетью. Ноги не слушались, ныли в бедрах. Хонгор, качаясь, подошел к постели и не боясь, что разбудит хозяев, прогнусавил шаманское заклятье.

Сторож вышел на двор по нужде. Бросив взгляд на амбары, испуганно остановился. У крайнего амбара горел угол. Старик, позабыв о больных ногах, с удивительной быстротой добежал до огня, скинул с себя полушубок и бросил на огонь. Огонь чуть призатих, но все равно, потрескивая и шипя, продолжал гореть. Старик заревел что есть мочи, огляделся кругом — ни души. Не теряя времени, принялся бросать в огонь пригоршни снега. Но это не помогло. Вдруг вспомнил, что в сторожке у него целый бак воды. Побежал, поскользнулся и растянулся пластом.

— Караул! Ка-ра-ул! Ка-ра-ул! — вскакивая, закричал он. В сторожке зачерпнул ведром воду, и обратно. Полушубок уже взялся огнем. Пахло удушливым дымом.

Караул!.. Кара-ул! — летело в ночь. Подбежал, нацелился — и бух ведро воды. Повалил густой пар, дым.

— Ка-ра-у-ул! Караул! Караул!

Кто-то оттолкнул его, вылил свою воду.

Огонь сдал.

Самойлов со стариком бегом к сторожке. Семен два раза обернулся с водой, и огонь потух.

— Хорошо, что ты не дрыхал, как обычно, — тяжело отпыхиваясь, заговорил Самойлов.

— Ты чо, товарищ председатель! Я сидел и шорничал! Забочусь!

— Ладно, ладно.

Стали подбегать люди.

— Следы не затапывайте, вызову милицию! — взревел Семен.

— Слышите! — рывкнул сторож, гордый тем, что не проспал пожар. — Не топотитесь, засони!

Следы человека в подшитых валенках привели к домику Алганая. Молоденький чернявый милиционер за-

ставил Алганая пройти рядом со старыми следами. Долго измерял следы от валенок, зарисовывал, записывал.

После этого он арестовал Алганая.

Цицик безутешно плакала.

Бедный ее старый бабай сидит под стражей.

Из аймачного центра приехал следователь. Сердитый. Туча тучей ходит по Таськимо. Цицик пыталась с ним поговорить, но он накричал на нее и выводил вон.

Боо Хонгор сердито говорил:

— Добилась — прогнали. Вот так тебе и надо! Ты все хвалишь Советскую власть, хвалишь коммунистов, хвалишь колхозы. Так хвалишь, что язык уж смозолила. — Шаман сверлил маленькими злыми глазками растерянную Цицик. Будто все ее тело прожигал пронзительный взгляд боо Хонгора.

Цицик испуганно отпрянула. Ее колотила дрожь. Она вспомнила страшную бурю на Байкале; партизанскую лодку, бьющуюся на волнах, Кешу Мельникова и слова боо Хонгора: «...А те русские пусть тонут...»

Шаман, заметив ее испуг, отвел взгляд. Даже криво улыбнулся. Цицик постепенно успокоилась. Хонгор ласково притронулся к ее плечу и тихо, заговорщицки, дойдя до шепота, заговорил:

— Слышал я от верного человека, что председатель колхоза Самойлов ему без утайки баил. А Самойлов-то черная собачья кровь, все знает, так как тот приезжий нойон, который прогнал тебя из конторы, живет у председателя. Жрет готовые харчи, пьет с Самойловым водку. Дак вот этот негодяй, председатель, сказал моему верному человеку, что Алганая ждет пуля. Приезжий нойон твоего бабая называет врагом народа, вредителем и написал бумагу в Москву самому Сталину, чтоб тот дал указ на расстрел Алганая... А Сталин-то, ох суров человек! За колхоз стоит горой! Он обязательно велит расстрелять твоего бабая. Ведь это не игрушка — поджог колхозного амбара. Так что смерть Алганая неминуемая и скорая.

Цицик схватила старика за руку.

— Научи, святой боо Хонгор, что делать-то?

Расцвела душа шамана. Он с необыкновенным вдохновением заговорил:

— Я разговаривал с небожителями! Они мне сказали,

что гибель Алганая произойдет по исчислению служителей желтой веры — в первый день Белого месяца... И еще они предрекли: «Алганая может спасти его дочь Цицик!»

Цицик порывисто метнулась к шаману, молитвенно сложила ладони.

— Святой боо Хонгор, пожалей бабая, помоги.

Шаман величественным жестом остановил ее.

— Только ты, Цицик, можешь спасти своего бабая! Потому что ты чиста, целомудренна, твоему сердцу неведомы зависть, злоба, недоброжелательность. Только ты, Цицик, можешь вырвать Алганая из лап черных собак.

В огромных глазах Цицик страх, мольба, готовность на самопожертвование.

— Научи, святой отец! Что мне сделать, чтобы спасти бедного бабая. Я не верю, не мог он поджечь амбар. Это ошибка. Он зла не имел на колхоз. Я хотела поговорить с этим нойоном следователем, но он и слушать не желает меня. Да еще оскорбил, будто я тоже помогала поджигателю... И тебя, боо, он собирается выместить из Таскимо поганой метлой.

Шаман заскрежетал зубами. Зашептал заклинания.

Цицик умоляла:

— Научи, боо мой!.. Куда пойти, кому поклониться. Ведь мне было всего годик, больная, едва тепленькая, говорят, была... Он мне стал и матерью и отцом, выходил, вырастил... Всю жизнь как маленькую нянчил. Такого ласкового, такого заботливого отца, наверно, мало кто имел во всем белом свете... А когда ранили меня беляки, сколько бессонных ночей провел он возле меня. Разве я могу забыть все это? Тогда что я за человек? Если не спасу — скотиной буду! Говори, святой боо, что мне делать. Ты мудр, ты все знаешь и дальше нас видишь. Ты же, как в воду смотрел, видел наперед и предупредил моего бабая, что его ждет тюрьма. Ты — провидец!.. Ты истинно святой боо!

Шаман весь в радости, но лицо каменно-твердое, оно ни о чем не говорит.

«Вот когда ты в моих руках! Ловко я поймал вас на крючок! Я еще не то сотворю — черное будешь называть белым, а белое черным!»

Зловещее молчание шамана и какое-то диковатое выражение в его глазах испугало Цицик. Она навзрыд заплакала и опустилась на стул.

Шаман торжественно заговорил:

— Ты, Цицик, должна целиком подчиниться моей воле! Мое слово должно стать для тебя законом! Иначе гибель Алганая неизбежна — злые собаки проглотят его. Слушай и исполняй наказания служителя черной веры боо Хонгора, если хочешь спасти славного отца своего Алганая. А спасти можешь ты только через обман, может быть, даже через кровь.

Девушка порывисто поднялась.

— Ну, этого не могу я сделать, боо Хонгор!.. Была бы я мужчиной — другое дело. Попроси кого-нибудь.

На темно-коричневом лице шамана досада сменилась злобой.

— Значит, черт с ним, с Алганаем?

Цицик уронила голову, вся сникла.

«Я знал, что Цицик не годится на такое, — думал Хонгор. — Она не умеет врать, не умеет обманывать. Ее глаза, как зеркало — ничего не скроют. Непутевая девка... А тут только через обман можно вызволить этого жирного тарбагана... Кого же попросить?.. А если пошлю на это дело Бодоула? Правильно? Парень выпивает. Он с бутылкой зайдет к милиционеру. Тары-бары, потом разопьют... А остальное я сам сделаю... Можно подсыпать в вино «сон-траву», и пусть дрыхнет — самого можно украсть...»

Цицик тяжело вздохнула и виновато посмотрела на шамана. Хонгор сердито отвернулся.

— Ладно, обойдусь без тебя. Ты сегодня же собери самые нужные вещи для дальнего и долгого пути. Чтoб года три-четыре можно было прожить в любом месте. Завтра ночью мы с одним человеком выкрадем из каталажки Алганая и на выючных лошадях покинем Таськино.

— Поедем на Ольхон? — обрадовалась Цицик.

— Нет. Там нам тюрьма. Смерть.

— А куда же?

— В тайгу. Там отсидимся до добрых времен.

Цицик задумалась. Потом решительно заявила:

— Я только до лета. Уеду в город... Мне все надоело.

Шаман криво усмехнулся.

«Уедешь, уедешь к черту на рога. Я все равно найду тебе настоящего мужика. Родишь от него мальчишку, мне больше ничего не надо. Уволоку его куда-нибудь, где нет людей, нет русских и выпестую из него Чингисхана Второго. Так и будет!»

Поздно вечером шаман привел Цицик в темный лес. Кто-то низкорослый подвел ей оседланного коня.

— А бабай Алганай где?— тревожно спросила она.

— Я, дочка, здесь,— послышался из темноты приглушенный голос.

— Тише вы!— зашипел шаман.

Цицик привычно села на коня, который сам тронулся вслед за передними.

* * *

Незаметно протекли недели и месяцы с того дня, когда Вера собрала своего пасынка на учебу.

Наконец в один из дней Ганька поздно вечером прикатил из города с почтовым ящиком. Дни и ночи надоедливо звенели бубенцы. И теперь в родном доме ему кажется, будто на окнах висят не шторы, а белые колокольцы и звенят, и звенят они.

Первым делом Вера сообщила Ганьке новость:

— Цицик с Алганаем куда-то уехали. Говорят, шаман уволок их.

Она рассказала о поджоге склада, про арест Алганая. Как следователь выгнал Цицик из конторы.

— Как?! Прогнать Цицик?! Вот сволочь! А Самойлов почему... допустил? Э-э, нашли поджигателя — трусливого Алганая. Шаман поджег! Вот кто! Наверное, Цицик хотела поговорить, а ее выгнали! Э-эх, Семен, Семен, быстро же ты забыл Кешку Мельникова.

Мать поставила сковородку с рыбой. Нарезала соленых омулей; на тарелке заманчиво белели очищенные картошки.

Ганька отодвинул еду. Обхватив голову, долго молчал.

Подошла Вера.

— Гань, рыба стынет.

— Не-е... ты, мать, не сердись. Я пройдусь.

Он шагал по тихому Таськимо, по дороге, которая нырнула в темный лес. Апрельская тайга пахла еловой смолой, прошлогодними кедровыми шишками-падаюшками, смородиной и изопревшим лесным хламьем.

— Собаки... нет, собака-то охотничья — друг первый. Нет! Волчина этот следователь и дурак!

Ночь была дремотная. Тишину нарушал жалобный вой голодной стаи.

«Не плачьте, серые, у вас, поди, друг друга не топят, а выручают».

Ганька повернул обратно. Шел, а в глазах неотступно стояла Цицик в белом и махала рукой.

— Я тебе учебники привез, а ты,— вслух проговорил он и повернул к дому.

Семен Самойлов созвал правленцев на заседание. Он сердито допекал бригадиров за то, что слабо готовятся к летней путине.

— ...Вторым вопросом у нас стоит — организация промысла на морского зверя. План большой, а охотников на нерпу маловато. Как быть? Видимо, придется снять кое-кого из сетевых бригад. Ты, Анкоуль, хошь бы сам все это обтяпал — все ж заместитель мой по охотничьей части.

Анкоуль поднялся, пожал шупленькими плечами. А потом, взглянув на Ганьку, сказал:

— Бодоул не идет на нерповку, баит — эни больна. Вот возьмем сына Волчонка, — ткнул трубкой в сторону Магдаулева.

— Правильно. Он еще парнишкой хаживал на нерповку. Король учил его. Помню. А напарником запиши Петьку, — посоветовал Гордей.

— Грабежов-то сроду не охотился. Какой из него нерповщик, — заметил председатель.

— Ганька научит его. Дружки ведь.

Самойлов мотнул головой и записал Ганьку с Петькой в список нерповщиков.

После заседания у Магдаулева чесались кулаки. Он даже мысленно несколько раз ударил Самойлова в правую скулу. От этого еще больше разгоралось в нем чувство ненависти к председателю.

«Так бы и раскрыл бесстыжую морду твою», — кипело в нем.

Он сердито сказал Самойлову:

— Скоро же ты забываешь друзей.

— Это кого же? Кого я забыл? Ты чо, паря, очумел?

— Иннокентия Мельникова выкинул из души. А были друзья. Помню.

— Как это выкинул? Я его до смерти не забуду...

— Цицик была его верной подругой. Кровь пролила за Советы, а ты допустил, стыд сказать — допустил, что

какой-то шалопай выгнал ее, оскорбил: помощницей поджигателя назвал. А теперь всем известно, что у Алганая была куриная слепота, что он не мог ходить ночью, не мог поджечь. Шаман у тебя под носом все распротянул, а ты...

— Брось, Ганька, ты это! Снова приехал кусаться. За Макара ел, ел, а теперь за Цицик. Может, на мое место заришься, бери!

Магдаулев сплюнул, круто повернулся и вышел на улицу.

Тимоха подъезжал к трем таборам на море и спрашивал у чумазых, загоревших охотников, где отаборились нерповщики из Таськимо. Те пожимали плечами.

Уже на закате солнца они с Зеноном Францевичем разыскали бригаду Анкоуля, отаборившуюся среди высоких торосов на середине Байкала.

— Эвон куда они спрятались! Черги!— весело смеясь, ревел с кошевки Тимоха.

— Зенон Францевич, нерповать надумали?— поздоровавшись, спросил Магдаулев.

— Нет, Ганя. Какой из меня стрелок. Хочу сфотографировать зверя. Да, может быть, Тимофей упромыслит одну-две нерпы на чучело.

— А остальные бригадники куда попрятались?— спросил Тимоха.

— Уехали нерпу сдавать. Я один охочусь. Завтра прикатят.

— Значит, мы, как бары, ночуем в вашей палатке,— усмехнулся Сватош.

— Хорошее дело! Давай, корми, Ганча, нас. Мясо-то сварил?

— Есть. Хватит этого добра.

Утром Тимоха с Магдаулевым уехали промышлять нерпу. Сватоша они оставили у гнездовой дыры, у которой вчера Ганька видел матку с нерпятами. Сватош спрятался за высоким торосом и терпеливо ждал появления зверей.

Под ярким апрельским солнцем торосистая поверхность моря вся горела, искрилась мириадами больших и малых звездочек, золотисто-розовых «незабудок». Голубовато-прозрачное марево легкими волнами плыло и плыло от легкого дуновения едва заметного теплого ветра.

Зенона Францевича отвлекла стайка каких-то малю-

сеньких пичужек, перелетавших через Байкал. Пока он провожал их взглядом из воды на лед, неуклюже упираясь лапами, вылезла матка, а за ней два ее детеныша.

Матка время от времени высоко поднимала лоснящуюся на солнце круглую головку с большими, смолянисто-черными, какой-то неземной глубины глазами, озирала окрестность. Не заметив опасности, матка роняла голову и начинала нежиться под яркими лучами апрельского солнца.

А нерпята и в ус не дули — спали себе безмятежным детским сном. Под серебристым волосяным покровом, как и у всякого живого существа, завелись крупные вши. Они больно кусаются. Нерпенок сквозь сон царапается коротенькими ластиками, но разве ими достанешь до спины, где зудится, горит нестерпимо. Он переворачивается на спину и изо всей мочи начинает елозить на ноздревато-колючем весеннем льду. Зловредные вши оставляют его в покое. Зуд постепенно успокаивается, и нерпенок продолжает наслаждаться бытием под боком у матери да еще и под ласковыми лучами солнца.

Зенон Францевич улыбается, а сам зорко наблюдает, не упуская из виду ни единого малейшего движения зверей. Все записывает и записывает в толстую, с клеенчатой обложкой, тетрадь. Когда матка меняла положение своего жирного тела, его фотоаппарат успевал щелкнуть. Это не пугало зверей. «Треснула льдинка в соседнем торосе», — наверное, думала нерпа.

Сватош так увлекся наблюдением, что не заметил, как солнце обошло полуденную черту и стало светить ему в лицо. Он взглянул на часы. Время — без пяти три. Осторожно достал из кармана завернутый в чистую салфетку кусок хлеба. Только было принялся за еду, в сторонке раздался выстрел. Матка соскользнула на воду и скрылась подо льдом. Нерпята неохотно последовали за ней.

Минут через несколько подъехал Магдаулев.

— Помешал вам?

— Нет, Ганя, я все сделал. Такими снимками всех удивлю.

— Это хорошо. А для меня сделаете? Я бы одной девчонке отправил. Она сроду не видывала нерпу.

— Можно. А Тимофея где оставил?

— Он уже давно на таборе. Обед готовит.

Сватош уселся рядом с Ганькой, и они поехали к табору.

— Зенон Францевич, я слышал, что новый директор совсем неграмотный человек. Это правда?

— Ну, допустим, что правда. Где грамотеев-то наберутся... Зато помощник у него малограмотный... Наверное, знаешь Харламова?

— Знаю. Очень даже. Сволочной он человек. Вы, Зенон Францевич, дальше от него держитесь. Скажете про кого-нибудь так, а он перевернет да добавит... К тому же он браконьер. А вообще-то, кому это взбрело в голову снять вас с директорства?.. Все же знают, что вы и заповедником руководили хорошо; научная работа, наверное, не хромала.

Сватош хмуро посмотрел на Магдаулеву.

— Видишь, Ганя, теперь у меня времени больше. Вот, например, изучаю биологию нерпы, а до этого не мог.

— А разве нерпа имеет отношение к заповеднику? К ее зверям?

— Мы должны изучать не только обитателей заповедника. Животный мир Байкала изучен совсем мало. Вот и хочу свою долю внести в это дело.

Тимоха уже давно освежевал свою добычу. Отщипнул от лиственничного полена палочки, выстругал рожки и перед пылом жаркого костра зажарил шашлык. Вскипятил чай, крупными ломтями нарезал хлеб. Ждал товарищей.

Увидев зарумянившееся на рожне мясо, Сватош с Магдаулевым поспешили сесть за крохотный походный столик.

* * *

Ефрем Мельников со своей Катериной с наступлением весны перекочевали в вершину Золотого ключа.

В длинные зимние вечера Ефрем выдолбил себе лоток для промывания золота. Кирку и лопату прихватил еще из дома.

Привела Катерина своего мужа к высокой скале и неуверенно ткнула пальцем куда-то вниз. Скала высокая, увивается в небо. Из-под нее не меньше двадцати бурных ключей бьет. Некоторые из них горячие, некоторые холодные, что твой лед. Но вода во всех прозрачная, — детская слезинка.

Три дня Ефрем терпеливо промывал породу, а толку

никакого. К вечеру четвертого опустились руки. Отшвырнул он в сторону лоток и пошел на стойбище.

— Вот ведь, сука тунгусская, обманула меня! — ругал он Катерину. — Нарочно заманила к себе этим золотом.

Рядом со стойбищем из-под колоды выскочила собачонка. Хвост между ног, шерсть на загривке поднялась, трусливо жметя к ногам.

Ефрем насторожился.

«Чего это псина испужалась?» — только подумал, вышел на поляну и опешил.

Чум был весь раскидан, разворочен, где клочки, где шерсточка валялись.

— Катя!.. Ка-а-тя-я! Катюша! — заревел он. «Ка-а-тю-юша-а!» — ответило ему стоголосое эхо тайги, и снова тишина. Ефрем с ревом обежал вокруг чума и никого не нашел. — Катя! Ка-а-тя-я!

Он выстрелил в небо. По тайге победно прогремело эхо выстрела и замерло.

Недалеко от разрушенного чума, за чашобой ельника, затрещало, раздался тяжелый топот.

Мельников передернул затвор и кинулся на шум. Под могучим кедром лежала раздетая догола княгиня Катерина. Медведь словно полюбовался телом женщины и утопал восwoяси. Неизвестно, чтобы он стал делать с Катериной, если б не выстрел Ефрема, угнавший зверя... Ни единой царапины на теле не было, будто притомилась и прилегла отдохнуть. Видать, сердце не вынесло испуга — перестало биться. Моложавое лицо княгини лишь слегка тронул холод смерти...

Похоронив свою Катерину, Ефрем шагал по морю в сторону Устья. Майский лед на Байкале стал ноздревато-колючим. Там и сям виднелись таборы нерповщиков. Слышалась частая ружейная стрельба. На ночь Ефрем заходил к охотникам. Приют и пищу находил у угрюмых, молчаливых поморов. Отдохнув, шел дальше.

На седьмой день он почувствовал резкую боль в ногах. Отбил их на твердом льду. Шел, шел, присел, а встать не смогли. Лег и лежал пластом.

«Кто-нибудь из нерповщиков скрадет меня вместо старого аргала¹, — горько подумал он. — Э-эх, черт, коня и того задавили волки. Не везет...»

¹ А р г а л — тюлень-самец.

Вдруг раздался громкий окрик, а затем донеслось цоканье подков с острыми шипами. Взглянул и, облегченно вздохнув, сел.

На молоденьком жеребчике подлетели к нему два нерповщика.

— Здравствуй, дядя Ефрем!

— Ты чего это? Заболел?

— Здорово, молодцы! А вы чьи будете?

Парни сняли темные защитные очки.

— Э, паря, свои люди! Помогите, сынки, подняться.

С помощью парней Мельников уселся на душистое сено в передке огромной кошевки, в задней половине которой лоснились темно-серебристые туши тюленей.

— С промыслом, ребята.

— Спасибо, дядя Ефрем. К нам на табор поедешь или куда?— спросил Магдаулев.

— В Устье накопытился. Можете, дык подвезите сколько-нибудь.

Парни переглянулись. Ганька решительно сказал:

— Петро, ты охотой иди в сторону табора, а я повезу дядю Ефрема.

— Давай, дуй, Гань. Чево раздумывать-то, не пропадать же старику.

Грабежов отвязал свои нерповые саночки, забрал с кошевки винтовку и пошагал в обратную сторону.

— Э-ге-гей! Гринька! А ну с ветерком!

Магдаулев направил коня в сторону синеющего вдали верхнего изголовья Святого Носа. По шаху сани катились с такой легкостью, что конь бежал без малейшего усилия.

Сначала Мельников сидел молча. Потом спросил:

— Ганя, а меня не турнут туда, где?..

— Но-о!.. Ты чо это?!

— А в рыбзаводе примут на работу?

— Конечно. Ты же, дядя Ефрем, мастер по снастям. Мельников мотнул головой. Повеселел.

— Ты это как пешком-то оказался?

Ефрем рассказал о гибели княгини Катерины. О звзрях. О золоте — мечте несбывшейся, которая едва не погубила его самого.

Часа через три быстрой езды они нагнали знакомых нерповщиков, везущих нерпу на приемный пункт, который находился на Святом Носу.

Мельников пересел к ним. Жестом подозвал Ганьку.
— Ты помнишь зимой мне байл?.. Черкни в БурЦИК, может, и возвернут мне дом-то.

— Ладно. Напишу, дядя Ефрем.

Мельников как-то вдруг сник, сморщился и поспешил спрятать лицо. Нерповщики тронулись дальше.

Солнце повисло над далекими гольцами. Громадное торосистое поле Байкала порозовело. Пологие лучи солнца ласкали нерпу. Она заспалась, занежилась — это была жирная маточка. А рядом с ней лежал матерый, центнера на полтора весом, самец. Он охранял покой себристистой подруги. Самец часто поднимал черную лоснящуюся голову. Огромные круглые глаза зорко всматривались в окрестные тороса, не заметив опасности, он успокаивался и начинал неуклюже царапаться передними лапами, но это мало помогало. Вши продолжали допекать его жирную спину. Аргал переворачивался кверху брюхом и начинал спиной елозиться о шершавый лед. Тяжело пыхтел и громко выпускал «порченный воздух».

А тем временем Магдаулев, спрятавшись за белым паруском, скрадывал эту парочку. Взглянув в смотровую цель паруска, определил расстояние. Просунул в щель винтовку, уложил ее надежнее на перекладину рамки, не спеша снизу вверх подвел мушку под зверя и плавно нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Вскочил из-за паруска, — зверь лежал пластом. Это была восьмая нерпа за день.

Довольный удачной охотой, Магдаулев повернул лошадь в сторону табора.

Подъезжая к табору, Магдаулев увидел статного коня председателя, который забил копытами, зафыркал, заржал на привязи.

Анкоуль легко выскочил из-за низенького столика, на котором лежала грудa отваренного нерпичьего мяса, подошел и заглянул в кошевку.

— Самойлов! Мотри-ко она чо делает! Целый воз нерпы ташил, варнак! — радостно завопил бригадир.

Председатель поздоровался. Расплылся в улыбке.

— И сколько стало на твоём счету? — спросил он.

— Девяносто.

— Ого, брат, да ты настоящий снайпер!

Анкоуль хлопнул Ганьку по плечу.

— О-бой! Худой он парень. Нас обижат. Мы двое не можем его догонять. Худой чипко!

Самойлов рассмеялся. Он был рад — не подвели охотники, выполнили план добычи морского зверя.

Анкоуль вдруг нахмурился.

— Ты, Семен, зови в контору Бодоула, ругай его. Парень молодой, глаза острые, а нерповать не хочет.

— Да. Он где-то по тайге шастает. Ужо я его вздую, варнака, — пообещал Самойлов. Из своей кошевки достал он куль.

— Мать гостинцев послала, — подмигнув, подал письмо. — От Туяны. Я ее встретил в Баргузине. Губа-то у тебя не дура!

Глава одиннадцатая

Племянник Куруткана Бодоул завез семью Алганая в страшную глушь — за ущелья, ехали через темные гроты в неприступных скалах. Остановились в небольшой чашине — километров пять длиной и два шириной. Она огорожена высокими горами, вершины которых дыбятся зубчатыми с отвесными стенами скалами. Сюда можно попасть лишь через узенький темный грот. В чашине отдельными массивами рассыпались сосновые боры и кедровники. Сосняк на солнцепеке, лиственницы в сиверах, а кедровник вдоль речки. Между ними большие ровные поляны, на которых пасутся домашние олени и табунок лошадей.

В ближнем лесочке спрятался большой чум Куруткана, а рядом три охотничьи юрты. В одной из них переночевали Алганай и Цицик.

Утром, после завтрака, Цицик вышла во двор.

Около толстого засохшего на корню кедра стоял мужчина средних лет и неумоимо кидал и кидал нож в соседнее дерево. На дереве, острым топором был вырублен большой затес. На золотистом «зеркале» затеса нарисован круг наподобие человеческого лица. Цицик заинтересованно подошла ближе. Нож красновато сверкал в воздухе и звонко вонзался то в один, то в другой глаз.

Увидев Цицик, человек снял шапку и с каким-то неподаждаемым изяществом раскланялся перед ней. Цицик поздоровалась.

— Вы умеете так приветствовать даму! — смеясь, сказала она.

— О, еще бы! Нас учили этому с детства. Знаете, как школили в богатых дворянских семьях.

— Значит, вы бывший дворянин?

— О, да — бывший! Вот именно бывший, а теперь ваш покорнейший слуга и, если позволите, вернейший ваш рыцарь!

Из-под красивых бровей на Цицик смотрели зеленые глаза. Губы изогнулись в улыбке, а холодная зелень, спрятавшаяся в густых ресницах, будто студеным хиузом¹ пронизывала ее.

Девушка вздрогнула. С усилием подавила в себе неприятное впечатление.

— А это зачем нож бросаете?

— Тренируюсь. Смотрите!

Новиков ловко кинул. Сверкнув на солнце, нож впился в глаз рисунка.

— Ой!.. Зачем в глаз?

— Да так, для точности.

— Не надо в глаз.

— Надо. Возможно, что придется защищать вас... Извините, не знаю вашего имени.

— Цицик мое имя. Но меня защищать не надо. От кого же!..

— Святая наивность! Рано или поздно заявятся сюда большевики. Будет смертельная схватка. Пощады от них не ждите. Но я своей грудью защищу вас. Только через мой труп...

— Я не верю в это... Но... Нет, все равно, большевики хорошие есть.

— Эх, дитя вы! — Новиков вздохнул. — Завидую вашей детской душе — ни злобы, ни ненависти, видать, в ней нет. А на нас две жесточайшие войны сильно повлияли, чего греха таить — огрубели до неузнаваемости, — махнул рукой, сморщился, опустил глаза.

Цицик сделалось неудобно.

— Да... война худо... да... убивали и калечили.

— Вот именно. Но ничего не поделаешь! А вы умеете стрелять? Я могу вас обучить, — переменял разговор Новиков.

— Стрелять умею, — Цицик достала из-за пазухи револьвер.

— А ну-ка в глаз...

¹ Хиуз — холодный ветер.

— Зачем? Это страшно. Мне пятно намалуйте.

Новиков развел руками. Подошел к дереву и углем начертил кружочек с заячьей головой.

— В пятно я могу! Смотрите,— Цицик выстрелила по цели. И тут же повторила еще два раза.

Новиков подошел к дереву. Снисходительно улыбнулся.

— На близком расстоянии можете убить человека, а дальше обязательно промахнетесь. Могу вас, мадемуазель Цицик, тренировать. Из вас выйдет толк.

— Убить человека могу? Ой, нет!

Жена Куруткана Чолбон так обрадовалась прибытию в их стойбище женщины, что первые дни не отходила от Цицик, все расспрашивала, как живут люди в колхозах.

— ...Куруткан мне говорит, что в колхозе все общее, даже бабы и те, как скот, стали общими. Кто с какой захочет переспать, с той и ложится.

— Наверное, он шутит, ты не верь ему. Я бы пошла работать в колхоз.

— Только твоими руками и делать черную работу,— усмехнулась Чолбон, не без зависти разглядывая руки Цицик.— А зачем тогда вы сбежали от Советов?

Долго в замешательстве разглядывала Цицик свою собеседницу, а потом выдавила:

— Боялась за отца... Он сидел в каталажке... Его должны были судить и посадить в тюрьму.

— А за какие дела?

— За поджог колхозного склада. Шаман Хонгор сказал мне, что за это дело расстреляют моего бабая. Вот и решила...— Цицик сникла вся, глаза наполнились слезами.

— Да-а, шаман... Этот боо Хонгор правду, видно, сказал. Куруткана тоже собирались судить. Он ведь чуть не застрелил человека, которого послали Советы отбирать наше добро! О-бой! Куруткан-то мой злющий! Скот свой разогнал по степи, чтоб не достался людям. Лавку спалил. Много добра сгорело. Все поломал, перековеркал, ничего не оставил большевикам. Первый раз, как мы побежали в тайгу, нас изловили... Его судили, потом повезли в Верхнеудинск. Я догнала их в Катковой на добром коне, ночью помогла Куруткану. Теперь-то мы в надежном месте. Кругом скалы. Одна дыра в камнях для выхода. Правда, еще и запасной есгь, но никто не знает.

— А ты-то знаешь...— нехотя, так, между прочим, спросила Цицик.

— Я? Знаю. Куруткан знает, а больше никто,— сказала, спохватилась.— Ты, Цицик, не проговорись. Куруткан убьет меня,— с дрожью в голосе попросила Чолбон.

Цицик сразу переменяла разговор.

— Зачем Куруткан так сделал?— девушка покачала головой.— Мы с бабаем сами отдали все лодки, снасти, скот, дома, амбары... У бабая в Иркутске была рыбная лавка. Богатые мы были. А вот я помогала партизанам.

— О-бой! С ума спятила или влюбилась?

— Мой жених Кеша Мельников был большевиком.

— А-а! Но понятно! Любовь-то чего не заставит сделать. А сейчас кого любишь?.. Наверное, много у тебя мужиков?

— Да ты... как язык-то у тебя?.. Я не-е,— Цицик покраснела.

— К тебе-то любой мужик прилипнет. Увидит тебя, и сердце огнем пыхнет у бедняги. Я не видывала такой красивой, как ты. У бурят есть сказка... Там лебедь-девушка, похожая на тебя, тоже синеглазая. Буряты ее считают своей прародительницей. А лебедь-птицу — священной. Я однажды сама видела, как бурят целовал следы улетевшей лебедицы, как он ползал рядом с этими следами, чтоб не затоптать их... Долго он молился. И мне это очень понравилось — молиться такой чистой, прекрасной птице! Ведь они однолюбы... эти лебеди... Один из пары погибнет, второй уж не погрязнет в грехах, как мы делаем...

Цицик улыбнулась.

— Я эту сказку знаю. Она длинная, длинная. Боо Хонгор как начнет рассказывать вечером, кончает на утренней заре.

* * *

В Таськимо, на этот раз не у Грабежова, а у Анкоуля, матерая медвежатница задрала к небу острую морду и протяжно завывала. Хозяин глухо застонал, в отчаянии рванул волосы и заметался по двору.

Из избы слышался стон, стенания. Вторые сутки мучилась, не могла разродиться жена Анкоуля Цыпил.

Не хотел Анкоуль кланяться родне Куруткана — Лэ-тылкэк, а страх за жену и ребенка погнал его к знаменитой на все Подлеморье повитухе. Что та сделала, одной

Лэтылкэк известно. Откуда знать Анкоулю, что сотворила старая с его бедной Цыпил. Зажав уши, чтоб не слышать стонов жены, он стоял на дворе. Потом до него донесся крик ребенка...

Тяжелые были роды. Если бы не Лэтылкэк, то Цыпил наверняка погибла бы. Не видать бы Анкоулю ни любимой жены, ни сына, который, вдоволь накричавшись, лежал рядом с матерью. Анкоуль это знал хорошо. Поэтому, проводив повитуху до ее чума, в радости сказал ей:

— Лэтылкэк, я в вечном долгу перед тобой, скажи, что тебе надо, я исполню.

— Ничего не надо, Анкоуль. Дай бог твоей семье благополучия, а тебе счастья на охотничьей тропе. Дай слово... — Лэтылкэк запнулась, замолчала.

— Говори же, говори! Я все исполню! Даю слово настоящего эвенка! Если я нарушу данное слово, то пусть застрелит меня по закону тайги твой сын Бодоул.

Лэтылкэк молчала.

— Говори! Говори, спасительница моего сына!

— Ты знаешь, что случилось с моим братом Курутканом? — старуха от напряжения закашлялась.

— Разве Куруткан тебе братом доводится? Я не знал. Все думал — далекая родня. Он богач, а ты бедная.

— Двоюродный брат. Сам знаешь, по-эвенкийски — тот же брат родной. Жалко беднягу. Прошу, Анкоуль, тебя, если ваши тропы сойдутся где, то не выдай его властям.

Анкоуль долго молчал. Потом, тяжело вздохнув, твердо сказал:

— Ладно, Лэтылкэк... Даю слово хамнигана¹ — от меня пусть не ждет Куруткан беду. На его тропе ноги моей не будет. А если доведется нам столкнуться в тайге, то свою тропу я протяну дальше, без злого умысла, без беды для Куруткана.

* * *

Вот и июнь начался, а в Таськимо только что закончили сев овса и картофеля. Про пшеницу и говорить нечего — не вызреет, да и где сеять-то — тайга подступила к поселку сплошной стеной. Недаром Анкоуль называет Таськимо — «дырка в небо».

¹ Слово хамнигана — слово лесного человека.

Еще вечером на море белели льды, они простирались далеко, далеко в море. Ночью со свистом, с подвыванием налетела «ангара» и оттащила льды на середину Байкала.

Утром глаз уже ласкала шелковая гладь воды. Ее нежная голубизна спорила с небесной лазурью. И к полдню все ж переспорила: все не отрываясь, изумленно смотрели на это синее чудо природы. Даже собаки и те не гавкали; они осторожно подходили к воде, как к священному сосуду, лакали и, поджав хвост, отходили на песок и ложились мордой к морю. На хмурых лицах старых рыбаков разгладились морщины. Так пришло новое лето.

Плотники начали строить дома для семей эвенков. Подвезли и к большому дому Алганая лес. Решили расширить школу и интернат. Самойлов носился как угорелый. Нет гвоздей, нет стекол, нет печных дверей, выюшек, а строители требовали: роди, да дай.

Со стороны заповедника, близко прижимаясь к берегу, шел катер. Необычно, как-то по-воровски, он вынырнул из-за мыса и подошел к пирсу. Даже вездесущие мальчишки опоздали встретить первое судно в новой навигации.

Люди рыбачили на плесах Подлеморья с хайрюзовыми сетями, поэтому в поселке было безлюдно. Дома остались плотники да нерповщики.

А шутник дед Тымауль спрашивал Анкоуля.

— Сына родил? Эка бедный, каково тебе было!..

Анкоуль все же собрался пойти в море на охоту в лодочную¹, позвал в напарники Магдаулева и Грабежова. Радость так и клокотала в нем. Весело напевая, он крутился около лодки — подгонял рамку с белым паруском, за которым охотники вместе с лодкой укроются от чуткого зверя.

Магдаулев возился с легкими веслами. Ведь ими придется грести не одну сотню километров. А Петька строгал доски для палубы. Приход катера оторвал их от работы. Они подошли к пирсу.

С катера сошел зампред Голубев. За ним следовал Монка Харламов.

На широком, холеном лице Голубева весело посверкивали глаза — две бирюзовые пуговики. Улыбаясь, он подошел к Анкоулю.

¹ В лодочную — охота на нерпу с лодки.

— Здорово, друг мой!

— Здоров, здоров!— Анкоуль, словно мальчонка около дородного начальника, пытливо заглянул ему в глаза.

— Ты начальня, пошто так хитро подъехала? Мы катер смотрель в море, а ты будто из тайги нырял.

— Да, вот заместитель директора заповедника товарищ Харламов знакомил меня со своими владениями.

— А Сватоша пошто долой гонял?

— Да ты что, друг мой! Кто его гнал-то? Это с утверждения райкома партии... Это ж Трофим Изотыч Воловик сказал свое твердое слово: «Пусть, грит, Зевон Францыц научную работу ведет над сободем. А хозяйственные заботы да борьбу с браконьерством передали Анохину да Харламову, там большой головы не надо. Понял?»

Голубев пожал плечами.

— Мы ж, Анкоуль, люди подчиненные, что прикажет райком партии — для нас закон. Мы исполнители воли народа и партии. А где я найду товарища Самойлова?

— Он гвозди, стекла искать убежала.

— Ну, что поделаешь,— повернул толстую шею к Ганьке.

— А у тебя, Магдоулев, как дела с учебой?

— Зимой был в Верхнеудинске. Приняли на первый курс педтехникума.

— Это хорошо! Молодец!.. Заочником, наверное, учителей-то нет.

— Да. Скоро поеду в город зачеты сдавать. Вы, Александр Никодимыч, поможете нам,— лес подвезли к школе — нету плотников и со строительным материалом у нас дело дрянь.

— А свои-то плотники что делают?

— Дома строят для эвенков.

— Во! Правильно! Сейчас у нас развернулась по всей стране культурная революция,— бирюзовые пуговки-глазки на красном лице Голубева загорелись вдохновением.

Анкоуль замахал руками, затряс головой.

— Это хорошо, товарищ председатель. Только наши этыркены¹ не будут в доме жить — в чуме останутся.

— А для чего же в поселке вы, коммунисты и комсомольцы?.. Ты, Анкоуль, и ты, Магдаулев,— научите эвенков жить культурно, мыться в бане. Поняли?!— Голубев прокашлялся и продолжил:— Значит, Самойлова нету?

¹ Этыркены — старик (эвенк.).

Ну, хорошо, я постараюсь вам помочь. В Баргузине найду хороших плотников. Гвозди, стекла и разное «шурум-бурум» тоже найду. Ну, пока!

Голубев с Харламовым быстро зашагали в поселок.

В ожидании начальства катер «Ленинец» дымил у пирса. Голубев с Харламовым беседовали на песчаном берегу, уединившись от людей. Рядом лежали коровы, жевали жвачку, тяжело пыхтели от чрезмерной сытости.

— ...Ты, Монка, выследи, куда пойдет Сватош в новый маршрут.

— А зачем, Лександр Никодимыч?

Голубев покачал головой.

— Забыл наш разговор? Ну, еще раз повторю тебе — дуралею, Сватош сейчас изучает кормовую базу соболя в заповеднике, мышей и прочую тварь, урожайность кедровых шишек. Вот и надо его там выследить, как перейдет на новый участок, в этот момент разыщи его кострище и рядом с ним... Хорошо бы, если подует ветерок, да размахнет пожар... Тогда бы Сватошу несдобровать.

— Понял, Никодимыч.

— Да, если все это случится, то составь акт на него. Акт направишь в аймисполком, мне.

— И тогда Сватошу припишете вредительство?

— А это тебя не касается. Ты свое дело делай, да помалкивай. И никаких разговоров. Понял? Нужен пожар, да такой — на ползаповедника...

Новикова будто подменили. Побрился, надел чистую одежду. Долго разглядывал себя в зеркальце, взятом у Чолбон. Оттуда смотрел совсем незнакомый, морщинистый, с колючими, зелеными глазами, человек. Новикову стало неприятно, он сморщился, словно от зубной боли. «На разбойника с большой дороги похожу... Где же тот юный кадет Стренге, который с ума сводил девчонок?.. Которого уговаривала княгиня Черкасова бежать за границу... Э-эх, безвозвратно кануло все! Ну, попробую подкатить саночки под эту синеглазую — удивительную иронию природы!»

Новиков вошел в юрту Алганая и галантно раскланялся.

— Проходи, гостем будешь, сосед, — пригласил хозяин.

Цицик поздоровалась и продолжала рыться в сумочке с нитками.

— От Советской власти ушли в тайгу? Значит, чем дальше, тем хуже становится? Я так и думал. Еще не то будет, господин Алганай. Скоро начнут всех подряд в тюрьмы сажать, расстреливать, голодом морить, даже не таких богатых, как вы. Вы хорошо сделали, что прибежали к нам. Хоть убежище убогое, но зато надежное.

— Верно, сосед, только бы живыми остаться.

— Ничего,— продолжал Новиков,— скоро с востока пойдут в наступление японские дивизии, с ними армия атамана Семенова и большевикам придет конец.

— Нет! Большевики японцев били, прогнали Семенова, а теперь опять всех побьют!— Цицик поднялась.

Новиков вскочил на ноги, развел руки.

— Да вы что?.. Шутите?! Смеетесь?!

Цицик покинула юрту.

— Не-е, паря, пусть я буду в черной юрте жить, а войну не нада. Была война — атаман Семенов воевала с партизан... с Красной армией... Худо было. Тогда в Баргузине офицер Стренге убил моего зятя... Цицик сейчас плачет,— Алганай сокрушенно мотал массивной головой.

При слове «Стренге» Новиков улыбнулся. «Ты бы знал, что рядом с тобой сидит бывший командир карательного отряда ротмистр Стренге, тогда бы не так разговаривал».

— Мужа Цицик убили?— построжав, спросил офицер.

— Не-е, жениха ее... Кешу Мельникова.

Новиков вздрогнул, долгим взглядом впился в собеседника. Перед ним из тумана давних лет появились большие, голубые глаза Иннокентия Мельникова...

Алганай заерзал, отвел взгляд в огонь очага.

«— Злые глаза! Права Цицик! Злые! Злые! О-ма-ни-пад-ме-хум!»¹»

* * *

Шаман Хонгор сидел под деревом с большим затесом, на котором зияли истыканные кортиком глаза. Увидев Цицик, подозвал к себе.

— Что, доченька, не сидится в юрте?

— Да-а, там этот Новиков болтает... тошно слушать.

¹ О-ма-ни-пад-ме-хум! — О, сокровище лотоса!

— Вижу страдание в твоих глазах, терпи, терпи.

Цицик хотела что-то сказать, но промолчала, села на колоду. Шаман тихо заговорил:

— Слушай, я давно собирался сказать тебе свою тайную задумку, но как-то не удавалось, да и в Таськимо было не до этого,— Хонгор положил трубку в кисет, нахлобучил поглубже шапочку.— Я уж старик, одно хочу — счастливой тебя увидеть. Надо подыскать тебе мужика, от которого ты родишь нам внука.

У Цицик было черным-черно на душе, но последние слова рассмешили ее. Она улыбнулась.

— Это кого же ты намечаешь мне в мужья?

— Хотя бы того же сына Волчонка — Ганьку. Ведь в его жилах течет кровь монгольского князя Табангута, который был женат на дочери Чингисхана. Поняла откуда веет? О том даже сам Ганька не подозревает, а боо Хонгор знает. Ведь не даром я учился у боо Аргала, а учителем моего благодетеля был великий боо Шоно-Батор. А тому долбил башку о старине, о монгольских ханах, сам Бал-Тимур. Вот откуда я знаю. Поняла? Не простой муж у тебя будет — княжеского рода.

Цицик повеселела — рассмешил старик болтовней своей.

— Придется и верно породниться с Чингисханом!

— Не смейся, дочь Алганая.

— Уж как не засмеешься — откуда же попал в тайгу князь Табангут-то? Ветром принесло сюда?

— Хо! Ветром! Тот князь Табангут приезжал со своими баторами в вершину Баргузина, в местечке Биранхур было у него стойбище. Там он собирал ясак-дань с тунгусов для монгольского хана. Поняла? Он наводил ужас на всю тайгу — попробуй не заплати положенного сободем или другой пушниной... В один из наездов Табангут погиб в бою... Жена же его, Табангута, с детишками спаслась и притаилась в Баргузине; Волчонок-то, Ганькин отец, ей доводился праправнуком. Теперь, вот и смейся над своим бедным боо Хонгором.

— Но, как я могу быть женой Ганьки? Ведь я его люблю как младшего братишку, и только. А потом, я слышала, что у него уже есть девушка. Не-ет, боо Хонгор, оставь свои мысли при себе.

Шаман и слушать не желает, продолжает долдонить свое:

— Говорю тебе правду истую. Только роди, а уж

я сумею из твоего сына сделать сильного духом и телом батора. И сумею вдолбить тому батору ненависть к врагам нашим. Ведь ты помнишь поселенца Лобанова. Он из твоего Кешки сделал большевика. А Кешка-то был купеческим сынком, так? И опять же — Лобанов Ганьку, звереныша нищего, сделал грамотеем и комсомольцем. Скажи Ганьке: «Иди насмерть за Советы» — пойдет. А я, думаешь, хуже того Лобанова? Не сумею сделать из твоего сына нового потрясателя вселенной? Хо! Вот увидишь, сделаю! Будет тебе Чингисхан Второй! И он, твой сын, мечом своим прольет реки крови, порушит все русские города, китайские фанзы посожжет, герману спустит штаны... А на месте городов и больших селений вырастет тайга густая; заведутся в тех лесах звери разные. И хозяевами будем мы сами, истинные жители Сибири. Сохраним посеянную богом тайгу, сбережем свой Байкал. Но только через кровь, через огонь придет на землю очищение.

Цицик сердито махнула рукой.

— Боль, боль!¹ Боо Хонгор! Вы все посошли с ума! Ты всегда хвалил свою шаманскую веру, говорил, что она приносит людям только добро, только мир и благодать. А теперь ты призываешь погибель на города и села, на головы людей иной веры. Нет, боо Хонгор, это страшно! Это... Ох, как тебе и сказать-то? Даже слов-то не подберу. Вы сумасшедшие! Вот поэтому-то я и уйду от вас... Меня не удержат эти глыбы каменные...

Шаман Хонгор ссутулился, сидел черный, непроницаемо спокойный. Толстые, дряблые веки закрыли беледые глаза, но Новикову казалось, что шаман прекрасно видит и через эту коричневую толщу.

У Хонгора горело все нутро, обливало кровью сердце, оно готово было выскочить вон. Его мучила ревность. Этот ловкий офицер Новик не отходит от Цицик. Вьется ужом вокруг нее. Чего доброго, еще и соблазнит синюю лебедь-девушку. Да, слава небожителям! Словно в осеннюю студеную ночь застыли глаза девушки, покрылись льдом и ничего не видят. Не видят и вертявого Новика.

«А может быть, это бабья хитрость?» — спрашивал шаман у небожителей.

¹ Боль, боль! — Перестань, перестань!

Как покинули они Таськимо, будто иглу проглотила девка. Сердце боо Хонгора вещует недоброе. Тревога, боязнь потерять что-то дорогое — не отступает ни на минуту.

Попыхивая трубкой, в переднем углу восседает как истукан, молчаливый, суровый Куруткан. Так он может просидеть бог знает сколько времени, пока не подойдет к нему и не обнимет нежными руками юная Чолбон.

С того дня, когда у него конфисковали скот, добро, он стал каким-то безразличным и ушел в себя. А ведь каким он был богачом! Далеко, далеко переплюнул своим богатством даже самого Гантимура — великого князя всего тунгусского народа.

— Слушай, Хонгор, откуда же это у Алганая такая славная дочка взялась? Наверно, к постели его жены подкрадывался какой-нибудь чужак?

Хонгор злобно взглянул на Новикова, но тут же на загоревшиеся ненавистью глаза упали тяжелые веки.

— Шалтай-болтай худо есть! Цицик бог послал бурятам Ольхона. Она родить будет нового Чингисхана. Он, Чингис-то, воевать будет. Бить будет всех: бить русска, бить япона, бить германа. Всех, всех! Он, Чингисхан-то, снова кровь лить будет. От Утреннего моря до Последнего моря силой своих баторов потрясет мир!

Новиков хлопнул шамана по плечу.

— Это мне по душе! Ты, брат, молодец! Не то, что господин Алганай. Правильно говоришь, бить надо всех без разбора, а большевиков в первую голову уничтожать. Эй, Куруткан! Смотри-ка на него! Ведь в чем душа держится, а какой дух! Какая ненависть! Вот таким бы был наш монарх — его императорское величество царь Николай Второй — он бы в бараний рог загнул большевиков. Эх, и барон Стренге сейчас не сидел бы с вами в этой вонючей норе.

— Барон Стренге?! Ты барон Стренге?!

Новиков спохватился, но было уже поздно.

— Что, не веришь, Хонгор? — спросил Куруткан. — Да, это тот барон Стренге, который хорошо бил баргузинских большевиков. Это он отправил на тот свет жениха Цицик.

— Ты убил Кешку Мельникова? — с дрожью в голосе спросил шаман. — Ты?! Ты настоящий батор!

Новиков мотнул головой.

— Только молчи, Хонгор. Забудь, что я барон Стренге.

— Ладно! Ладно! А то Цицик тебя стрелять будет.

— Кроме Цицик я в этих краях многим насолил. Поэтому я — Новиков, новую шкуру надел.

Шаман Хонгор протянул к Стренге дрожащую руку и сипло проговорил:

— Ты теперь мой сын! Ты хороший! Я для тебя все сделаю!

— Цицик за меня замуж выдай.

Шаман испуганно замахал руками.

— Цицик трогать не нада! Шаманский бог убить будет тебя.

Новиков расхохотался.

— Смеюсь, святой отец. Я лишь побалуюсь с ней. Моя жена — винтовка! А сестра — темная ночь! Нечего лежать в этих норах! Надо убивать коммунистов, жечь хлеб, сено, скот травить, сопливых комсомольцев уничтожать! Всех, всех! — Стренге стал страшным, будто бешеная собака, только спусти ее с цепи. Он с пеной у рта продолжал: — Людям надо говорить, что скоро придут японцы, атаман Семенов. Что они распустят колхозы, дадут людям свободную жизнь...

* * *

Куруткан с Новиковым куда-то исчезли. Из дымной юрты шамана слышалось монотонное пение, порой тайгу оглашали злобные выкрики, визг. Посредине юрты горит костер, над которым в своем пестром одеянии, под звуки бубна, шаман исполняет священный танец «боохатар».

В юрте всего двое молящихся — Алганай и Чолбон. А Цицик наотрез отказалась идти к шаману. Ей все опротивело. Еда не идет, не до сна стало. Все чаще думает о смерти... Зачем эта жизнь — непонятная, страшная, среди озлобленных людей. Еще этот Новиков... Он не сводит с Цицик похотливых глаз, надоедает объяснениями в любви. Хонгор преследует своей болтовней о божественной миссии Цицик на земле, что она не должна связываться с простыми смертными мужиками. «Будет у тебя муж, посланный небожителями, от которого родишь Чингисхана Второго — потрясателя вселенной!» — надоело гнусавит шаман.

Цицик раньше смеялась над бредовыми речами шамана Хонгора. Но в последнее время ей стало тошно слушать полусумасшедшего старика. Все надоело ей. Куруткан до хрипоты кричит — костыляет Советскую власть и коммунистов. Цицик пыталась возражать ему, но всякий раз вынуждена, зажав уши, отходить от него, потому что Куруткан с визгом вскакивал на ноги и, размахивая руками, вопил одно и то же.

Алганай вошел в юрту, кряхтя опустил на колени перед крохотным золотым Буддой-Амитабой, который восседал на дощечке, воткнутой в паз между бревнами.

— О-ма-ни-пад-ме-хум! Смилуйся, прости ничтожного раба своего Алганая за то, что он двояковерующий: молится тебе и молится богам черной шаманской веры.

Цицик налила в большую деревянную чашку густого чая и поднесла отцу.

Алганай молча выпил и опрокинул чашку. Тревожно посмотрел на побледневшую дочь.

— Больна?

— Нет, бабай... Я... сделала большую ошибку.

Алганай испуганно придвинулся.

— Этот змеиноглазый Новик?

— Бабай! Грех так думать? Я его на три шага не допущу. Сказала — если что, пристрелю.

— Прости дочь, я испугался. Ошиблась, говоришь?

— Да, ошиблась. Мне бы надо было съездить в Верхнеудинск к Ербанову. Он бы принял меня.

Алганай выпятил нижнюю губу.

— Брось, Цицик, об этом думать. Если бы он знал про то оружие, которое мы помогали переправлять через Байкал, то другое дело. Да и откуда ему знать о тайной почте большевиков, о партизанах.

— Он в то время находился в Иркутске, был членом Иркутского ревкома. Оружие доставали для партизан. Может, и он участвовал. А если нет, то должен знать.

— Стой, доча!.. Я ж грузил винтовки-то с тремя чело-веками. Один из них был бурят, такой чистый лицом, такой, ну, бравый... Еще он шутил надо мной, дескать, такой громкий богач, а помогаешь красным. Веселый, опасность кругом, а он еще и посмеивается! Может, это и был Ербанов?

Цицик оживилась и под села к отцу.

— Бабай, прости меня...

— За что?

Цицик спряталась за спину Алганая, взволнованно заговорила:

— Я хочу уйти отсюда... одна... а потом приду за тобой. Сейчас я доберусь до Верхнеудинска, разыщу обком и найду к Ербанову. Все без утайки расскажу ему. Расскажу про тебя, какой ты мягкий человек. Весь век тобой крутил, как хотел, шаман Хонгор. И сейчас он...

Алганай замахал руками.

— Грех, грех! Обижаться на боо Хонгора! Он мудрый, он тебя вылечил своими травами-лекарствами. Грех, грех!

Цицик закрыла лицо руками и выскочила на двор.

В лесу на тропе послышался топот многих копыт. Перед Цицик словно из-под земли появилась связка выючных оленей. На переднем учаге¹ сидел Бодоул.

— Ой! Здравствуйте! Мэндэ! — подбежала обрадованная Цицик к каюру.

— Мэндэ! — ответил Бодоул.

Словно впервые Цицик разглядывала парня.

На его мужественном лице улыбка. Прямой пронзительный взгляд черных глаз располагал к себе.

— Дядя Куруткан дома? — спросил он.

— Дома... Все дома.

— Я привез ему много огненной воды. Есть мука, сахар, чай, соль. А вам с Чолбон — конфеты.

Цицик окинула парня безрадостным, тоскующим взглядом.

— Бодоул, а ты в Таськимо видел Ганю?.. Ну, сына Волчонка?..

— Встречаюсь. Каждый вечер в «Красном чуме» он мозолит свой язык. Хвалит новую жизнь.

— Ты... — Цицик замялась, — ты увези ему письмо. Я напишу...

Бодоул отрицательно замотал головой.

— Нельзя. Дядя Куруткан убьет меня.

Бледная, осунувшаяся Цицик вошла в юрту, опустилась на топчан. Молчит, ломает пальцы. В потемневших глазах сердитые огоньки горят.

¹ Учаг — верховой олень.

Алганай удивленно уставился на дочь.

— Я, бабай, ухажу от вас...

— Опять заболела,— сокрушенно качает старик головой.

— Нет, бабай, я здорова. Я не могу больше здесь жить...

Алганай опустил голову. Долго молчал, думал.

— ...Я виноват. Прости, дочь. Ты сама знаешь, что Хонгор брат моей матери. Я слепо шел туда, куда ему хотелось. Я виноват.— Алганай, уже твердо взглянув на дочь, продолжал:— Прятал от тебя я... грех мой... Ведь Хонгор поджег колхозный амбар, а не я...

Цицик вскочила, уставилась на отца.

— Я ведь тоже подозревала, но как он мог? Где совесть-то у него? Садить родного племянника в тюрьму! Зачем это он? А-а, вот оно што! Иначе мы с тобой за ним не кинулись бы сюда... к этим бандюгам. Хитрющий. Ну, погоди!

— Я сквозь сон слышал, как он обулся, вышел из дома. Долгое время прошло. Он явился, валенки положил, да ошибся в темноте, сунул на другое место. Надо уходить, доченька! Я виноват, я и должен исправить вину.

— А ты, бабай, не боишься тюрьмы?

— Там мне будет лучше, чем здесь с этими...

Цицик порывисто обняла отца.

— А я боялась! Прости бабай, думала, что одной уходить придется.

— Золотая душа! Я не слепой, вижу, как ты мучаешься.

— Надо бежать, бабай...

Алганай задумался. Долго молчал старик. Потрескивали в костре сухие дрова. Цицик выглянула во двор. Из соседнего чума доносились пьяные голоса. Вдруг раскрылась дверь и из чума вывалился Новиков. Он поднялся и снова упал. Потом пополз в сторону юрты Алганая.

Цицик плотно прикрыла дверь и посмотрела на отца.

— Ползет змей-то,— глухо выдавила она.— Будет приставать ко мне — пристрелю,— девушка вынула из-за пазухи наган и проверила патроны.

Алганай затряс головой:

— Не пачкай душу черной кровью шакала! Спрячь!

В руке Цицик резко шелкнул взведенный курок. Она решительно открыла дверь.

Алганай испуганно заслонился рукой. Но в это время Куруткан с Бодоулом по снегу волокли пьяного Новикова обратно в чум.

Глава двенадцатая

Ранней весной, пользуясь настами, волки давят в лесу зверей. От сытости и ласкового солнца они становятся ленивыми, добродушными — рядом пасется скот, а волки лежат на сухом взлобке и не обращают на него никакого внимания.

Пастух стреножит коня и заваливается спать. Жаворонки поют, хвалу возносят солнцу. Пастух слушает, слушает пение птиц и незаметно засыпает.

Волки все это видят. Лениво потягиваются.

Куруткан с Новиковым, наоборот, по чернотропу стали чаще заглядывать в жилуху. В этот раз прихватили с собой и Бодоула.

Долго рыскал по степи Куруткан со своими, устали, заехали к знакомому буряту.

— О-ма-ни-пад-ме-хум! — испуганно помолился хозяин темной юрты и выглянул в дверь — не едет ли кто; увидят его гостей, тогда затаскают на допросы.

— Боишься все. Даже... трясешься, — криво усмехнулся Куруткан.

— Э-э, нойон Куруткан, времена-то, времена! Страшно подумать только. В голове черным-черно от всяких мыслей. Не хочешь думать, а мысли лезут в голову, как черви там ворочаются. Страх! Сну нет от этого.

— Трус. А что слышно про Белые Воды?

Хозяин печально качал бритой головой.

— Беда, Куруткан, от твоего двора осталась одна коновязь. Постройки разобрали и увезли в соседний бурятский колхоз. А новенький, под железной крышей, дом твой уволокли еще дальше. В нем ребятишки учатся. А в голубом прирубке, где спали твои бабы, теперь живет партийный секретарь колхоза Ванька Громов. Всеми большевиками улуса командует он. А жена детишек учит. Грамотная шибко, сама маленькая ростиком, тонюсенькая, а все ее слушаются. Над бурятками власть заимела — заставила косы обрезать. Молодых людей всех в комсомол записала. Постарше которых, тех в партию. Всех гоняет в клуб — всю ночь «ёхор» пляшут. Девки,

бабы научились писать — записки любовные черкают женихам да любовникам своим, а так, по старинке не баят, только через записку. Без бумаги ни шагу, ой-е-е! Беда, беда... а моя...

— Стой, дятел, долбить-тарабанить! — остановил хозяина, заскрежетал зубами Куруткан. Его угрюмые, а желто-красными белками глаза злобно сверкнули и остановились на Новикове.

— Ты, барон Стренге, прав,— жечь и бить! Огонь и кровь!

Новиков весело рассмеялся.

Бодоул испуганно поежился. По спине долго еще носились мурашки. «Как убивать человека?» — думал он.

— Дошло наконец! Понял мой любимый пароль — «Огонь и кровь». Милый мой, только через огонь и кровь вернем мы свое. Только через миллионы человеческих жизней.

Бурят удивленно, со страхом смотрел на вооруженных гостей.

«Куруткан, бедняга, видать рехнулся. А как же! Ведь отняли все до последней нитки, палки. Небось взвоешь волком!.. А у русского, какие страшные гляделки. Сам смеется, а глаза не моргнут. Яд-зелень пенится в них, кипит, бурлит. И имя какое-то забавное — «баран». Эге, брат, это такая «овца», о-хо-хо!.. Однако худо я делаю — принимаю их. А как иначе? Э-эх, ну да ладно, буду молчать: «не видал», «не слыхал», если кто спросит про них», — обдумывал он со страхом.

«Значит, «Новиков» это только кличка, как у собаки, а правильно-то — имя его Стренге, да еще баран... А что такое «баран»? Эка, какие люди — боятся сказать имя свое», — думал про себя Бодоул. Ему все это было не по душе.

Небольшой улус по-бурятски раскинулся вольно и широко. Школа тоже не жметя к чьим-либо дворам, а обособленно стоит в стороночке.

Куруткан обошел вокруг бывшего своего дома. Хозяйским оком осмотрел его. Стало так жалко эту нарядную, в кружевных карнизах хоромину, в которой мечтал провести в сытости, довольстве свою старость, что ему сделалось плохо и он поспешил опуститься на крыльцо. Кое-как успокоился. Взгляд остановился на со-

седнем окне, которое еще в его бытность было обрамлено резным, с гордым, как байкальская волна, завитками, наличником. Превосходный мастер делал все это не спеша, года полтора.

Пронеслись легкие тучки, и при мягком сиянии луны Куруткан разглядел изуродованные, исковерканные не-
радивыми плотниками наличники, фронтоны, карнизы.

— Чужое не жалко. Ну ладно, вы ломали — хорошо, а я сделаю еще лучше — один пепел останется.

— Этот партийный заводило-то где живет? — перебил его Стренге.

— С той стороны в прирубе.

— Вы с Бодоулом караульте, а я приголублю семейку. Нето сгорят бедняжки. Мученья сколько примут.

— Ты, сынок, иди к воротам. Кто подойдет, стреляй в него, — приказал Куруткан племяннику.

Видно было как Стренге, почти бесшумно открыл створки и исчез в темном проеме окна.

Как ни прислушивался Куруткан, но в доме царила присущая глубокой ночи тишина. Только один раз еле донесся глухой вскрик, потом что-то похожее на мычание короны. И снова гробовая тишина. Тревожно гавкали улусные собаки.

«Чуют, черти, кровь», — подумал он.

В темном сарае тяжело дышала корова. Изредка доносился крик ночной птицы.

У Куруткана снова заняло сердце.

— Как жечь такой дом? О, богиня Бугады! Даруй мне силы, а сердцу твердость и жестокость богатыря Ернуоля¹. Он стал подсчитывать, во сколько обошелся ему только один лес. Сколько платил плотникам, столярам... Получилась круглая сумма. Еще сильнее заняло сердце, — «наживал, а теперь на ветер»...

Наконец послышались тяжелые шаги, тихо скрипнув, открылась дверь.

— Бедняжка с перепугу потеряла сознание, — громко шепчет Стренге, — а мужика пришлось отправить к бурхану². Силен оказался...

— Как долго возился? — сердито сказал Куруткан. — Скоро светать начнет,

— Не утерпел.

¹ Богатырь Ернуоль — мифический герой (эвенк.).

² Бурхан — бог (бурят.).

Луна выглянула из-за тучи и осветила хищный оскал зубов.

— Я поеду к реке, а ты делай свое дело — не жалея, жги. Огонь душу очистит, сердцу легче станет.

— Где будешь ждать?

— Возле брода. У кривой сосны.

Через полчаса Стренге осторожно спустил с седла женщину. Она пришла в себя. Стонала, качалась из стороны в сторону. Чтоб не свалиться, прислонилась к сосне.

— Пардон, мадам! Я не ушиб вас?

Женщина невнятно промычала что-то сквозь кляп.

Стренге отвязал от седла тонкий сыромятный ремень и туго-натуго притянул свою жертву к дереву. Затем резким движением руки разорвал ее рубашку. Луна сильнее засветилась и накинула голубую фату на прекрасное тело.

Голая женщина стала биться, мычать. Вдруг, она круто повернула голову в сторону улуса, где над школой колыхалось огромное пламя.

— Хорош «петух»! Молодец Куруткан!

Стренге вплотную придвинулся к женщине и властным голосом спросил:

— Коммунистка? Говори!.. Комсомолка?

Женщина мотнула головой и, словно большая белая птица, попавшая в силки, с таким неистовством забилась, что раскачала сосенку.

Стренге, оскалив зубы, впился в нее холодными глазами, при лунном свете они казались огненно-зелеными.

Несчастная как-то изогнулась, изловчилась и пнула Стренге между ног.

Тот съежился, глухо застонал.

— Ка-ра-ул! — наконец, освободившись от кляпа, силло закричала она.

— Р-реви, сука! Никто не услышит твой писк.

Стренге выхватил большой охотничий нож. Повертел в руке, прицелился и вонзил его в глаз, потом в другой, а дальше — нож часто, часто засверкал, замелькал. Он впивался в грудь, в живот, в горло...

— Так вас! Так! Так! — хрипло приговаривал Стренге. Нож продолжал колоть и колоть обмякшее, податливое тело...

Подъехали Куруткан с Бодоулом.

Парень соскочил с коня и подошел к Стренге, который стоял в стороне от своей жертвы.

— Зачем девку тут вязал? В тайгу вези — баба будет.

— А ты подойди, полюбуйся. Красивая стала... — Бодоул подошел к труп. Закрыв глаза, отпрянул в испуге.

— О-е! — раскачиваясь, будто пьяный, отошел к дяде. Потом резко повернулся к Стренге. — Иргичи!¹ Убью тебя! — Бодоул передернул затвор. Вскинул винтовку, но стоявший рядом с ним Куруткан, резко ударил по ружью.

— Его смерть — моя смерти! Понял щенок?! Стренге — мой родной брат. Где ступит наша нога, там будет огонь, там будет кровь...

— Ты мне не дядя! Волк ты! А Стренге я убью!

Бодоул вскочил на коня и умчался в сторону чернеющей на горизонте тайги.

Стренге еще раз подошел к окровавленному труп женщины.

Легкий ветерок развеивал светлые локоны.

Луна выглянула из-за легкой пепельной тучки, осветила пустые глазницы белого как снег лица и спряталась испуганно.

* * *

Магдаулев только успел перешагнуть порог райкома, как узнал о гибели учительницы-комсомолки, зверски убитой бандитами. А от ее мужа ничего не осталось.

Во время похорон уборщица сгоревшей школы принесла в глиняном горшке горсть пепла с пожарища и опустила его рядом с гробом.

— В этом пепле он тоже есть, — сказала она.

Через два дня Магдаулов зашел в кабинет секретаря райкома. У Трофима Изотыча сидел начальник милиции.

— Я выйду?.. Помешал? — извинился он.

— Нет, нет. Садись поближе.

Воловик быстрым взглядом окинул Ганьку. Из-под густых насупленных бровей, глядели неузнаваемо посуровевшие глаза.

¹ Иргичи — волк (эвенк.).

Лицо начальника милиции было известково-бледным. «Трофим Изотыч дает прикурить», — подумал Ганька.

— Ну, студент, готовишься к зачетам?

— Аха, Трофим Изотыч.

— Не «аха», а «да», — Воловик закурил, вышел из-за стола, стал разглядывать карту района, — Жалко Громову... Приняла такую смерть. Ужас какой-то... Ивана, видать, зарезали... Бандюги распоясались, а милиция не может ликвидировать их. Правда, в тайге трудно сразу обнаружить банду, но если привлечь наших людей, то эти негодяи никуда не денутся. Как ты думаешь, Магдаулев?

Ганька задумался.

— Дом, который сгорел, принадлежал Куруткану. Он, конечно, мог сжечь школу, но, чтоб у женщины выколоть глаза, нет, у него не поднимется рука. Слышал краем уха, что Бодоул, племянник Куруткана, знает, где притаился его дядя. Рассказывают, пьяным Монке Харламову хвастался, что изловит банду Куруткана. Возможно, банда скрывается где-то в Подлеморье... С наступлением лета она и начала рыскать.

— Ну, что молчишь, Магдаулев? — построжал еще больше секретарь.

— Я... — Ганька облизнул вдруг пересохшие губы, — я думаю, что школу сжег Куруткан, а над Громовой изд... измывался кто-то другой, который ходит с ним.

— Мы с товарищем такого же мнения. Но где бандитское логово? Вот что надо знать.

Начальник милиции мотнул головой, хрипло заговорил:

— Разведать надо. По долине Баргузина мы все уголки обшарили вплоть до озера Балантимура. Нет их там. Осталось проверить Подлеморье:

— А если я пойду?.. Может, обнаружу следы Куруткана, — предложил Ганька.

— Один пойдешь, что ли? — спросил Воловик.

— Нет, с дружкой. Петьку Грабежова возьму с собой. Он надежный.

— Хорошо. Пусть будет так. Из Таськимо выходите ночью. Ни одна собака не должна вслед вам гавкнуть. Понял? Будь предельно осторожным. Не забывай, с кем имеешь дело. Береги себя, Гань, — Воловик подошел к парню, положил руку на плечо. — Ну, с богом, Волчонок мой.

Шаман Хонгор встревожен поведением Цицик. С болью в сердце стал замечать и свое бессилие. Он уже не может придумать, как восстановить былой авторитет, Цицик с нескрываемым презрением и враждебностью бросает на него косые взгляды.

«Не дура какая-нибудь, она сразу поняла, кто такой Куруткан, а про Стренге и говорить не приходится. Видать, чует сердцем, что он из тех, кто убивал баргузинских большевиков,— бродят в голове невеселые мысли. И решил шаман после долгих размышлений — пусть ею завладеет Стренге.— А чтоб она не брыкалась — напою дурманной настойкой. Увезем ее в далекую тайгу, где среди неприступных гор прячется озеро Балантимур. Там мы со Стренге построим красивую юрту и будем жить без Куруткана и Алганая. Стану ждать от Цицик мальчика... Дождусь! Все равно дождусь я... А жить там можно — несметные стада диких оленей бродят вокруг озера. Не так далеко от Балтимура находятся великие солонцы — Мигдельгун, соленую землю которых едят изюбры. До сорока зверей приходят на те солонцы за ночь. Сядь рядом с тропой, а то настожи самострел и жирное мясо в изобилии будет в юрте. А напейся кроушки из свежих пантов — о-хо! У моего Стренге сила мужская забурлит, закипит, по всем жилам разольется, и он вмиг помолодеет,— Хонгор усмехнулся.— Тогда-то уж наверняка Цицик родит сына. О, сколько лет я лелеял глубоко в душе эту мечту! Наконец-то она исполнится, на земле бурятской появится новый потрясатель вселенной — Чингисхан Второй».

Цицик уже собралась в дальний путь. Приготовила вьюки с одеждой и едой. Алганай притворился больным, охал, стонал.

Шаман Хонгор давно понял, что Цицик в любое время может покинуть стойбище. Уже нет прежней доверчивой Цицик.

В последнее время и Алганай стал неразговорчивым, отчужденно смотрел на Хонгора. Это заставило шамана насторожиться, пошептать на ухо Куруткану. Куруткан со Стренге построили юрту у входа в ущелье, и стал Хонгор здесь жить.

Шаман Хонгор исправно сторожил. Уж он-то не выпустит на волю Алганая с Цицик. Они словно в тюрьме теперь закрыты.

Чолбон давно влюбилась в Стренге. Ей стал противен старый Куруткан, который холодной колодой лежит всю ночьеньку рядом с женой, а ей нужна мужская ласка.

Как на грех, неожиданно навалилось горе. Злой дух, что ли, пригнал синеглазую Цицик. Ее возлюбленный стал к ней холоден, как январский лед, и больше не поет ей «Дышала ночь восторгом сладострастья». Глаз не сводит с этой худющей и синюющей девки из Таськимо.

Чолбон прижалась к стволу толстого кедра и, затаив дыхание, наблюдала за Цицик и Стренге.

Девушка, почерпнув воды, поднялась на крутой берег. Словно из-под земли вырос перед ней Стренге. Лицо бледное, в глазах мука.

— Цицик, я застрелюсь! Сердце разрывается от любви к тебе. Не вынесу таких тяжких испытаний! Я никого так не любил! Неужели вместо сердца у тебя камень?

Цицик поставила ведро. Смотрела холодными, ненавидящими глазами.

— Последний раз говорю, господин Новиков, на офицера не могу смотреть. Офицер в меня стрелял. Офицер Кешу убил. Как могу тебя я любить? Может, ты убил моего Кешу?

Стренге на миг превратился в самого себя. Его зеленые, колючие глаза заблестели стальными иглами. Перед ним явился голубоглазый, русокудрый, могучий парень — этот ее Кеша, которому в злости он выколол своим кортиком глаза. Это произошло десять лет назад, а кажется, будто только вчера.

Цицик отступила, насторожилась.

— Значит, ты ненавидишь меня? — с дрожью в голосе спросил Стренге.

— Да, всех вас! Ты... ты раздавленная лягушка.

— Как сказала?! Как дворянина назвала?! — Стренге весь побагровел, стал наступать на девушку.

Цицик отскочила за дерево, выхватила из-за пазухи наган.

— Застрелю!..

Стренге отступил.

Чолбон радостная, возбужденная подбежала к ведру, не дала Цицик взять, понесла в юрту Алганая.

Монка Харламов, помня наказ Голубева, ловил момент, когда можно будет подложить «свинью» Сватошу.

Наконец он решил, что настала пора. Уже дней десять не было дождей. В лесу стало сухо. Поднеси спичку — запылает пожар. Час-два пройдет, потом его не унять. Пойдет по тайге «красный пегух» гулять. Сколько погубит он добра... Вот тогда Сватошу можно будет приписать вредительство и что угодно.

Второй день терпеливо ждал Монка, когда Сватош с Тимохой перейдут на новое место. Кормил комаров, дрожал ночью от шума, поднятого медведем. Но дождался. Ушли они в соседнюю падь.

Монка крадучись подошел к костровищу Сватоша. Ладонью руки проверил, нет ли горячих углей. Костер был залит водой, пепел и угли холодные.

Харламов достал из кармана несколько сухих берестянок. Сложил их в кучку и поджег. Лежавшие тут же сухие сучья, хвоя, пожелтевшие листья моментально вспыхнули. Круг огня быстро, прямо на глазах, расширился. Языки пламени поднимались все выше и выше.

Монка улыбнулся и так же крадучись скрылся.

Тимоха Король пыхтел, проклиная кустарник и густой подлесок, сквозь который с трудом продирался вверх по крутому каменистому склону. В обеих руках нес по котлу воды. Кое-как добрался до табора.

— Зенон Францыч, каждый котелок — рубль.

— Нет, дороже.

— Оно верно. Принес два котла, а поту сколько пролил.

— Готовь скорей обед. Может, успеем дойти до зимовья. Там переночуем — и домой.

Тимоха обрадовался. Быстро растопил костер на гранитном плитняке и подвесил на тагане котел, а вторую посудину оставил, чтоб той водой затушить костер.

Морщился он от этих маршрутов. Зачем-то разыскивает Сватош гнездовья мышей, пищух. Даже считает сколько мышат в каждой семье.

— Тьфу, дьявол! — плевался Тимоха, матерился, проклинал комаров и мошек, которые темной тучей висели над ними.

Сватош писал свои наблюдения в блокнот:

«...В период размножения пищухи ведут скрытый образ жизни и их почти не видать на поверхности земли...

...В экстрементах соболя преобладают животные корма...»

Из-за острой сопочки вылетело черное облако. Самая густая, самая темная туча не могла сравниться с этим облаком.

«Это чо? Однако горит?!» — подумал Тимоха.

— Дым!.. Пожар!.. — взревел он.

Через час быстрого хода Зенон Францевич с Тимохой добрались до места пожара. Огонь шел снизу вверх по узенькому ключу.

Сватош быстро оценил обстановку.

— Если перевалит огонь через гребень, тогда гиблое дело — половина заповедника сгорит.

— А чо делать, Зенон Францевич?

— Бежим на гребень!

Перевал между двумя скалистыми сопочками зарос молодым смешанным лесом. Сватош решил прорубить здесь просеку от скалы до скалы и прорыть канаву.

Огонь все ближе и ближе. С грохотом падали деревья. В тайге трещало, шипело, выло. Клубы дыма становились все гуще и темнее. От горячего дымного воздуха кружилась голова. Во рту пересохло, палило. Тимохе казалось, язык у него так распух, что скоро лопнет. Но раздумывать некогда, черт с ним, с языком. Он рубил и рубил. Следом рыл канаву Сватош, да так ловко и быстро, что наступал ему на пятки.

Сколько времени они работали, оба не знали. До того ли было. Уже стали выбиваться из сил. Огонь подошел совсем рядом: бушевал, ревел. Алые искры густым веером сыпались на головы, на спины. Теперь работали они почти на ощупь.

Тимохе показалось, что на голове загорелись волосы.

— Зенон, горю!

— Потерпи, — хрипло ответил тот.

У Тимохи закружилась голова, и он упал. Сватош вылил ему в рот последние капли воды, а фляжку со злостью швырнул в надвигающееся пламя.

Тимоха пришел в себя. Сватош дал ему топор.

— Тима, осталось десять метров! — прокричал над ухом парня Зенон Францевич.

— А-а, но-но, — Тимоха снова принялся рубить.

Наконец они уперлись в скалу. Сватош дернул парня за руку, и они ползком начали отступать от нестерпимой жары.

Не помнили оба, сколько времени они лежали без сознания. К великому их счастью огонь не прорвался через просеку — заживо изжарились бы, обуглились вместе с деревьями. Но этого не случилось.

Утром к месту пожара приехали стражники. Бимба с Хабелем первыми увидели Сватоша и Тимоху. Они сидели черные от копоти и сажи. Только одни глаза сверкали. Одежда на них была изодрана в клочья.

— Воды... воды... — прохрипел Тимоха.

— Дайте пить, — едва донеслись слова Сватоша.

Бимба поставил котелок с водой, кружку.

— Пейте. Ишо принесу.

Вскоре подошел Монка Харламов. Молча сел. Закурил. Хабель удивленными глазами окинул просеку, уставился на Сватоша.

— Охо-хо! Двое!.. Да как же это вы сумели?! Это же работа двадцати лбов, а не двоих!.. Ой-ей-ей! — качал он головой. — Как сумели удержать такую беду? Если б не вы — заповеднику хана, крышка. Вот уж молодцы, дык молодцы!

— Директор наш товарищ Анохин премию не пожалеет. Геройство проявили. Это факт! — заявил Харламов. — Я об этом сам буду просить Ивана Ивановича.

— Это, ребятушки, охо-хо! — качал головой Хабель.

— Зенфран да Тимоха — настояща люди! — вставил свое слово Бимба.

После долгой паузы заговорил Харламов.

— Премию-то Зенон Францыч с Тимохой заслужили, но надо комиссию... акт какой-то нацарапать — сколь сгорело, откуда пошел, зачался огонь. Как героически робили, чтоб затушить эту беду... Кто виновник — тоже надо разнюхать. Бедный Зенон Францыч сколько тут трудился, а теперь и мы в поте лица...

Сватош с Тимохой молчали. Устало и тупо смотрели на догоравшие деревья. До них не доходили слова говоривших людей. Они слушали, как время от времени с грохотом, со стоном валялись лесные великаны.

Морщился от боли Сватош.

* * *

Чолбон встала на колени, молилась.

— Богиня Бугады! Славная покровительница домашнего очага богиня Дунде! Спасибо вам — лучезарные

небесные матери людей и зверей, дошла до вас моя жаркая мольба — Цицик не смотрит, Цицик ненавидит моего Новика. Теперь Цицик — моя любимая сестра. Я для нее сделаю все, что угодно, раз она не отбила у меня мое счастье, мою любовь.

— Все молишься? — спросила Цицик, войдя в чум.

Чолбон раскраснелась, вскочила.

— Молюсь. Молю небожителей, чтоб послали нам спасение и благополучное возвращение в Белые Воды, где много людей, где веселье, где жизнь.

— Правильно. Но ты богов просишь, а я тебя.

Чолбон обняла Цицик.

— Что угодно, сестрица, проси. Все исполню.

Цицик оглянулась, тяжело вздохнула.

— Чолбон, из этого ущелья, где мы живем, есть еще тропа, помнишь, ты говорила?..

— А тебе куда вторую-то? Надо если, поезжай по этой же тропе вниз.

— Шаман не пропустит меня. Он день и ночь сторожит эту тропу.

— Тоже в тебя влюбился? Хи-хи-хи!

Цицик вздохнула и ласково попросила Чолбон:

— Не мучай меня. Я век буду помнить твое добро.

— Значит, надумала?

— Не могу я тут. Как взгляну на Новика — сердце кипит. Хочется выстрелить в него. Знаешь, почему-то тянет. Какой-то голос издали слышу: «Пристрели! Пристрели собаку. Цицик! Пристрели!..» — Рука неудержимо тянется к нагану. Мне люди сказывали, что мои предки были казаки с Дона-реки. Наверно, они и повелевают мною.

Чолбон мотнула головой. Плохо скрытая радость разлилась по ее миловидному лицу. «Теперь моему Новiku придется забыть о красавице Цицик! Теперь снова будет петь мне: «Дышала ночь восторгом сладострастья».

Ах, до чего сладка эта воровская любовь! — Боязнь и радость!»

— Ой, как я снова останусь одна? — схватилась Чолбон за голову, скрывая тем самым довольное лицо.

— Ничего. Зато Новиков будет твой.

— Ну его! Ну его! У меня родной муж. Как можно! Я не сучка, чтоб нескольких кобелей иметь. Ну его! — затараторила Чолбон, а сама вынула откуда-то из-под досок бересту, острым шилом быстро начертила зигза-

гообразную тропу и условными знаками обозначила речки, озера, скалы, пустующие охотничьи юрты.

Цицик часто-часто дышала, в глазах надежда.

— Спасибо, сестра. А ты уходи от них, ищи свое стойбище. Куруткан и Новиков, наверно, погибли, а тебе надо жить.

Чолбон испуганно отступила.

— Я одна?..

— Зато будешь человеком. Советская власть не сделает тебе зла.

У Чолбон в глазах мелькнула едва заметная надежда. Она облизнула пухлые, красиво очерченные губы.

— Может быть, и мы с Новиком, как и вы с отцом уедем отсюда? Пусть Куруткан с шаманом останутся здесь? А?

Цицик грустно улыбнулась. Потом выпрямилась вся. Стала строгой, сердито взглянула на хозяйку чума.

— Новиков твой — белый офицер. Не зря прячется от власти, поди, людей губил. Ему пощады не будет. А тебе одна тропа — к людям, там настоящая жизнь, а тут пропадешь.

— Меня же посадят в тюрьму.

— А за что? Чувствуешь вину за собой?

— Я дочь княгини Катерины. Богатые были мы.

Чолбон испуганно затрясла головой.

— Ну дело твое. Расскажи толком, как нам выбраться.

— Все, все скажу тебе. Ночью и то найдешь! Ты сильная, ты красивая. Тебе даже злой медведь-шатун уступит тропу.

Чолбон внимательно осмотрела свою карту.

— Поднимись на соседнюю гору. Вот здесь, по самой ее вершине, идет едва заметная тропа. По ней пройди до белой скалы. Там тропа пропадет. Опустись вправо шагов пятьдесят, там пойдет узкий проход в грот. Когда пройдешь эту темную дыру в скале, тебе откроется широкая падь. По ней спустишься. Там будет тропа: там молись богине Бугаде, она поможет. Сначала так сходи, разгляди все, чтоб потом не путаться. — Чолбон схватила Цицик за руку, в глазах мелькнул страх, — в случае неудачи, не выдай меня, а то Куруткан убьет.

Цицик обрадованно обняла хозяйку.

— Не бойся, Чолбон!.. А дальше-то, расскажи, если знаешь.

— Когда спустишься с наших гор, ты увидишь широкую падь. По ней течет речка. В том месте, где к ней подойдет тропа, стоит юрта. От той речки тропа потянется прямо на север. И та тропа приведет вас к большой реке. Там есть брод, будьте осторожны. Персправитесь через реку, и пойдет подъем на хребет. Одолеете гору — спускайтесь вниз к Байкалу. Там живут наши эвенки, они вам помогут.

— Спасибо! Спасибо! Ты моя спасительница! А откуда ты знаешь эту тропу, Чолбон?

— Мы с Бодоулом по ней водили аргиш. Завозили харчи. Ты видишь, у нас есть все, вплоть до огненной воды. Вот бы тебе встретиться с ним в тайге. Он бы помог.

— Что ты! Что ты! — испуганно замахала Цицик. — Он поможет Куруткану — пригонит нас с бабаем обратно сюда. Я его знаю, просила письмо отнести к Гане, сыну Волчонка, он меня отругал, грозился сказать Куруткану.

— В том-то и дело, теперь он поможет вам попасть в Таськимо.

— Почему? — удивленно уставилась Цицик на хозяйку.

Чолбон вздохнула, покачала головой.

— Неблагодарный щенок этот Бодоул. Дядя обещал сделать его богатым, когда вернется старая власть, дал ему новую винтовку, целый ящик патрон, а он, змееныш старой ведьмы Лэтылкэк, отругал дядю своего, а Новика хотел застрелить. Новик теперь боится его. Отсюда уедем скоро.

— Вот не ожидала! Молодец Бодоул, — невольно вырвалось у Цицик.

* * *

Цицик с Алганаем ехали по едва заметной тропе. Внизу плотной стеной стояли красноватые кедры, рядом темно-серые пихты, тут же и янтарные, веселящие глаз, молодые сосны. Стволы, стволы, стволы. Им нет счета. А над ними словно какой-то гигант подцепил на свои вилы громадный ворох зелени и держит в вышине. Под этой зеленой крышей вечный сумрак. Пахнет сыростью, кедровой смолой, шишками. Деревья древние, громоздкие в несколько охватов. Под собственной тяжестью они скрипят, стонут.

Эта непривычная грандиозность первозданной тайги давила, угнетала Цицик.

С высоты голого гребня, куда они только что поднялись, как на ладони видать всю тайгу. Кругом, куда ни взглянешь, море зеленого леса. Необъятные синие дали. Крутые горы острозубо оскалились в небо.

«Где конец, где край этим дебрям?» — уныло думала Цицик, а сама зорко следила за тропой — потеряешь ее, заблудишься, вот тебе и гибель неминуемая. Все дальше и дальше уходили они от бандитского стойбища навстречу безмолвным пикам гольцов. Кони с трудом проходили через зыбуны, кочковатые мари, осторожно ступали по каменным уступам крутых взлобков, продирались сквозь чащу подлеска.

В одном месте узенькая тропа прошла над черным ущельем, на дне которого ревели десять тысяч чертей, — так показалось Цицик. Они спешили. Цицик прошла первой, за ней кони, а потом уж и старик со стоном, с молитвами, с проклятиями в адрес шамана.

К вечеру путники спустились с перевала. Тропа стала гораздо шире, глубже. Узенькая падь постепенно расширилась и наконец перешла в раздольную долину. Ложе ее было свободно от леса. Только вдоль речки тянулся жиденький передесочек. Высокая, желтая прошлогодняя ветوشь говорила о буйных травах, которые подымались в пору сенокоса.

— Вот бы тут жить со скотом, — вырвалось у Алганая.

— На Ольхоне лучше, бабай. Тут «волки» рядом.

Вдруг из-за березовой рощи вышел дикий олень. Он поднял красивую голову. Постоял минуту-другую, сделал несколько прыжков и скрылся в кустах.

Тропа уткнулась в берег небольшого озера. С оглушительным шумом поднялась туча уток. Неистовый крик громадной стаи разорвал вечернюю тишину.

— Дочь, однако, здесь заночуем? Как думаешь?

Цицик оглядела берег, мотнула головой.

После ужина Алганай стреножил коней и отпустил кормиться. Долго молился, бормотал какие-то заклинания, часто поминал имя шамана Хонгора, а потом лег отдыхать.

Цицик не хотелось спать. Она спустилась к самой воде и села на гранитный валун. Долго не могла оторваться от спокойного вида зеркальной глади. На озерной го-

лубизне переливались легкими розовыми бликами кра-ски вечерней зари. На противоположном берегу стояла кучка сосен. Верхушки деревьев сначала золотились, потом постепенно эта позолота стала потухать и наконец исчезла.

А заря продолжала гореть. Поверхность озера еще ближе придвинулась и мирно лежала у ног Цицик. Она стала походить на тугое расплавленное золото, по которому можно пробежать, как по тонкому осеннему ледку.

Глубокую тишину никто не нарушал, будто все живое с замиранием прислушалось к тонкой музыке, рождающейся от серебряной трели, исходящей от бега соседней речушки.

Цицик повернулась в сторону стойбища Куруткана. В той стороне чернели контуры высокой горы. Гора сейчас походила на диковинного зверя. Она дышала холодом. Цицик почувствовала в той горе скрытую ярость и злобу.

«При чем тут гора,— возразила сама себе.— Там, за этой горой остался Новиков, там злой шаман Хонгор, который так жестоко поступил с нами. Там Куруткан злобствует на Советы, что отобрали у него богатство. Там Чолбонка. И Новиков кидает свой нож прямо в глаз. «Вот так! Так!» — кричит в азарте. Шаман Хонгор шепчет ей о Чингисхане. Куруткан ревет: «Атамана Семенова сюда!» — Цицик вздрогнула. На нее нахлынуло чувство омерзения, словно прилипла, пристала к ней толстым слоем зловонная грязь.

Она разделась. Опустилась к воде и долго, долго умывалась, вытиралась, потом снова умывалась. Из-за горы выкатилась полная луна и удивленно уставилась на голую Цицик.

С рассветом оседлали лошадей. Алганай долго шептал костру какие-то заклинания, окропил огонь чаем и чашку засунул за пазуху.

— Ну, с бурханом, да с добрыми духами — хозяевами гор и лесов, поехали дальше, доченька. О-ма-ни-пад-мехум! — громко вопил старик.

Вскоре они опять оказались в угрюмых дебрях тайги. Вдруг конь зафыркал и попятился назад. Цицик увидела вмятины на толще пожелтевшей хвои, похожие на человеческие следы. Насторожилась.

— Кого испугалась лошадка твоя? — тревожно спросил Алганай.

Цицик соскочила с седла, дала отцу повод. Девушка внимательно присмотрелась к вмятинам. Кто-то косолапо протопал в широких унтах, в одном месте, на свежеизрытой земле, четко обозначились когти.

— Черный зверь прошел!

Не напрасно боялась лошадь. Впереди метрах в пятидесяти от путников, под толстым кедром копался медведь. Цицик взвела курок.

Алганай хорошо знал, что его дочь не из трусливого десятка. Сейчас она может пальнуть в зверя и, не дай бог, если обратит... Тогда!

— О-ма-ни-пад-ме-хум! — Старик неистово заревел, замахал шапкой.

Зверь перестал работать. Посмотрел на людей и спокойно продолжал собирать прошлогодние шишки и смачно чавкал. Время от времени он взглядывал на людей злобными глазами, прижимал уши, готовый встать на дыбы и пойти на них. Но в шишках такие вкусные орехи, что невозможно оторваться...

«Эх, черт! на самой тропе... и объехать его нельзя — с обеих сторон скалы... Попробую напугать медведку», — решила девушка.

Цицик взвела курок, мушку револьвера подвела под сук, чуть выше головы зверя, и плавно нажала на собачку.

Медведь с испугу сел на широкий зад, потом мгновенно повернулся и дал тягу.

— Поехали, бабай! — улынулась Цицик.

Алганай только покачал головой и продолжал читать молитвы:

— О-ма-ни-пад-ме-хум! О-ма-ни-пад-ме-хум!

Глава тринадцатая

Шаман остановился у юрты Алганая. Перевел дух. Он верил и не верил Чолбон, что Алганай с дочерью убежали домой на Ольхон. Никак не мог этого сделать трусливый пузан. А Цицик могла. Она смелая. Вот ведь черная змея, как ловко ускользнула. Выбрала время, когда мужики уехали, а я, старый глупый ушкан, стерег юрту у тропы... Откуда она узнала о потайной тропе? Неужели эта распутница Чолбонка проболталась?..

Все еще надеясь на чудо, не веря Чолбон, он открыл

дверь и вошел в крошечную темноту. В очаге ни уголька. Приложил к нему трясущиеся руки. Холодный пепел сказал обо всем. Шаман, качаясь, подошел к топчану Цицик, свалился, зарыдал.

— Бросили меня!.. бросили!.. сбежали!.. Я ж видел в глазах Цицик ненависть. Ай-яй-яй! Разве я не знал, что Цицик ненавидит Стренге, не терпит Куруткана. Всегда хвалит большевиков, Советы, колхозы. Слепой я, глухой! Будьте прокляты все! Все! Все! — сквозь рыдания кричал шаман.

Хонгор пришел в себя, поднялся и вышел на двор. Огляделся кругом.

Высокие деревья угрожающе наклонились над ним и сердито шумели, словно ругали его. На темно-синем небе ехидно улыбалась луна; в соседнем ельнике угрожающе ревела речка. Черные контуры гор вздыбились и, казалось, вот-вот обрушатся на его голову, сотрут в пылинку. Хонгор испуганно съехался, попятился назад. Впервые почувствовал, до чего он ничтожен в этом необъятном мире. Взгляд его остановился на чуме Куруткана. Из дымника густым веером вылетали искры.

— Чолбон, сучка! Ты показала тропу Цицик! Ты! Ты и ответишь! — громко ругаясь и проклиная, Хонгор пьяно ковылял к чуму. Кое-как нащупал дверь, влез. Наплыл свирепым шатуном на хозяйку.

— Зачем?! Зачем показала?!

— Боо Хонгор, в тебя вселился эльгэргэ!

— Где Цицик?! Где?! — старик тяжело дышал, захлебываясь, хватал ртом воздух. Глаза злобно горели. Шаман был так страшен, что Чолбон плюхнулась на топчан и отползла в угол.

— Уходи, — прошептала она.

Хонгор немного успокоился.

— Цицик давно уехала? — сдерживая себя, спросил.

— Далеко уже, не догонишь.

— Догоню. На краю света найду. И вы уходите отсюда. Цицик приведет сына Волчонка, Анкоуля, Самойлова. Смерть к вам идет.

Чолбон испуганно отпрянула от страшного старика.

— Врешь, поди? Не пугай! Чего я плохого сделала Цицик?

— Зачем мне врать. Где та тропа, по которой уехали они?

— У Белой скалы. Там следы еще не застыли,

Чолбон тревожно думала: «Если признаюсь Куруткану, что я указала Цицик тайную тропу, то он меня убьет. Ведь по его наказу я не должна была этого делать».

Куруткан не хмелел от водки, он был взбешен: теперь эта негодница Цицик заявит властям и укажет потайное место его стойбища. Никто не мог обнаружить его логова. Сто лет живи спокойненько, вреди Советам — и безнаказанно. А тут, возьми-ко! Эта синепупая Цицик все дело испортила. Кто же ей показал потайную тропу? Неужели Чолбон?

Куруткан отбросил от себя жену.

«Что это с ней? Никогда так не ласкалась, а тут прильнула и отлепить нельзя. Это лисьи ухватки: хвост замочит и крутит им, чтоб скорее подсох», — Куруткан сел на топчан, закурил. Долго и сердито сосал трубку. Толкнул под бок жену.

— Эй ты, эльгэргэ.

— Дяличи эды¹, я вся твоя.

— Ты зачем тропу бурятам указала?

— О-бой! Очумел мой дяличи эды. В каменной чаше закрыл меня да еще верить перестал. Не стал любить. Все глаза проглядел — смотрел на Цицик. Она вам с Новиком и понюхать не дала. Так вам и надо, бабникам. Цицик-то скалы облазила, как кабарожка. Уж она-то лучше вас разнюхала, где, какие звериные тропочки есть. А я зачем бы ей сказала, дура набитая, по-твоему, так и жду большевиков. И мне хочется жить на воле, а не в тюрьме. Э-эк, Куруткан, Куруткан! Вижу, сердце твое рвется к Цицик, вот и бесишься, что потерял ее! Смотри, не застрелился бы твой Новик. Тоже без ума от нее.

— Цыть! Будто белку облаяла, остановить нельзя, — унял Куруткан жену.

«Чолбон верно говорит. Ведь ей тоже большевики найдут место в тюрьме. Значит, эта синепупая Цицик сама разнюхала ту тропу. Вот ведь какая дьяволица. Стренге остался с носом! Ползал-ползал у ее ног, а все без толку. Ай, девка! Наверное, в Таськимо есть у нее парень, без которого жить не может. Вот и удрала!»

В чуме тишина. Долго сидел Куруткан и обдумывал, как быть дальше.

¹ Дяличи эды — мудрый муж.

— Чолбон, ты не спишь?

— Нет, дяличи эды.

— А шамана-то как зазвали с собой? Наверно, Цицик бегала за ним?

— Не знаю. Вышла я из чума за дровами, а у них уже кони навьючены. Шаман молитвы читал. Цицик подбежала ко мне, обняла, а сама вся сияет радостью, — красивая, красивая, как богиня Бугады! Мне стало плохо, сердце будто ножом режут. Горы стали черными. Цицик черная. Не помню, как ушла в чум.

Куруткан углубился в раздумья.

«Придется на всякий случай перекочевать в ущелье Волчьей Песни. Там не так надежно, но все же. Оттуда тайком сбегая к Монке Харламову и все разнохаю. О, эльгэргэ! Этот собачий сын Бодоул отказался помогать мне. Да еще чуть не убил Новикова моего. Врагом своим меня назвал, волком. Чтоб ему подавиться своей черной кровью. Можно было через него все делать, а тут приходится самому рисковать. А во всем виноват этот сволочный сын Волчонка. Он испортил всю молодежь, ушел и Бодоул. На ущербе месяца я поставил на тропе Бодоула свой знак, думал, придет ко мне, он, гад, на том месте, бесстыжий, сходил до ветру и ушел в Таськимо. Из местных нойонов Анкоуль не так страшен. Этот дал слово сестре Лэтылкэк, что на мою тропу он не встанет. Поклялся по древнему обычаю. Страшен Самойлов да еще сын Волчонка. Его надо убить, да так, чтоб следов не было — утонул, да и все. И все равно тайга не мне, а им помогает. Порой зависть грызет душу. Люди работают, веселятся, не прячутся. Чую я, что этот сын Волчонка выпытает у Бодоула, где моя тропа, и поймает меня в капкан. Он-то уж не пожалеет нас, — Куруткан скрежетнул зубами. — Надо как можно скорее пристрелить его — и в воду».

Куруткан тихо молился:

— О, могущественные духи, хозяева земли и неба. О, пресвятая богиня Бугады — повелительница лесов, озер и рек. Хозяйка живущих в них зверей, птиц и рыб. Окажи милость, покровительствуй Куруткану, который несправедливо обижен, обобран до нитки. А теперь хуже волка прячется от большевиков из-за своего же добра, которое наживал, не жалея ни себя, ни близких. Пресветлая богиня Бугады! Не дай моим врагам убить меня, прачь в своей широкий пазухе.

Стренге размеренно шагал вокруг толстого кедра. Гадко было на душе — нет Цицик. Да, она не разговаривала с ним, не подпускала к себе, открыто ненавидела его, а все равно одно ее присутствие в этой черной, скалистой чаще наполняло жизнь чем-то необъяснимо животворным, распаляло сердце, толкало на действие и борьбу.

Как ни всматривался в темноту, как ни прислушивался к ночным шорохам, а не заметил, как подкралась Чолбон. Толкнула его сзади и прижалась.

— Уходить надо, — прошептала Чолбон. — Цицик приведет Ганьку, сына Волчонка, Анкоуля, Самойлова. Чипко худо, тебя убить будут.

— Не бойся. Не так-то легко меня убить, но...

— Тороплюсь нада. Чипко тороплюсь.

С минуту помолчал Новиков.

— Да, нужно как можно быстрее удирать отсюда. А то нас всех здесь заловят, как крыс в норе. Это я чувствую. Цицик приведет людей. Это точно. — Новиков тихо-тихо зашептал: — Чолбон, ты любишь меня? Пойдешь со мной? А Куруткан пусть остается. Черт с ним, а?

— Чипко любим тебя! Бери меня с собой.

— Вот и молодец. Но ведь мы с тобой поедem очень далеко. Там жить весело. Там все есть! Ты будешь ходить в шелковых халатах, носить золото и бриллианты. У тебя будут слуги. Ты будешь госпожой, княгиней Чолбон!

— Это чипко хорошо!

— Хорошо-то хорошо, для этого нужно взять у Куруткана золото. Без золота мы там будем сами слугами. На нас будут кричать, могут пинать, унижать. Без золота мы с тобой будем нищими и погибнем. Ты знаешь, где лежит Курутканово золото?

— Мало, мало знаю. Там много золотой денга, разна шурум-бурум... Там золотой кусок с твой кулак есть. Золота столько, ты кое-как поднимать будешь — один, два, три пуда. Только я хорошо не помню. Буду Куруткана спрашивать, тогда найду.

* * *

Магдаулев двигался впереди, за ним Петька, Ганька зорко всматривался в просветы между деревьев, где вилась тропа. Не пропускал без внимания ни единого зву-

ка. Где-то, далеко впереди, куда утянулась хитрой змейкой тропа, тишину всколыхнул тревожный крик вороны. Чаще защебетали синицы. Дятел перестал токать по сушине. Наступила такая тишина, что даже стал слышен незаmysловатый пересвист каких-то совсем малюсеньких птах.

Ганька подозвал Петьку.

— Кто-то испугал птичек,— прошептал он.— Ты тише топай.

Парни зарядили винтовки, отошли в сторону от тропы, спрятались за колоду, от которой несло гнилой сыростью. Снова стали слушать. Вдруг до них донеслись чьи-то легкие шаги. «Не бандиты ли скрадывают нас?— мелькнула мысль.— Значит, вовремя упредили меня птицы».

Шаги человека ближе, ближе.

«Один идет... Отец твой — Волчонок не испугался бы. Почему начинаешь дрожать?» — в душу западают чьи-то глухие слова.

Ганька оттянул пуговку затвора. У Петьки тоже лягнуло железо.

Дрожь во всем теле. Сердце до боли сжимает чья-то рука. Ганьке стало стыдно. Усилием воли подавил дрожь, успокоил трепещущееся сердце.

«Ведь мы с Петькой-то голыми руками расправимся»,— подумал он.

Шаги совсем близко. Впереди что-то мелькнуло. Ганька крепко сжал винтовку.

В следующий миг на тропе показался вооруженный человек. Он шел скрадом, будто по следу зверя,— бесшумно, настороженно, ружье держал в руках, готовый в любую минуту вскинуть и выстрелить.

«Подпущу поближе. Скомандую: «Сдавайся», а там видно будет».

А человек черной тенью ближе мелькал между деревьями. Наконец шагах в двадцати показался весь.

«Дядя Ондре! Зачем же это он нас-то выслеживает?— узнал Ганька охотника.— А может, он связан с бандюгами? Нет, не должен. Я знаю дядю Ондре».

Ганька с Петькой поднялись и вышли навстречу.

— Мэндэ!

— Мэнд!

— Аяльди?

— Аяксот! Черт! В родной тайге боишься всякого

встречного. Я тебя, сынок, давно унюхал. Ветер-то от тебя.

— А я вас тоже. «Хозяева» подсказали,— сначала ворон, потом дятел увидел тебя, бросил долбить.

Охотник одобрительно крикнул, заулыбался.

— Грамота-то не испортила тебя. Я думал, пропал сын Волчонка.

— Не-е, дя Ондре, одно другому не мешает.

— На охоту накопытились, парни?— дружелюбно оглядел и Петра.

— Да вот захотелось испытать счастья.

— Это неплохо. Грех тропу Волчонка забывать. Забросишь — зачахнешь!— оглядев Ганьку, усмехнулся.— А как при встрече с амакой¹, штаны дрожат?

— Да, всяко бывает!— засмеялся Ганька.

— Ничего, со временем окрепнет сердце.

Магдаулев начал издали.

— Дя Ондре, ты вот амаку не боишься, а как нас зачуял, сразу забоялся, начал скрадывать, ружье на изготовку взял.

— А вы зачем за колодой спрятались?

— Неприятно, когда за тобой следят. Не знаешь, из-за какого дерева выстрелит бандит.

— О-бой! Сынок, оказывается, и ты слышал про худых людей.

— Знаю, отец. Куруткан со своими где-то близко. Помню, как мой бабай все время враждовал с ним...

— Хы, а я-то, думаешь, нюхал ему голову? Куруткан-то, выродок свиньи и лисицы! Он меня за человека не считал, вечно просмеивал. А росли вместе в Белых Водах.

Теперь Ганька понял, что надо говорить откровенно, куда и зачем они идут.

— Дядя Ондре, чтоб узнать тропу худых людей, надо знать, где их стойбище. Ведь чумница, хоть и петляет, а все равно приводит к чуму.

— Сын Волчонка прав. Тут недалеко жил шаман. Кроме бога ни о чем не баил. Но ты расспроси его. Может, он знает про Куруткана. Он наверняка знает о тех худых людях — тропу-то к шаману Куруткан должен знать.

— А ты, дядя Ондре, встречался с теми людьми?

¹ Амака — медведь.

Охотник настороженно вздернулся, испуганно взглянул на Магдаулеву.

— Ты... это зачем? Не изложить ли хочешь Куруткана? Ты, сынок, брось! Убьет змеюга тебя. Он ведь не один.

— Не один, говоришь? Ты, дядя, скажи, с кем он тропит и где их стойбище?

— О, эльдэрэк! Да ты с ума спятил? На верную смерть идешь и парня загубишь. С ним какой-то русский ходит. Злее змеи смотрит на человека.

— Такой рыжий, среднего роста, в средних годах. Он, нет?

— Откуда знаешь? Видел его, что ли? Ой-ей-ей! Вон на какого «зверя» вы тянете тропу, а я и то думаю, зачем эти парни так далеко привалили, когда мясо рядом можно упромыслить.

— Да ты встречал тех?

— Трубку курил, молчал, а те баили, теребили меня языками. «По душе ли эвенкам колхозы? Я сказал: не могу понять, голова худо варит. Куда люди — туда я».

— Еще что спрашивали?

— Видят, что из меня путного ничего не выдавишь, отстали. Только про меня нигде не болтай, убить могут.

— А шаман, поди, с ними?

— Может быть, но едва ли. Рехнулся старик. Со всеми болтает. Бурундук подбежит к двери, он с ним, как с человеком. Ворона каркнула, он выскочит и тоже каркает, — охотник махнул рукой. — А ты сегодня ночуй у него в юрте. Может, чего и раскумекаешь. Ладно, я пойду дальше.

— А ты, дя Ондре, давно встречался с Курутканом?

— До рождения этого месяца, — охотник сторожко пошagal дальше.

Парни долго стояли на месте. Ондре давно скрылся за поворотом, а они все еще на месте.

— Что он баил? — спросил Грабежов.

— Банда где-то здесь.

— Но-о?! Куру мать! Свяжем — и в милицию.

— Беда же с тобой, Петька, все напролом. Не-е, брат, Воловик упредил меня: «На зверье идете. Осторожней будьте».

Еще осторожнее шагают парни. Тайга-то совсем другой выглядит — угрюмая, грозит бедой. Переглянутся они, подмигнут друг другу, ухмыльнутся для бодрости. Ведь неприятно у обоих на душе...

Ганька с Петькой наконец наткнулись на юрту и влезли в узенькую дверцу. Посредине холодный очаг чернел. В углах валялись грязные тряпки, обрывки звериной шкуры. Даже не пахло жильем.

— Мэнде, шаман!— шутя поздоровался Ганька.

— След простыл.

— Да-а. Эх, черт! Не везет нам.

— А вонь-то прет из-под нар!

Парни поспешили выйти на воздух. Огляделись. Скалы вздыбились темно-бурыми отвесными стенами. Справа и слева, соперничая друг перед другом крутизной, с поднебесья смотрели угрюмые горы. Кто-то из древних сказочных богатырей разрубил эти скалы, «рана» заросла стлаником и кустарником, остался глубокий шрам, по дну которого неслась речка.

«Почему же он живет в этой узенькой теснине, где и солнце-то бывает редко? Сырость. Наверно, все время дует хиуз студеный. Это место удобно только бандитам. Если засесть на одну из этих скал доброму стрелку, то он не пропустит вверх по тропе ни одного человека. Тысячу уложит. Ведь по этой узенькой террасе может пройти лишь один человек. По ней вверх уходит едва заметная тропка. А не является ли этот шаман сторожем Курутканова стойбища? Притворился сумасшедшим, а сам, как хитрющая собака. Мешкать некогда. Нужно быстрее разведать стойбище бандитов и убираться в Таськимо»,— решил Магдаулев. Своими мыслями поделился с товарищем.

— Тебе виднее, Ганьча, ты таежник. Веди хоть к черту на рога.

— Эти еще хуже чертей.

Через час хода парни наткнулись на темную скалу. Зашли будто в мешок какой. Высоченные скалы набычились друг на друга, вот-вот начнут бодаться.

Возвращаться не хотелось. Сели отдохнуть. Задумались.

Теплыми ветрами и каждодневным солнцем отогрело таежную землю. Даже в самых глухих и глубоких ущельях пузырится и тает снег. С появлением утреннего солнца быстро сменяется ночная прохлада, и у птиц

веселье еще сильнее разгорается. Не уймешь их! Кто кричит, кто свистит, кто тоненько пищит. Всяк по-своему старается, но никто друг другу не испортит песню. Все это многоголосье вдруг покрывается грозным ревом медведя, но еще не успело затихнуть эхо могучего голоса, а птичий концерт продолжается с еще большим жаром. Сюда же вплетается шум и грохот речек. И все это сливается в единую музыку весенней тайги.

Ласковый ветерок налетает на согретые теплом деревья, щекочет зеленые кроны, заставляет их шепеляво перешептываться.

Но вот послышался грохот. Река бежала словно по крутой гранитной лестнице. Она походила на диковинного голубого зверя, разбуженного после долгой зимней спячки. На перекатах с особенной силой сплетались и расплетались ее зеленовато-голубые струи.

Цицик с Алганаям подъехали к крутому каменистому берегу. Над обрывом чернело свежее кострище, виднелись следы подкованных лошадей.

— Охотники-эвенки были проездом. Здесь они переправились через реку.

— Нет, доченька, не эвенки. Это буряты или русские.

Алганай внимательно осмотрел следы, чтобы по ним узнать, где переправились те люди. Подкованные копыта дошли до воды и исчезли. Обратных следов не было.

— Здесь переправились. Недавно. Давай, доченька, выпьем чайку. Будде Амитабу помолимся, духам — хозяевам вот этой реки. Сердитая она, смотри, как кипит, клокочет вся. Долго ли утонуть в ней.

— И кони отдохнут, — поддержала Цицик.

Рядом с костровищем куча дров, береста тут же. Наши путники быстро вскипятили чай, пообедали.

Цицик оглядела отца. Старик заметно повеселел, стал бодрее, предприимчивей. Будто внутри у него, в душе, прорвало тугую перегородку — он стал разговорчивым, даже болтливым. И это ей нравилось.

— Бабай, тебе хорошо? Не жалеешь, что едем на встречу, может быть, твоей беде? Посадят тебя в тюрьму.

— Я радуюсь. Я боялся беды там. Я думал, ты узнаешь, кто такой Новиков и...

Цицик удивленно уставилась на отца.

— Кто же он такой, этот Новиков? Разве я что-то не знаю? — Алганай долго молчал, сосал и чмокал свою

трубку. Потом тяжело вздохнул. Разгреб палочкой потухающий костер. Огонь вновь запылал.

— Видишь, как ожил костер?— Алганай мотнул головой.— Так же вновь вспыхнет огонь горечи неизбежной в твоей груди. Не надо душу беречь прошлым. Живые думают о живом. А праведники усопшие спят святым сном. Кеша твой был одним из праведников, пострадавший за народ. Не надо, дочь, разжигать костер. Пусть постепенно тлеет и угаснет.

Цицик под села к отцу, прижалась, как в далеком детстве. У Алганая потекли слезы. Крупные капли, каждая в одиночку, спускались по морщинам щек.

— Ладно, не буду приставать к тебе. Не надо плакать.

— Да вот... говорят же — «не родись красивой...». Жалко тебя, доченька. Разве я думал, что у тебя будет такая судьба.

— Раз жалеешь, скажи, что кроется за этим Новиковым?

Долго в задумчивости молчал старик Алганай. Очнувшись, тихо заговорил:

— ...Страшный человек... Это он... Это каратель — барон Стренге...

— Стренге?! Это он убил Кешу?

Цицик вмиг оказалась на лошади. Не успел старик и рта раскрыть — ее след простыл.

* * *

Завидев шамана, Цицик резко осадил коня.

— Ты, Цицик, куда это?

— Обратно к Куруткану.

Шаман устало навалился на пень. Затряс головой.

— Куруткан со своими убежал в гольцы. Едва не поймали их.

— Сегодня?... вчера?

— Т-там... т-там... убьют...

— Кто? Кого?— Цицик соскочила с седла.

Шаман проглотил слюну, облизнул губы. В глазах страх.

— Т-там... милиция... Алганая уволочут в тюрьму. Тебя тоже. Я прикинулся сумасшедшим... О, небожители!.. Смерть!..

Хонгор отвернулся в сторону и косым взглядом наблюдал за девушкой.

У Цицик на лице растерянность.

— Значит, я не пристрелю Стренге?.. О, собака!.. Но погоди!..

Шаман резко придвинулся к Цицик.

— Ты! Ты с ума спятила?

Девушка презрительно взглянула на шамана. Не спеша села на коня и без слов поехала в обратную сторону.

— Цицик, не бросай! Меня съедят звери!

— Ты шаман, отмолишься от них!— крикнула и скрылась за поворотом.

* * *

Парни сидели долго. Вдруг Петька обратил внимание на черную узкую щель в скале. Человеку через эту щель не пройти — слишком узка... По бокам ее, будто руками выложены, две стенки из небольших каменных плит. «А если их раскидать, то и конь пройдет»,— подумал Петька.

Об этом поделился с Ганькой, который сидел опустив голову. Подошли. Заглянули в расщелину и, когда привыкли к темноте глаза, рассмотрели грот. Быстро раскидали боковые камни и вошли.

Им стало не по себе. Все время чувствовали на себе чей-то пристальный взгляд. «А вдруг начнут палить в нас?» — думал каждый из них. Не сговариваясь, передернули затворы ружей.

— Ты нацелься назад, а я вперед,— сказал Ганька.

Грабежов сам понимал, что надо делать,— зорко оглядывался. Грот был высокий, чистый. Пол грота устлан мелким щебнем. Впереди лился дневной свет.

Шагов через сотню грот кончился. Парни, при виде открывшейся картины, опешили.

Перед ними широкая падь, похожая на огромную чашу с высокими бортами. Со всех сторон ограда из скалистых неприступных гор, понизу покрытых темно-зеленым кедром. Безмолвие охватило когда-то давным-давно всю эту местность, и оно держится до сих пор. Ни одна веточка не качнется в застывшем голубом воздухе. Здесь, на ровной площадке, та же речка, только спокойная, весело журчала. Между красивыми перелесками

дремали поляны, на которых можно пасти домашний скот.

В поднебесной вышине гряды гольцов убегали в пепельно-синюю даль и там тонули в сиреновой мари.

«Где-то здесь, может быть, и спряталось бандитское стойбище?— подумал Ганька.— Не забыть бы про опасность — такая мирная картина»,— подкрадываясь из-за деревьев, удивлялся он. За ним, сердито бурча, шел Грабежов.

— Ты о чем, Петя?— тихо спросил Магдаулев.

— Бежишь куда-то, не догнать.

— Я, Петя, забываю... Я будто на охоте, скрадываю зверя, который может удрать.

Наконец, пройдя по густому сосняку, парни уткнулись в большой чум. Рядом стояли три добротные юрты. Парни резко присели и из кустарника оглядели окрестность.

Стояла мертвая тишина. Звенело в ушах. Парни переглянулись. Разочарованно покачал Ганька головой.

— Удрали, черти.

Вошли в чум — пусто. В юртах тоже. Как на смех, у входа в чум, висели черные шелковые шаровары Чолбон.

— Как... Как знамя бандитское,— усмехнулся Ганька.

— Тьфу язва! Таку иху, разэдаку! Только такое знамя им и подходит.

* * *

Цицик подъехала к тому месту, где оставила отца. Река стремительно с глухим шумом неслась вниз к черной скале.

— Бабай, где ты-ы!— громко закричала она и тревожно стала озираться кругом. Но берег был пустынным, ни единой души. Заныло сердце.

«Неужели один поехал через реку?»

Соскочила с седла, подбежала к самой воде, где сверкала мелкая галька. Увидела свежий отпечаток копыт. Изо всей силы закричала:

— Бабай!.. Ба-а-бай!.. У-у-уй!

Из-за реки никто не откликался.

«Неужели не слышит? Каких-то двести сажен... Не может быть!»

За рекой, ниже брода, кружилась целая стая ворон.

«Чего это они зачуяли?.. Утопленника разглядели?» — резанула ужасная мысль.

Лошадь под Цицик молодая, сильная и то едва справлялась с бурным течением. Уже у самого берега споткнулась, закачалась, но устояла и проворно выскочила на крутой яр.

— Ба-бай! Э-э-эй, где ты-ы-ы! — кричала Цицик.

Молчала угрюмая тайга. Резко и радостно каркали вороны. Берега высокие, обрывистые, бурелом непроходимый.

Цицик в отчаянии бросила коня и побежала к месту, где кружилась стая. Вороны не напрасно каркали — Цицик увидела лошадь у самой воды. Некоторые птицы уже сидели на ней и жадно клевали.

Не помня себя девушка бросилась туда и узнала гнедого коня, на котором ехал Алганай.

«А бабай, может, еще не утонул, держится еще», — подумала с надеждой.

— Ба-бай!.. Держись!.. Я спасу-у! — неистово закричала, зарыдала и, словно безумная, кинулась искать.

Ниже по реке стоял невообразимый грохот. Цицик, не отводя глаз от воды, быстро бежала туда. Она запиналась, падала, поднималась и продолжала бежать. Ей казалось, что каждая секунда промедления может стать роковой — не успеет спасти отца. Мчалась над самой кручей туда, где ее бабай, может быть, уцепился и держится за последний сучок упавшего в воду дерева.

Наконец Цицик подбежала к водопаду. Здесь река с разбега прыгала вперед, а затем, падая в черное провалище, исчезала под скалой.

«Вот, где могила бабая твоего?» — будто кто-то прошептал над ухом.

Цицик со стоном свалилась на траву.

Тайга надежно спрятала коня. Сколько ни искала Цицик его — все попусту. Коня нет; словно сговорившись, злые духи — друзья шамана, крепко держали ее, не отпуская из своих когтей.

Удрученная, убитая горем, Цицик вяло шагала к берегу, чтоб еще раз поклониться бездонной могиле Алганая. Рокот водопада усилился, она вздрогнула, взглянула вперед и увидела шамана.

Хонгора, видимо, также привлекла стая ворон, и он подошел к труп лошади. Потом он бросился и поднял шарф, утерянный девушкой. Страшным голосом заревел:

— Утонула! Утонула Цицик! Утонула!

Подбежал к водопаду.

— О, проклятье!.. Не родиться больше Чингисхану! — прокричал он одно и тоже несколько раз. Потом взвыл волком, разорвав на груди халат, оголил тощую грудь свою и яростно стал царапать ее.

Шаман стоял на выступе скалы, под которым бурлил водопад. Он молитвенно возвел к небу руки и долго-долго молился небожителям. Потом опустился на колени и стал просить злого духа Эрлин-хана, чтоб тот отпустил из подводного царства души утопших Цицик и Алганая. Но, видимо получив отказ, он лег на живот и стал молиться священной змее Юдбе, которая, по шаманскому поверью охраняет вход в подводное царство, куда ушли Цицик с Агланаем. Долго лежал шаман, молитвенно сложив ладони рук. Наконец сжалась над Хонгором священная змея Юдба, согласилась пропустить его к Цицику, — так показалось, наверное, бедному шаману. Он вскочил на ноги. Издал крик радости и пустился в бешеный боо-хатар. В этот раз он исполнял «Танец смерти».

Сколько раз Цицик глядела на боо-хатар. Боялась она, в страхе тряслась, но смотрела, была не в силах оторваться от этого первобытного танца, потому что в нем воплотилась какая-то непонятная, удивительная по мощи и выразительности сатанинская привлекательная сила, которая покоряла всех присутствующих, в том числе и ее.

А сейчас шаман Хонгор был неузнаваем. Он исполнял редчайший боо-хатар — бешеный «Танец смерти».

Извиваясь, как змей, — он подражал Юдбе, прыгал высоко вверх. Его фигура металась над самым обрывом, под которым бесновались белопенные воды реки. Было невероятно, как это он ухитрился не улететь в стремительный водоворот.

Цицик стояла, прижав руки к груди. Она боялась пошевелиться, боялась дышать...

Вдруг шаман прекратил свой боо-хатар. Обмотал шарфом голову, нагнулся над водопадом, протянул руки и закричал:

— Благодарен тебе, славная змея Юдба! Не оттолкни боо Хонгора от утопшей Цицик. Я ее обниму и лягу рядом с ней под твоим вечным покровом.

Не успела Цицик моргнуть глазом, шаман черной птицей пролетел и скрылся под водой.

— Зачем?!— вскрикнула девушка и подбежала к берегу.

Там, в черном ущелье, похожем на пасть дракона, кончилась жизнь последнего служителя черной шаманской веры.

Глава четырнадцатая

Монка Харламов приехал в Баргузин по делам заповедника, прихватив с собой акт о пожаре. В этот же вечер он зашел к Голубевым. Было воскресенье. Голубев, один-одинешенек, сидел за обильный стол; по выходным дням он позволял себе выпить.

Когда хозяйка открыла массивную дверь и впустила позднего гостя, Александр Никодимыч уже сидел за столом и пощипывал струны гитары. На мясистом лице его пьяно голубели глаза.

Монка поздоровался. Ухмыляясь, подошел к хозяину.

— Господин штабс-капитан, задание выполнено. Пойман Сватоша. Зацепил крепко, не сорвется...

— Но, но...— погрозил тот пальцем.— Поосторожнее со штабс-капитаном... А со Сватошем не врешь?

— Хы, где уж тут, врешь-то... Он поджег тайгу в заповеднике. Мы с Анохиным сделали комиссию, взяли с собой верного человека из новеньких... Составили акт.

— Молодцы. Все ли записали, что сгорело?

— Набухали больше. Кто пойдет проверять-то, медведь, што ли.

— При надобности сам проверю, прибрасывать-то тоже надо умело.

— Вам-то, Лександр Никодимыч, большая вера — шишка на ровном месте.

— Акт привез?

— Как святую Библию берег за пазухой, прямо на ваше имя,— Монка порывлся и подал пакет.

Долго читал Голубев, тряс головой. Потом одобрительно крикнул, вложил акт в конверт и расхохотался:

— Сто двенадцать ошибок грамматических в акте, но зато стиль напористый, прямо скажу — на уничтожение Сватоша. Ну что ж, молодцы! Выпьем за это, держи, ефрейтор Харламов, бокал!

Утерев рукавом усы и губы, Монка спросил:

— В Москву, поди, сообщите на Сватоша — и долой с работы?

В этот раз Голубев разоткровенничался:

— Обязательно сообщим в Москву, пошлем один экземпляр акта туда, а второй — прокурору. Судить будем. С работы точно прогоним. Зацепка есть, — предательство. Сватош сознательно пошел на уничтожение заповедной тайги. Это можно квалифицировать, как действие матерого врага Советской власти. Понял? Ну, само собой, я должен подсказать начальству, что Сватош по национальности чех, что в гражданскую войну он-де являлся с белочехами... Тут, видишь, дело темное — ведь и на самом деле сволочные белочехи тогда разгуливали по Байкалу и на «Ангаре» и на шхунах. Пойди докажи, что они не были в Подлеморье и не обнимались со Сватошем, не увозили баргузинских соболей... Это наша козырная карта. И пожар... его пустил Сватош, чтоб подсадить Анохина, дескать, обиделся — скинули с директорства...

— Ох и голова у вас, штабс-капитан!

— Сказал тебе, тише! Понял?

— Дык я... дык шутя, Лександр Никодимыч.

— Сватоша уберем — станем хозяевами заповедника. Соболю — мягкое золото. Чуешь это, нет? Но надо с умом. Ты, Монка, не перебери карты.

* * *

Невелик город Верхнеудинск, но в нем есть педтехникум, который готовит учителей для республики. Летом туда съезжаются заочники. Приехали и баргузинцы. В тот же день по приезде, когда лунный свет пал на ближнюю к городу сосновую рощу, Ганька с Туяной сидели на ее опушке у костра.

Тонкие пальчики Туяны перебирали Ганькины волосы. Она тихо напевала монгольскую песенку о резвом жеребенке. Магдаулев слушал ее невнимательно, из головы не выходили мысли о банде. «Но где же они укрылись?.. Ведь там с Курутканом какой-то страшный садист... Почерк один — он тоже расправился с Громовой, как в свое время Стренге с Кешей Мельниковым... Неужели это одно и то же лицо?.. Воловик тоже так думает... Не-ет, нельзя попускаться. Вернусь, и мы с Петькой двинем».

Туяна перестала петь и затормошила Ганьку.

— Эй, ты, молчун! Скажи хоть круглое словечко — «ко-ле-со». А то еще лучше: «Подарю Туяне обручальное кольцо!»

— Уй, верно, спасибо, хоть подсказала, — Ганька встрепенулся, отбросил печальные мысли и, взяв ее за руку, сказал: — А теперь давай послушаем, как будет разговаривать наш огонь.

— Ой! Сказал! Да разве костер может говорить? Э-эх, дикой мой хамниган! — Туяна обняла и нежной душой щекой прижалась к нему. — Ну, хорошо, только давай будем слушать, какую песню поют наши сердца.

— Я уж давно подслушал их разговор. Они уже давно договорились, что век будут вместе... там, в Подлеморье...

Туяна еще крепче прижалась к Ганьке.

— Хитрющий ты мой! Ладно уж, поеду к тебе.

Ганька вскочил, поднял легкую нарядную Туяну, посадил на плечо и понес ее вокруг костра. А сам горит, под ним пылает земля, ему казалось, что все окрест — в красном мареве. Туяна что-то говорила, смеялась, но он не слышал, он оглох, онемел от нахлынувшего счастья. Внезапно, он каким-то чутьем понял просьбу Туяны, осторожно опустил ее на траву и лег рядом с ней...

Взбрело в голову начальства перевезти соболиный питомник в Баргузин. Волей-неволей Зенону Францевичу с Екатериной Афанасьевной пришлось уезжать из Подлеморья.

Пароход «Ангара» бросил якорь недалеко от берега. Сватощ собрался. Одет он, как и всегда, очень скромно, по одежде почти не отличишь его от окружающих. Но только взглянешь в лицо — интеллигентный человек. В голубых глазах ум, спокойствие, достоинство.

— Я еще раз напомним вам, Иван Иванович, — нужно в Больших Черемшанах построить зимовье и завезти туда железную печку, лампу. А то ведь люди-то устают страшно, а отдохнуть нигде...

Директор заповедника Анохин смотрел в сторону «Ангары», не скрывая досады, слушал своего помощника по научной части.

— Ладно, сделаем, Зенон Францыч. А личный состав стражников придется менять. В райисполкоме я согласовал этот вопрос. Там меня поддерживают.

Сватош тяжело вздохнул.

— Я очень прошу вас, Иван Иванович, нужно обязательно задержать на работе Петра Хабеля и Тимофея Короля. Если эти мужики будут охранять самые бойкие места — ни один браконьер не пройдет в заповедник.

У Анохина сердито насупились брови.

— Еще рано об этом думать. Хабеля твоего придется уволить на этих же днях, а на Короля еще посмотрю — со мной не желает считаться. Да и сами знаете, что он пустил пожар.

— Если уж придется... то за пожар будем отвечать мы оба. Пожар возник по неизвестной причине. Мы с Тимофеем тут ни при чем... Как-то сумели его задержать, затушить...

— Комиссия была на месте пожара. Люди не слепые. «Ангара» подала второй гудок.

Из шлюпки выскочил здоровенный моряк и замахал рукой.

— Зенон Францыч, пора отчаливать!

Сватош мотнул головой и на ходу сказал Анохину:

— Уволишь Короля и Хабеля — буду жаловаться в управление.

На скуластом бронзовом лице Анохина промелькнула презрительная усмешка.

— Ты, Зенон, подумай о себе. За пожар-то ответишь больше, чем Тимоха.

— Можно к вам? Здравствуйте!

Тучный бурят — председатель исполкома, холодно кивнул.

— По какому вопросу?

— У меня серьезный разговор будет, товарищ председатель. Я написал подробную докладную в отношении соболиного питомника. Второй вопрос о рабочих заповедника, которых собрался увольнять директор Анохин.

Долгим взглядом окинул Сватоша хозяин кабинета.

— Хозяйственными вопросами и рабочей силой занимается мой заместитель — товарищ Голубев. Зайдите к нему.

Сватош пожал плечами, распрощался.

Голубев встретил Сватоша с широкой улыбкой. На пухлом, чисто выбритом лице две бирюзовые пуговицы-глазки полуприкрыты. В них добродушие, теплота. Жестом пригласил сесть.

— Ого! Сам основатель заповедника пожаловал ко мне. Расскажите, расскажите, каковы дела ваши. Садитесь, Зенон Францевич, как вам удобней,— придвинул стул.

— Зашел... вот написал я, товарищ Голубев, докладную. С первых же дней не повезло питомнику. Плохи дела. Все же напрасно сюда перетащили его из Подлеморья. Зверьки болеют, затруднения с кормами...

— Дайте мне вашу докладную, Зенон Францевич. Я ее изучу и поставлю вопрос на сессии исполкома. А еще что?

— Второй вопрос,— Сватош поцарапал бровь,— видите ли, я много лет вел борьбу с браконьерством. Это очень трудное и порой опасное занятие. Не каждый человек может пойти на эту работу. В течение ряда лет подбирали в стражу заповедника наиболее способных людей — смелых и отличных лыжников.

— Ну, и в чем же дело, дорогой Зенон Францевич, я могу помочь, в колхозах найдем охотников — добрых лыжников.

— Дело-то в том, что в данное время в заповеднике есть отличные стражники, но их увольняет Анохин.

— Кого именно?

— Петра Хабеля и Тимофея Короля.

Бирюзовые пуговицы Голубева совсем спрятались за толстыми веками.

— Анохин прав... Сколько из вас выпил крови Хабель, а?... Зенон Францевич, чего молчите?

— Да, много неприятностей пережил из-за него. Но я сумел как-то повлиять на Хабеля. Он сам попросился в стражу. Работает исключительно самоотверженно, честно.

— Добрый вы человекище, Зенон Францевич, но это для руководителя большой минус. Поэтому мы выдвинули товарища Анохина на ваше место, а вам предложили чисто научного характера работу. Разве вы не довольны? Может, помочь вам? Дадим ветврача. Улучшим питание ваших зверьков.

— Да, помощь нужна — немедленно уберите из заповедника неграмотного Анохина и его помощника Харламова, человека исключительно подлой натуры.

Голубев рассмеялся.

— Что вы? Этого мы не можем допустить. Анохин — выдвиженец. Есть указания партии и правительства

о выдвижении на руководящие посты товарищей из низов — из рабочих и крестьян. Мы обязаны неуклонно выполнять эти указания. Это политика партии.

— Но ведь заповедник-то — научно-исследовательское учреждение. Ведь охрана природы тоже политика партии. Сам товарищ Ленин писал об этом. Руководить заповедником должны люди образованные... И потом, это безобразие, вы санкционируете увольнение лучших наших стражников...

— Зенон Францевич, вы о себе подумайте. Ведь на вас оформлено дело о поджоге заповедника... Не сегодня-завтра вас вызовет прокурор... Да и Тимофея Короля тоже...

Сватощ побледнел, потом его широкое лицо густо покраснело. Он порывисто встал.

— Я понял вас,— Зенон Францевич так и не смог произнести слово «товарищ». Ушел.

* * *

Цицик с детства любила лес. Ей были милы душистые ольхонские сосняки, распутившиеся по мягким сопкам. А тут — тайга. Дикая, дремуче-буреломная. Едва заметная тропа завела их с отцом на буйную реку с обманчивым дном. По приметам, медведей здесь — будто скота в добром улусе. Того и гляди, налетит один из них.

Цицик поклонилась реке — могиле отца и, обливаясь слезами, пошла в сторону пологого хребта, откуда, по словам Чолбон, должен начаться спуск к Байкалу.

Уже поднявшись на вершину водораздела, она осталась в нерешительности. Горы черногровые, одна выше другой, уходили в неизвестность.

«Может, это не в сторону Байкала? Может, совсем в другую сторону, где и люди-то не живут. А если вернуться на Курутканово стойбище?— Цицик тяжело вздохнула.— Нет, лучше смерть, чем с этими бандюгами. Да и реку пешком не перейду».

По тайге все петляет и петляет старая тропа. Почерневшие от времени затесы на стволах деревьев говорят, что по ней ходили люди с побережья Байкала в гольцы за соболем. Но так ли на самом деле, этого никак не могла узнать она, так как одна в тайге была впервые.

По здешней тайге когда-то разбоем прошел лесной пожар. Может быть, дошел до этих мест, хотел и даль-

ше пройти, но его затушил ливневый дождь. Поэтому деревья высились попеременно — живые и мертвые, обугленные, засохшие на корню и живые, с ярко-зеленой кроной.

Цицик собрала сухие сучья, обломки. Разожгла костер. Задумалась.

С самого раннего детства она росла в богатом доме. Бабай Алганай, как нянька, всегда был готов исполнить любое ее желание. И боо Хонгор тут же, словно черная тень Алганая: мудрый, всезнающий, далеко вперед видевший, советчик, наставник, фанатично веривший, что Цицик прамаць бурятского народа — лебедь-девушка из древней легенды, которая должна родить Чингисхана Второго. И вот их нет. Она одна на белом свете...

Цицик удивлялась себе. Почему-то и слез нет? Почему-то сердце твердым комком сжалось? Она тяжело вздохнула и начала вспоминать, как они с бабаем Алганом мирно жили на прекрасном острове Ольхоне.

«Найду ли я Байкал? Там, как рассказывали, есть рыбацкие зимовья. Эвенки живут рядом с ними». — Незаметно для себя Цицик заснула.

Цицик зачем-то и дальше шла с уздой в руке. Несколько раз порывалась бросить ее, но раздумывала.

Сырость, комарье, мошкара. Цицик закутала голову платком — одни глаза да нос. Все равно кусаются. Тело зудит, болит.

Временами Цицик чувствовала на своей спине чьи-то недобрые глаза. Ее брала жуть. Она взводила курок револьвера и резко оборачивалась назад. Никого. Успокоившись, шла дальше.

«Жила ли я вообще? Быть может, меня пустили на белый свет вот сейчас только? А эти толстые деревья. Ох, как тяжелы они. Будто несущие одно из них», — проносились сумбурные мысли.

Цицик шла без отдыха. Куда шла, не знала.

«Вот бы попасть мне в Таськимо! Шаман говорил, что оттуда пришел сын Волчонка с друзьями и расправился с бандой. Значит, Ганя и сейчас там. Он бы помог мне!»

Все время она спускалась вниз по течению едва заметного ручейка. Ручей весело журчал на своих крохотных перекатках. «Все равно к Байкалу приведешь ме-

ня?» — мысленно обращалась Цицик к ручейку. Частенько, вспугнутые ею звери, поднимая шум-треск, убежали прочь. Цицик облегченно вздыхала и продолжала путь.

Узда пригодилась. На ночь она взбиралась на дерево и, чтоб не свалиться во время сна, ремненным поводом привязывала себя к стволу. Долго отбивалась от гнуса, но усталость брала свое — измученная, засыпала непробудным сном.

Шел третий день, как Цицик покинула ту страшную реку, где погибли Алганай с шаманом. Ручеек превратился в шумную многоводную речку.

К обеду в лесу стало темно и крупные капли дождя забарабанили по листьям деревьев. Хлынул дождь. Не успела Цицик подыскать себе укрытие, как вся, с головы до ног, промокла до ниточки. Ливень был настолько сильным, что с косматых крон вода стекала ручьями.

Цицик, сквозь серую муть, увидела громадную колоду и поспешила к ней. Когда-то грозой был расколот, исковеркан могучий кедр. Под его обломками было сухо, как в юрте, и девушка забралась туда.

Одежда неприятно облипала тело, была дрожь. Она кое-как сняла платье и, отжав воду, снова оделась.

«Спичка-то, поди, вымокли! — страшно стало от этой мысли. Достала из кармана развалившуюся от воды коробку. — Осталась без огня. Как теперь быть? Да, ладно, не зима. Скоро доберусь до моря, а там наши люди...»

Цицик прижалась всем телом к сухому дереву. Через несколько минут ей стало теплей. Все тело начало постепенно отходить от какой-то нудной боли, вызванной напряжением и усталостью. Озноб прошел.

Дождь продолжал лить. Налетел ветер, и в кронах высоких деревьев послышалось тихое посвистывание. Тайга монотонно загудела. Этот тихий гул, шепот листьев успокаивающе действовали на Цицик, она задремала.

Цицик проснулась от холода. Дождь перестал, но тайга гудела от сильного ветра. Под навесом, где она укрылась, дул сырой сквозняк, который, казалось, насквозь пронизал ее. Цицик попыталась подняться, но не смогла. Все ее тело будто стянуло железным обручем.

«Ох, смерть, что ли, приходит? Ведь тут медведи съедят. Нет-нет!» — со страхом подумала она. Собрав все силы, Цицик повернулась на бок, потом на другой. Тело совсем чужое, непослушное. Еще раз повернулась назад. Наконец после долгих усилий, Цицик размялась и выползла из-под укрытия. Она кое-как поднялась на ноги и прислонилась к кедру. Ее сильно морозило, тошнило. Кружилась голова.

Ей показалось, что где-то недалеко, разбиваясь о берег, гудят морские волны. Прислушалась.

Оттуда, куда стремительно неслись воды безымянной речки, слышалось: «бу-у-ух!.. бу-ух!.. бу-ух!..»

— Море! — вскрикнула Цицик. — Море!.. Лучше утонуть в море, чем оставаться здесь.

Хотела бежать, но ноги... ноги не слушались ее. Она едва шла. Чем дальше, тем труднее. Все тело горело огнем. В голове стоял гул, звон. В глазах темно. «Наверно, мне почудилось. Нету моря. Взглянуть бы одним глазом, а потом можно и умереть... раз такая судьба моя...»

Но сил не было. Цицик свалилась на колоду, соскользнула на траву и долго лежала в полузабытьи. Может быть, так и заснула бы навеки, но вдруг до ее уха донесся стонущий истошный крик.

— Чайка! Море! — Цицик поднялась, села на колоду. Сквозь редколесье синел, искрился Байкал. Оттуда несло бодрящей прохладой.

— Милый мой! Родной! Хороший! — шептала она Байкалу.

Откуда-то взялись силы. Цицик довольно быстро миновала лес, хотя часто останавливалась. Зачарованно смотрела сквозь слезы вперед, на приближающуюся кромку моря. И вот перед ней громада синей воды. С белыми гребешками волны весело катятся одна за другой. Вдали, подернутые светло-пепельной дымкой, видны родные заморские горы.

«Там, эти горы вплоть подходят к Малому морю! И там мой остров Ольхон! Там Ольхон мой!.. мой!..»

Цицик навзрыд заплакала. Так плачут дети, уткнувшись в подол матери, когда им очень обидно.

Снова все заволочло. Слезы, слезы.

— Родной мой!.. Родной, возьми меня!.. — шептала она, шагая с протянутыми руками, и неожиданно почти уперлась в крохотное рыбацкое зимовье. Удивленно

вгляделась. Кое-как перешагнула через порог и свалилась на нары.

Тысячи колокольчиков звенели в ушах Цицик. Голова раскалывалась на части. Во рту пересохло. Хотелось пить, пить. Жар невыносимый... Цицик провалилась в багровое месиво, которое то темнело, то светлело.

«Неужели это смерть?» — пронеслось в голове.

Откуда-то появился шаман. Он наклонился над ней и шепчет:

«По велению небожителей и рока ты должна жить! Ты должна родить потрясателя вселенной Чингисхана!»

Цицик смеется в ответ.

Хонгор в ярко-красной одежде взметнулся высоко вверх и оказался среди огненно-красных туч. Там, в лучах угасающего закатного солнца, он пустился в бешеный танец боо-хатар. Оглушительно гремели тысячи барабанов, а может, это шумели крутые байкальские волны, падая на прибрежные камни.

Цицик бредила... Сознание прояснялось иногда, но ненадолго, и снова картины, картины из ее минувшей жизни.

Вот она оказалась в Онгоконе на острове любви — Елене. К ней подъехал Ганька, зовет в лодку.

— Садись, Цицик, едем к нам.

— Ох, как хорошо у тебя! — усаживаясь на скамейку, говорит Цицик. — Наконец-то буду со своими.

— Да, да, со своими! — улыбается Ганька.

Цицик берет ярко-красное кормовое весло.

— Ну, теперь-то я сама управлюсь, Ганя! — шепчет она и плывет, плывет, плывет по голубой шелковой глади Байкала. Впереди дали синие, синие. Так хорошо. Затихла Цицик. Больше для нее не существовало ни боли, ни жажды, ни горечи бессилия.

* * *

Сватosh подошел к большому деревянному дому, на котором висели вывески: «Прокуратура», «Народный суд».

Узенькая, крутая лестница вела на верхний этаж. Устало перешагнув через высокий порог, он поздоровался с большеглазой курносой девушкой.

— Прокурор у себя?

— Товарища Ринчино нету. Зайдите к товарищу Ко-

ровину, — официальным тоном, словно заранее заученные слова, выпалила курносая.

Следователь Коровин поднял узколобую голову. От скуластого темно-бронзового лица веяло равнодушием. На приветствие Сватоша кивнул, выпятил толстую нижнюю губу.

— Садитесь, — почти шепотом, произнес одними губами и, достав из папки два листа исписанной бумаги, протянул Сватошу. — Читайте, Зенон Францевич, скажу по правде, неприятные для вас эти бумажки.

Сватош удивленно поднял густые брови и начал читать.

«...При сем направляю акт, составленный на бывшего директора Баргузинского соболиного заповедника гражданина Сватоша Зенона Францевича, который будучи в июне месяце сего года на территории заповедника, поджег заповедную тайгу. Сгорело более 500 га бесценного кедрового массива.

Этим самым гражданин Сватош З. Ф. нанес огромный ущерб заповеднику.

Я считаю, что это есть явная вылазка классового врага и его преступление расцениваю, как вредительство, направленное против нашего социалистического государства.

Баргузинский райисполком предлагает прокурору аймака товарищу Ринчино Ц. Р. привлечь гражданина Сватоша Зенона Францевича к строгой судебной ответственности.

Зам. пред. исполкома *Голубев*».

Сватош прочитал и растерянно взглянул на Коровина.

— Фу, черт, какая грязная клевета... Голубев-то, Голубев-то! Не разобрался и поддерживает клеветника. Ох и негодяй этот Харламов!

— Пишите объяснение.

— Зачем писать? Ну, напишу, как мы с Тимофеем Королем ликвидировали опасный очаг пожара. А это вам не подойдет же, как я вижу.

— Да, не подойдет. Оправдания вам не будет.

— Ну, тогда я дождусь прокурора.

— Ждите, Зенон Францевич, лучше не будет. Вопрос решен.

Куруткан со своими скрылся в гольцах и в укромном месте отаборился на лето.

Долину Черных скал — свое любимое место — Куруткан покинул с тяжелыми думами, неохотно. Убрался отсюда из боязни, что Цицик обязательно заявит властям и приведет сюда милицию.

Жить на гольце в летнюю пору одно удовольствие. Отовсюду обдувает прохладным ветерком. Здесь стадами пасутся дикие олени, которых легко упромыслить. Между кустов кедростлани бегают белые куропатки. Жирное, свежее мясо все время жарится на рожнах.

— Знаешь, Куруткан, ты лежи здесь со своей Чолбонкой, наедай жир, а я не могу, — Стренге со злостью отбросил кость.

Куруткан покачал головой.

— Внизу нас ждут. Иди, иди...

Стренге раскраснелся, вскочил, вытаращив глаза, крутнулся на месте.

— Как волков обложили! Вот только и спасенье, что на этих скалах... Туда нельзя! Сюда нельзя!

— Сидеть нада тихо-тихо, — хмуро взглянул на товарища Куруткан и снова улегся на оленью шкуру. — Не нада было той учительнице глаза колоть. Теперь весь народ на нас злой. Все ловить нас будут.

Стренге в отчаянии стал царапать волосатую грудь. Тяжело дыша, опустился. Закурил. Задумался.

Вдруг он хлопнул себя по лбу.

— Эй, друг-тала, знаешь, што я сотворю? Здорово будет!

Куруткан лениво повернулся к нему.

— Не знаю, баить нада.

— Вот тебе и баить... Заповедник рядом, а он чей? А?.. Для кого Сватош как собака охраняет соболя? — Для Советов. Этот Сватош не дурак! Знай его. Он великое дело творит, но только не для нас. Понял? Стало быть, што нам надо предпринять? а? — Тайгу в заповеднике надо всю сжечь!

— О-бой! Грех! Грех тайгу зажигать огнем.

— Но дом-то свой сжег, а чего тайгу жалеешь?

— Тайга богини Бугады, она хозяйка. Она шибко осерчает. От нас и так все отвернулись.

— Хорошо. Пойду один. Подпалю не только заповедник, но и всю тайгу.

Неожиданно Куруткан поднялся, взял винтовку.

— Пойдешь заповедник жечь, я тебя застрелю, Стренге упал на траву и заскрежетал зубами.

Чолбон умоляла, лестила, а потом сердито угрожала своему старому Куруткану — звала в те места, где в скалистой горе спрятано золото.

— Ты с ума сошла! — кричал Куруткан, — хочешь в тюрьму меня? Хочешь моей смерти? Ведь там все бело-водские тунгусы теперь в колхозе, все они на меня злые, сразу сообщат в милицию, и мне конец. Как волка загоню изловят. Мне-то, может, простят — темный хам-ниган. Был чуть-чуть похитрей своих сородичей, вот и разбогател на дураках. Поддержат год-два в тюрьме, да и выгонят — людей я не убивал. А вот Стренге попадет-ся в руки большевиков — ему смерть неминуемая.

— Ну и черт с ним! Спрячемся с тобой в горах и будем жить вдвоем. Чего поддался трусости? Ведь ты был когда-то смелым мужиком, за это тебя и любила.

— Без Стренге мы еще скорее погибнем. Он воин, он наша защита. Ты длинноволосая глупая баба, сиди, ешь, спи. Поняла?

* * *

Цицик пришла в себя... Ей так тяжело, что не может пошевелить даже пальцем, не может разомкнуть веки.

«Жива?.. Может... перед смертью очнулась...» — подумала она.

Открыла глаза.

«Вон оно што! Я уже в другом мире», — уверилась мысленно.

Над ней наклонился бородатый Филимон из мельниковской лодки. Ну да, это же — батрак Ефрема. Значит, я в Онгоконе... Нет, нет, откуда же здесь быть Филимону... Ведь он в Таськимо. Ничего не понимаю.

С усилием прошептала:

— Дедушка, не пугай меня.

Старик повернул лицо и сказал кому-то:

— Молитвы мои, кажись, дошли до господа бога.

— Дедушка, я в Онгоконе или где?.. Ты кто?..

— Далеко увела нечистая тебя.

— Ты ведь Филимон... Рыбачишь с Кешей.

— То верно — я раб божий расстрига Филимон, а рыбачу с Петром Грабежовым. Хайризуем мы.

— С Петей?! — Цицик приподняла голову и увидела улыбающегося Грабежова.

— Значит, это не сон?.. Значит, у своих я.

— Цицик, подымайсь, похлебай ухи, — пригласил Грабежов.

— Петя, а Ганя?.. Где же Ганя-то? Вы же всегда вместе.

— С какой-то учебой связался. Мы вот вдвоем с Филимоном.

...Старый Филимон поил Цицик настоем каких-то прямих трав и бубнил, будто филин в ночной тайге:

— Святой отче всех врачевателей, Эскулап Олимпийской, помоги рабу божьему Филимошке — направь его слабые уразумения в целительных травах божеских на путь верный, дабы исцелить рабу божию...

Через несколько дней Цицик поднялась на ноги. Пошатываясь от слабости, поддерживаемая Филимоном, она добрела до берега.

Был яркий день, стояла тишина. Теплые лучи солнца нежно гладили поверхность моря, на котором не было ни морщинки. Только далеко, далеко на горизонте, где голубое шелковое полотно покрылось узенькой ярко-синей окаемкой, слегка рябило, здесь гулял легкий ветерок.

Цицик показалось, что все это во сне. Ласковая гладь, которой она любовалась с раннего детства, так манила к себе, сейчас побежала бы по ней к далекому, родному Ольхону! Сердце громко стучало, звало: домой! домой! домой!

Цицик кое-как оторвалась, оглянулась на дремучую тайгу, откуда она вышла. Вздрыгнула. Вспомнила угрюмую злобную реку, где погиб ее бабай, горько заплакала.

— Не надо! Не надо убиваться! Судьбы людския предначертаны самим господом богом. Даже кесари Римския не имели силы изменить роковую черту между жизнью и смертью, — догадываясь о причине слез, успокаивал ее старик.

— Не могу, бабай Филимон, не могу.

— Терпи, славная дочерь! Бог всетерпеливый несет на себе тяжести грехов людских. Не надо его превеликую ношу умножати. Грех скорбети против воли всевышняго! — В его архаичном говоре было что-то древнее-древнее, Цицик казалось, будто она когда-то и на

самом деле умерла и вновь воскресла в каком-то ином мире, где живет старец Филимон, которого давным-давно встречала в Онгоконе среди шумной рыбацкой ватаги Мельникова.

«А нет ли здесь и Кеши?.. Да ведь он здесь же! Только не показывается», — думала Цицик. Очнувшись от раздумий, щупала себя и, удостоверившись, что она человек во плоти, дышит земным воздухом, живая, только не знающая, что будет с нею дальше, как ей быть, что ей делать, снова опечалилась и уронила голову.

* * *

Цицик настолько выздоровела, что теперь могла готовить еду рыбакам, распутывала сети. Старик целыми днями латал дыры в снастях и напевал какие-то церковные псалмы. А Петька прибирал рыбу — пластал ее, солил и укладывал в новенькие бочки.

Однажды в разговоре Цицик невзначай спросила:

— Бабай Филимон, твой Борис-то, видать, на мать походит. Вы давно овдовели?

Старик нахмурился.

Цицик мысленно обругала себя.

После долгого молчания старик все же поведал ей вот о чем:

..Оставив Туза Червонного с его анархистами, он женился на калашнице Фене и жил припеваючи. А ведь года-то были бедовые — война гражданская шла.

Ежедневно, в ранние утренние часы, по грязной, глинистой улице Иркутска, упираясь, словно ломовая лошадь, тянул Филимон тележку с изрядным количеством булок и калачей. Впереди, отбиваясь сучковатой палкой от наседавших собак, шагала его толстая, суровая супруга.

Иркутянка Феня держала возле себя расстригу Филимона не как мужа, а как неприхотливую тягловую «скотину», на котором возила с базара муку, а на базар — готовую продукцию. Ну, а спала с ним или нет — одному богу известно.

Филимон пытался кое-когда встреть в коммерческие дела супруги, но каждый раз Феня проводила жесткую ревизию — бесцеремонно запускала руку в глубочайшие карманы своего помощника, где обнаруживала

утаенные гривенники на водку и, обозлясь, звонко хлестала его по щекам.

Но грех говорить, что Феня его не кормила. Филимон в любое время мог взять с прилавка калач и, уединившись под тенью грязной, вонькой лавчонки, уплетал его за обе щеки.

Однажды, во время его трапезы (он в этот раз ухитрился «увести» из кармана Фени на шкалик водки), к нему подошел маленький оборвыш и уставился голодными голубыми глазами.

— Отче наш! — перекрестился Филимон. — Глаза!.. У кого же такие глаза? — расстрига хлопнул себя по лбу, — у Иннокентия Мельникова были такие же мягкие, располагающие к себе, голубые глаза!

Филимон протянул малышу калач.

— Человеке, прими сей скромный дар от бывшего иеромонаха Иркутского монастыря Святителя Иннокентия.

Мальчик, не дослушав болтовню пьяного дядьки, выхватил из рук калач и, не прожевывая, давясь, со стоном, стал жадно проглатывать куски.

Филимону стало не по себе. Он возвел к небу большие белесые глаза.

— Мати пресвятая богородица дева Мария! Сокрой нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Бо мы погрязли во грехах! — прелюбоден и обманщики, а рядом терпящие хлад и глад дети малые... Прости нас грешных, пресвятая, спаси от суда Страшного! — Филимон заплакал и притянул к себе мальчика.

— Отрок Иннокешка, будешь сыном прегрешного расстриги?

Беспризорник мотнул головой.

— Борька я. — Мальчик глотнул слюну и уставился голодными глазами.

— Тать, аль честной?

— Не знаю.

— Азбуку, цифири уразумеешь?

— Учился три зимы.

— Добро! Отные быти тебе Борисом Филимоновичем Курбетьевым!

Вечером Филимон привел приемного сына к Фене. В горнице, за круглым столом, накрытым празднично, сидел в полувоенной одежде угрюмый человек.

— Седни у меня дорогой муженек приехамши! —

Калашница выразительно подмигнула Филимону. — Так што нам не до пилки дров... Таперя сами напилим. Идите с богом.

Таким образом, Филимон с Борькой оказались оба на грязной, холодной улице Иркутска.

Мальчи́к тревожно взглянул на новоявленного отца.

В мягких голубых глазах страх, мольба, надежда.

— О, боже, куда же, как не в Подлеморье. Там свои рыбаки, не дадут умереть с голоду, — решил Филимон.

Вот они с Борькой и заявили в Онгокон. А теперь — в Таськимо...

«Чего в жизни не бывает. Разве думала я встретиться здесь с бабаем Филимоном», — подумала Цицик.

Когда-то давным-давно, в далеком Онгоконе, оборванный расстрига издали любовался синеглазой девчонкой. А она, Цицик, увидев лохматого, оборванного дядьку рядом с каторжным варнаком Тузом Червонным, пряталась за отцовской спиной и с замиранием сердца проходила мимо.

Сегодня Цицик с Петькой пошли в море, а Филимона оставили на таборе. Старик прихворнул.

Грабежов поймал мокрую крестовину маяка с венком из кедровых веток и вытянул со дна груз, за который были привязаны сети. В зеленовато-прозрачной воде, на глубине нескольких метров, были видны все камушки. Петька только потянул сети — и тут же забелели брюшки хариусов.

Рыбы попало густо. Цицик с Петькой проворно выпутывали из сети рыбу и кидали на дно лодки. Хариусы отчаянно бились. От этого во все стороны летели брызги холодной воды и обдавали рыбаков.

Наконец мокрые от сетей, но довольные хорошей добычей, Цицик с Петькой уселись в гребни и изо всех сил, чтобы скорее разогреться, нажимали на весла.

На берегу, у разбора, их ждал Филимон. В полушубке, в мохнатой шапке, ворожил зиму, и походил на новгородного Деда Мороза.

— С промыслом, детушки мои!..

— Спасибо, бабай!

— Какой-то катер посылает нам бог! Спасай матерь божия, всех странствующих по неверной зыби морской! — лопотал Филимон и разглядывал из-под трясущейся ладони судно с массой плывущих за ним на буксире рыбацких лодок.

Цицик будто кто-то подкинул. Она вскочила на лежавшую рядом огромную колоду и тревожно разглядывала лодки.

— О, Великий создатель! Ты послал наших! — вскрикнула она на бурятском языке. — Наши!.. Наши ольхонцы! Такие лодки делают только у нас на Ольхоне!.. Только на Ольхоне! Это наши!

Цицик соскочила с колоды, подбежала к самой воде и протянула руки к приближающимся рыбакам ее родного Ольхона. От радости она прыгала, смеялась, кричала на бурятском языке. По ее бледным щекам текли слезы.

Цицик повернулась к Филимону с Петькой.

— Спасибо.. вы меня... спасибо... Теперь я уеду!.. Уеду!..

Глава пятнадцатая

У Чолбон заметно поднялся живот.

— Я рожу, а потом уедем в Маньчжурию.

Стренге мотнул головой и с досады выругался про себя.

В юрту вошел Куруткан. Вывязал из поняги куль и на доску вывалил жирные куски мяса.

— С промыслом, дяличи эды,— обрадовалась Чолбон. — Богиня Бугады не забывает нас.

Довольный Куруткан важно закурил, почмокал и заговорил:

— Тропа здешняя богата зверем. Сядь рядом с ней и ты упромыслишь.

Чолбон кивнула на Стренге.

— Ты бы хоть научил его промыслять зверя. Стал бы он охотником. Соболя, белку добывал бы, мясо приносил в чум. Лучше бы было, если жили мирно... Людей убивать зачем? Жечь чужо добро зачем?

— Дура ты.

Куруткан долго сидел молча. В гибких язычках костра будто хотел прочесть гнетущую, неотвязную мысль: «Как быть дальше?.. Большевикам сдаться — тюрьма, смерть...» Ему хочется еще пожить не по-волчьи, а по-человечески.

— Что будем делать? В долину Баргузина ехать или обратно в Таськимо?.. — словно сквозь сон слышит он голос жены, но молчит, раздумывает.

«...Кто знает, может, и на самом деле Чолбон права. А я, старый сокжой, не слушаюсь ее. Богиня Бугады осерчает и пошлет на мою голову свою немилость — так сделает, что Чолбон родит мертвого ребенка... Тем более нет старушки, которая могла бы принять роды или хотя бы научила ее. Ведь тунгуски сами управляют... — Куруткан выбил из трубки пепел, взглянул на живот жены, тяжело вздохнул. — Вот-вот растрясется, а как быть?.. Придется, пожалуй, ехать к ущелью Белого Волка и там зазимовать... Только надо предупредить талу Стренге, чтоб не пакостил в колхозах, а тем более не убивал людей... Будем зиму лежать в чуме, будто мыши в норах. А то беды не миновать.... А к Чолбон приедет Лэтылкэк. Не откажет брату. Улучу момент, когда не будет дома Бодоула, и упрошу ее. Как-никак, а родная сестрица».

* * *

— Надоел, надоел этот город! Хоть бы скорей домой на Байкал, — говорил Ганька Туяне.

— Фу! Не говори! — покачала та головой, построжала, свела над переносьем тонкие брови. — Так-то мы с тобой не подготовимся к контрольной. Все-таки ты, Ганя, невозможный упрямец. Тихоня, а характер охо-хо! Ты за тот диктант получил «уд», а послушался бы меня, учительница поставила бы оценку «хор». Я ж громко шептала тебе: «Мягкий знак пропустил в слове «кружиться»...», а ты не исправил — «худо, да сам». Меня-то в стыд ввел. Учительница услышала мой шепот. Та-ак сердито взглянула на меня. А ребята сколько смеялись, дразнили.

— А ты-то! Хы! Я тебе готовую задачу под самый нос, а ты отшвырнула. Вот и «уд» получила.

— Ладно, не будем спорить... Ты, Ганя, плохо знаешь неопределенную форму глагола. Правило выучил?

Ганька мотнул головой и начал:

— ...Глагольная форма, отвечающая на вопросы...

— Слабо! Путаешься! В следующий раз, чтоб отчеканил! А теперь будем писать диктант, — девчонка потерла лоб, строго посмотрела на «ученика» и стала читать текст.

Кончив диктовать, Туяна сердитым взглядом оглядела

«класс». Точно подражая любимой учительнице, спросила:

— Все написали?

— Я чичас напышу!

— Магдаулев, не балуй! Собери тетради.

Ганька навалился на стол, хохотал.

— О-ой! Не дай бог быть твоим учеником! Загрязь! Злющая!..

* * *

Прокурор аймака Ринчино с кислым выражением на жирном лице принял Сватоша. Ни о чем не расспрашивая, выбрал грубыми словами. За пожар обозвал вредителем социалистической собственности. Пообещал посадить в тюрьму.

Зенон Францевич вышел от него, как из бани в грязном белье.

«Да неужто и правды не найги?!» — подумал в отчаянии.

Не помнил, как зашел в кабинет секретаря райкома и рассказал о пожаре в заповеднике. Попутно «похвалил» и прокурорскую «баню». Словом, выложил всю охватившую его горечь и с опаской смотрел на сухощавое, с твердой кожей лицо Воловика.

Трофим Изотович развел длинными руками.

— Ну и ну! артисты!.. Значит, Зенон Францыч, вы вдвоем ликвидировали пожар в пятьсот га?

— Да нет же! Это абсурд! Прибавили... Пожар только начался... Сгорело гектаров двадцать, не больше.

Воловик задумался.

«Кому же, интересно, так хочется напакостить Сватошу? Да еще двадцать гектаров превратить в пятьсот! Нелепость! Да и кто может поверить, что Сватош, дрожащий над каждым живым существом, сознательно пустил пожар...»

Воловик в задумчивости склонил голову. Насупив лохматые брови, окинул серыми глазами вошедшую машинистку, жестом приказал ей выйти. Так сидел мину-ту-две. Потом решительно крутнул ручку телефона.

— Мне кабинет прокурора.

— Цыдып Ринчинович?.. Да, Воловик... Что это ты надумал судить Сватоша?.. Кто настаивает?.. Голубев, говоришь? Вот я ему дам прикурить!.. Откуда он взял

эти пятьсот гектаров? А у тебя-то, Цыдып Ринчинович, где голова? Подумай сам, ведь Зенон Францевич — организатор заповедника, сколько лет человек боролся с браконьерством. Да, да! Ты знаешь, что он во время гражданской войны в течение четырех лет работал без зарплаты, — был и директором и сторожем. Сумел защитить заповедник от браконьеров. Да, да!.. Человек, который не дает никому срубить палку в заповеднике, как же он может сознательно пустить пожар? Подумай-ка... Да, да!.. А сейчас, я тебя прошу: напиши короткое, но жесткое прокурорское заключение по данному делу. Обязательно нужно произвести переследствие. Мое отношение к заповеднику тебе известно. В случае чего — беру ответственность на себя. Понял? Вот так... Да, да! Я категорически возражаю. У меня все, Цыдып Ринчинович...

В маленьких серых глазах Воловика мелькнули веселые искорки.

— Ну, как, Зенон Францыч, пугнул вас прокурор? На это он мастер! А вообще-то, он мужик не плохой. Теперь не беспокойтесь. Он с моими доводами вполне согласен. Пошлет следователя на место пожара. Еще какие вопросы у вас? Как питомник?

Сватош повеселел. Придвинулся. Прокашлялся.

— Вот, Трофим Изотыч, тут дело еще страшнее. Соболиный питомник Анохин приказал перевезти в Баргузин совершенно необдуманно. Я возражал, а он ссылается на Голубева.

— Чем же хуже-то?.. Какая разница? — почувствовалось сомнение в голосе секретаря.

— В условиях Подлеморья, во-первых, легче с питанием для зверьков. Там гораздо богаче местная орнитофауна — больше рябчиков и других пернатых; а также легче добыть свежую рыбу, ягоды, кедровые орехи.

— Значит, необходимо переехать вам со зверьками обратно в Кудалды?

— Да, Трофим Изотыч.

Воловик покачал головой.

— Вы, Зенон Францевич, человек ученый, знающий свое дело, чего это так легко поддаетесь и идете на поводу какого-то Анохина или еще там.

— Анохина поддерживает зампред исполкома Голубев. Как будешь возражать?

— А так: упретесь упрямым быком всеми копытами,

и все! А если будут бить — обращайтесь к нам. Разумное, толковое дело райком всегда поддержит.

— Спасибо, Трофим Изотыч. Еще один вопрос к вам. Воловик мотнул головой.

— Наш директор собрался увольнять лучших стражников — Тимофея Короля и Петра Молчанова, по прозвищу Хабель. Он, правда, бывший браконьер, но понял... Без них будет воля вольная хищникам.

Воловик достал из стола большую записную книжку; что-то записал.

— Да-а,— вздохнул он. Не спеша закурил.— Да-а... Видимо, кому-то из нас придется побывать в заповеднике. Что-то творится там неладное. Возможно, что я сам загляну. И в Таськимо у Самойлова давно не был. А потом, через какое-то время вам с Анохиным, видимо, придется отчитаться на заседании бюро райкома. Вы по научной части, Зенон Францевич, сделаете доклад; такой, ну, содержательный, интересный, чтоб и вы через тот доклад, в глазах других, поднялись на надлежащую высоту, что ли. А то сидите там отшельником.

* * *

На гольце появились какие-то люди. То ли геологи, то ли ищут Куруткана и его дружков. На лбу у них не написано. Во время охоты на копытного, Куруткан заметил тех людей издали и в страхе начал метаться по тайге. Искал укромное место, но не смог найти лучше ущелья Белого Волка.

— Как быть? — спросил Куруткан у опытного Стренге.

— Я думал над этим вопросом. Место это отличное. Природная крепость из гранита. Но близко живет твой племянничек. Он, говоришь, сдружился с комсомольцами. Тогда близко от логова все должно быть тихо да мирно, как у волков. Будто нас нет тут. Пусть Самойлов командует своими колхозниками, а сын Волчонка морочит головы молодежи. Пусть, хрен с ним. Доберемся когда-нибудь и до них. А сейчас я поеду в долину Итанцы. Там есть у меня должник. Рассчитаюсь с ним, попутно, где склады, где сено, сожгу. Где и приголублю еще кого-нибудь. Все обделаю так, чтоб наши враги поняли, что мы перешли туда, что там орудуем и живем.

Куруткан хлопнул по плечу Стренге.

— Умно думал! Сотни верст от своего стойбища. Это хорошо. Правильно думал. Там надо тоже ножом колоть глаза, пусть, пусть думают, што Стренге с Курутканом на Итанце-реке гуляют. О-бой! Ты настоящий офицер! Атаман Семенов придет, ты будешь генералом.

— А тебя, Куруткан, вместо князя Гантимура, делают главным шуленгой¹ тунгусского народа.

На темно-бронзовом лице эвенка расплылась довольная улыбка. Узенькие глаза замаслились.

— Значит, не зря терпим страх?

— Да, да, мужайся, Куруткан, скоро и на нашей улице грянет праздник. Да такой — держись!

Вечером того же дня Чолбон занемогла.

— Муж мой, беги в Таськимо... за сестрой своей, она же у всех принимает роды... А то не знаю, что и как... Я б и сама, как это умеют наши бабы, без повитухи, но...

Куруткан быстро собрался в опасную дорогу. В пути его одолели тяжелые думы: «Мир велик, тайга велика, а я даже под своими ногами чувствую не ту землю, какой она была раньше. Люди стали чужими. Земля чужая. А я-то чей же?.. Ведь я сын этих людей, этой тайги...»

Горько на душе. Страх нудно гудит в голове от худых мыслей.

Первое сентября. Прозвенел звонок.

Туяна взглянула на мужа и вошла в класс.

Магдаулев закрыл за ней дверь. Остался в коридоре один.

— Здравствуйте, дети! — быстро поздоровалась она. «У нее дело пойдет. Смелая», — улыбнулся Магдаулев и вошел в свой класс.

Вошел и почувствовал растерянность. Взял себя в руки.

На него смотрели двадцать пять маленьких человечков. Круглолицые, черноглазые, есть голубоглазые, звон васильки, сероглазые... Все удивленно, с нескрываемым любопытством уставились на нового учителя.

— Мэндэ! Здравствуйте! — сразу на двух языках поздоровался.

Сразу же на двух языках; как эхо, в ответ.

¹ Шуленга — князь.

— Садитесь! Аяльди?

— Хорошо! — по-русски, все дружно ответили.

У Магдаулева постепенно стала проходить скованность.

— Меня зовут Гавриилом Бадмаевичем. Вы все меня знаете. Я обучал грамоте ваших родителей.

— Знаем! Мой бабай газеты теперь читает! — выпалил бойкий Степка Анкоулев. — Знаешь, как он бубнит!

— Тише, тише, Степа:

— Этот Степка! Прошлый год учительша его с урока выгоняла.

— Это плохо. Ты, Степа, руку поднимай, если хочешь что сказать.

— Ладно, Гаврил Бадманч.

— Ну что ж, начнем с беседы. Сейчас мы расскажем друг другу, кто как провел лето. Можно рассказать о каком-нибудь интересном событии. Может, кто из вас видел медведя, сохатого, нерпу на море...

— Я! Я видел ведмедя! Только испужался и за отца спрятался.

— Ха-ха-ха! — слился воедино детский хохот.

Когда успокоились, Магдаулев, при помощи наводящих вопросов, помог мальчику рассказать классу о встрече с медведем.

Поднял руку Степа Анкоулев. Встал и заговорил:

— А я!.. Я видел совсем рядом с нашей лодкой большую нерпу. Голова во-о!..

— А я!.. тоже видела...

Зазвенел звонок.

Магдаулев немного задержался. Вошел в учительскую, когда жена сидела за столом и просматривала свой рабочий план.

— Ну, как прошел твой первый урок?

Туяна тревожно заговорила:

— Знаешь, Ганя, какой это был трудный, наверно, самый трудный урок. Я кое-как нашла себя. Загляну в рабочий план — так написано; взгляну на часы — никакой увязки. Все шиворот-навыворот... Как буду дальше?

— Ничего, научимся. Надо посещать уроки друг у друга.

— Это верно. Не с кем посоветоваться, не у кого спросить. А детишки хорошие!

— Ничего, Туяна. Как это у русских говорится: «Первый блин комом».

Уриндак низко наклонилась и щекочет своими душистыми волосами щеку Бодоула. Парень от этого прикосновения горит жарким пламенем, сердце готово выскочить. Да и весь-то он готов испепелиться!

— Вот так надо писать эту букву, — сначала кружок, потом крючок... вот так... Ой, какие толстые пальцы у тебя!.. будто рога изюбра в июне... Вот так пиши.

Уриндак отошла и наблюдала со стороны. Бодоул написал скорее строчку; нарочно быстро написал, чтоб снова подозвать Уриндак, чтоб она снова наклонилась над ним и щекотала его лицо своими душистыми волосами.

— Однако, худо написал, а? Смотри-ко, Уриндак, — просил он.

Девушка снова наклоняется и щекочет щеку Бодоула.

Вошел в класс Магдаулев. Присел на крайнюю парту, наблюдает, как его бывшая ученица учит Бодоула.

«Я для Уриндак, наверное, такой же учитель, каким был для меня Иван Федорович Лобанов... А так ли?.. Хоть чуть-чуть походить бы на Лобанова. Чуть-чуть... Уж таким-то, каким был мой Ванфед, мне не быть... А походить на него, брать с него пример надо. Да, да, да», — Ганька встретился с виноватым взглядом Бодоула. Парень резко опустил голову над тетрадкой. Грызет карандаш. «Чего это творится с Бодоулом? Ведь был таким живым, ершистым парнем. Взгляд был прямой, пронзительный даже. Бывало, ни за что не отведет взгляда, не свернет с дороги при встрече с кем бы ни было. А теперь старается отвернуться, уйти от встречи. Один уходит в тайгу, живет там», — думал Магдаулев.

Однажды, когда Бодоул оторвался в лес, Ганька с Петькой пошли за ним. Думали, что он идет к Куруткану, след которого еще весной парни только «понюхали». В тот раз бандиты оставили их с носом, убрались куда-то, словно провалились.

Бодоул дошел до своей юрты, а дальше ни шагу.

Вечером, когда, притаившись, парни лежали невдалеке от юрты, сидевший у костра Бодоул вскочил на ноги и взревел обраненным зверем.

— Зачем! Зачем так делал?! Убью! Твой тала волк! Ты не дядя! Убью!..

Бодоул, охватив руками голову, рухнул у костра, взвыл, заплакал.

Куруткан съехался с сестрой у Таськимо. Он на коне, а Лэтылкэк на олене.

Радостно Куруткану — Чолбон родила черноголового, здорового сына... Его сын!.. А сколько мучительных, бессонных ночей провел он, все думал, что Чолбон путается со Стренге и родит ему рыжего, похожего на русского, парня.

«Э, значит, правду Чолбон баила про Стренге, что он только смотрит на нее да льнет, бессовестный, а она любит своего повелителя — мужа родного».

— Сын у меня!.. Сын! Теперь дождусь лета и укучую куда-нибудь в далекую северную тайгу, где никто не знает, что Куруткан был купцом, — говорил он коню.

«Спасибо Лэтылкэк, согласилась ехать к роженице. Какая ни на есть, а все же сестреница. Куда денешься, родная кровь. Помогла, спасибо. Только бы не встретить ее щенка — Бодоула. Худой парень. Неслух. Он дурак. Хочет убить моего друга Стренге. Собирается жениться на коротковолосой комсомолке Уриндак. Хуже того — сам хочет стать комсомолом. А испортил парня не кто иной, а сын Волчонка — Ганька Магдаулев. Это его работа. И-их! Попадись он мне в руки! Убью, как собаку дурную. Он, сын Волчонка-то, хуже Анкоуля в сто раз. Это я знаю».

Из трущобы выскочила Керма. Прыгает перед Лэтылкэк, визжит от радости, ластится.

— О-бой! Где твой хозяин? — спросила старуха у собаки.

Куруткан сердито взглянул на сестру.

— Тише! Бодоул не должен знать про меня.

— Я уже давно знаю, Куруткан, — Бодоул вышел из-за толстого дерева. Ружье держал наготове, стволом вперед.

Темное лицо Куруткана покрылось светло-бронзовой бледностью.

— Мэндэ, племянник мой! — заискивающе поздоровался. Старался улыбнуться, но не получается.

— Мэндэ, сын мой! Аяльди! — приветствовала Лэтылкэк сына.

— Мэндэ, эни! Аяксот!

Лэтылкэк укоризненно посмотрела и покачала седовласой головой.

— А дядю-то не видишь? Ответь на приветствие, сын мой.

Бодоул потупился, исподлобья сверкнули сердитые глаза.

— Вижу, но не буду. Он волк.

— Значит, меня надо травить?

— Надо. А Стренге я убью. Жалко, что не с тобой он.

Бодоул длинно выругался и скрылся за деревьями.

Куруткан подъехал к сестре.

— Лэтылкэк, ты меня нянчила, ты мне вторая мать, скажи своему сыну, чтоб он дал мне перезимовать здесь. Ведь у меня сын махонький, дальнюю дорогу он не вынесет. Придет весна, укочую в чужую тайгу, где живут одни якуты.

Старуха затряслась вся, зарыдала.

Куруткан подождал еще, потом повторил просьбу.

Лэтылкэк успокоилась и сказала твердо:

— Поезжай к семье, брат мой. А я возьму слово с Бодоула, чтоб он ни слова о тебе не баил ни невесте своей, ни сыну Волчонка. А Анкоуля не бойся — он мой вечный должник, спасла от смерти его бурятку с сыном. Он тебя не тронет. С первой зеленью уезжай, брат. Народ тебя не любит.

— Спасибо, улимни¹.

Куруткан, не оглядываясь, скрылся за крутым изгибом тропы.

* * *

Секретарь райкома побывал в заповеднике и попутно заглянул в Таськимо.

Вечером в клубе было людно. Даже восьмидесятилетняя Илен, опираясь на плечо правнучки, заявила на собрание, чтоб увидеть большого начальника.

Подошла к Воловику и уставилась слезящимися белесыми глазами.

— Ты, нойон, будь добрый, разреши мне и дальше жить в чуме, а то Сенька-председатель да сын Волчонка велят жить нам в русском доме. Мы пропадем без чума...

Магдаулев перевел слова старухи.

¹ Улимни — няня (эвенк.).

Воловик улыбнулся.

— Бабушка, живи там, где тебе лучше.

Илен поклонилась и победно, подняв голову, без помощи правнучки, покинула клуб.

Трофим Изотович выступил с докладом.

После него Магдаулев переводил речь секретаря на эвенкийский:

— ...Шуленги, шаманы, купцы обманывали темных эвенков, пугали гневом божьим, пугали злыми духами. Им было это выгодно — народ боялся и повиновался каждому их слову. Купцы грабили народ...

Встал Дяво, укоризненно взглянул.

— Эка, как не совестно! Ты, молокосос, не ври! Купцы кормили нас, огненную воду займы давали, хоть запейся, а теперь попроси-ка у продавца — бутылку займы не даст. Эка, совесть ты терял. Забыл, как Лозовский кормил вас, поил, голодранцев?

Магдаулев засмеялся. Перевел Воловику. Трофим Изотович покачал головой. Засмеялись люди, поняли, что Дяво опрофанился.

— Сам, дядя Дяво, договорился, помог мне, спасибо. Мы были голодранцы, и ты не в шелках ходил в праздники. Мы с дедом Воулем по три дня на одной воде держались. Теперь, при Советской власти, кто сидит голодным по три дня?

— Верно, верно, Гаврила Бадманч, байшы! — выкрикнул Бодоул.

Магдаулев продолжал, не обращая внимания на реплики.

Люди удивленно взглянули на парня. Ведь до этого Бодоул всегда огрызался и говорил против учителя.

— ...И спивались! Болели, умирали; делались вечными должниками купца, как мои родичи — дед Воуль, дядя Ивул, Кенка и мой отец Волчонок.

— Это, однако, чипко верно, товарис учитель! — поднялся все тот же Бодоул.

— Не мешай! — громко окрикнул Анкоуль.

— Правду баит Магдаулев! — рассердился парень на Анкоуля. — Чего не даешь рта разинуть. Я теперь много понял. Если надо — убью и дядю Куруткана, — ударил кулаком себя в грудь.

— Да ну ее, ту жизнь вспоминать не хочется! — не обращая внимания на слова парня, выкрикнул Анкоуль.

Бодоул успокоился, дескать, сказал свое наболевшее, и ладно. Не сводил глаз со своей Уриндак. «Нынче после охоты приведу ее в новый дом. Хватит в чуме глотать дым. В новом доме свадьбу сгоношим. В новом доме по-новому, в радости станем жить с Уриндак. Мать излечим от кашля. В доме-то сухо, тепло», — мечтал Бодоул, а сам глядел на свою любимую. Теплыми глазами окидывал Воловика, Самойлова и Магдаулева, сидевших за красным столом на сцене.

Магдаулев говорил и говорил. Люди слушали, — речь-то родная! Как не будешь слушать, когда этот бурят на их родном языке баит не хуже любого звенка. Но, где и не ладно, не по нутру твоему брякнет, чего же особого, слово не пуля, отведи помимо уха.

— ...Ваши дети учатся грамоте на полном государственном обеспечении. За их здоровьем следит врач, — продолжал учитель.

— Так!.. Так, бакша! Верно, бакша!

Собрание закончилось весельем. Все с воодушевлением пели:

Урикитут — Ленин!
Эвенкиллул — Ленин!
В ваших стойбищах — Ленин!
С эвешками — Ленин!

Воловик ночевал у Магдаулевых.

Утром Туяна в большой латке приготовила по-рыбацки рыбу. Вера только посматривала, как ловко получается у невестки, улыбалась.

За столом Трофим Изотович ел с удовольствием и хвалил молодую хозяйку.

— Как это быстро научились, Туяна Николаевна, готовить блюда из рыбы. Удивляюсь, ей-бог!

— Она у меня молодец! Вы бы посмотрели, как она шьет, вяжет — золотые руки у нее, — говорила Воловику Вера.

Перед отъездом Трофим Изотович наказывал Магдаулеву:

— Ты, Ганя, не забывай, что Куруткан может вернуться в свое логово. Начальник милиции мне говорил, что следы банды Куруткана обнаружены на Итанце. Точно такое же убийство — глаза у жертвы выколоты. Почерк знакомый...

— Племянник Куруткана — Бодоул, вначале помо-

гал дяде, но, видимо, понял и сейчас у него с матерью сыр-бор горит. Об этом мне говорила невеста Бодоула комсомолка Уриндак.

Воловик вздохнул, посуровел.

— Может быть, для отвода глаз. Будь внимательнее и осторожнее. Следи за ним. Если появится Куруткан, приезжай в Баргузин ко мне.

Из разговора с Трофимом Изотовичем Магдаулев узнал, что Анохина сняли с работы и отправили на учебу, а директором снова назначен Сватош.

При проверке работы заповедника оказалась хорошей хозяйственная деятельность Монки Харламова, поэтому его оставили завхозом заповедника.

Магдаулев тогда сказал Воловику:

— Монка Харламов плохой человек. Браконьер он... Прикрывается Голубевым...

— Я это понял, Ганя, но нужны факты. Зенон Францевич тоже сквозь зубы согласился, чтоб остался Харламов в заповеднике. Голубев нажимал на Сватоша, Я все это знаю.

— Значит, надо поймать на чем-то Харламова?

— Да, нужны доказательства. А хозяйством он руководит хорошо. Старается мужик.

В тот же раз, после заседания бюро райкома, поздно вечером, все в той же крохотной комнатухе, в доме Голубева, сидели хозяин и Монка. Пили и не пьянели. Были взволнованы неожиданно резким поворотом дела. Проклинали Воловика.

При расставании Голубев наказал:

— Ты, Монка, дни и ночи не спи — поднимай хозяйство заповедника. Лошади шток от сытости и ухоженности блестели и лезли из кожи. Шток все было, как у доброго хозяина в крестьянстве.

— Ладно. Я буду угождать Сватошу...

— Угождать это не то. Сватош ненавидит подхалимов. Соверши что-нибудь такое, рискуя жизнью ради заповедника, тогда он изменит свое отношение к тебе.

— А соболька-то могу прибрать к рукам?

— Не смей браконьерить в этом году.

Не всем эвенкам понравились дома. «В чуме лучше — сидишь рядом с огнем, он согреет и душу развеселит», — говорят они.

Прибежал в контору эвенк Басаулов. Серdito кричал, плевался.

— Ты, председатель, зачем меня толкала в дом? Все болели!

Семен Самойлов удивленно пожал плечами.

— Ганя, сходим-ка. Чего там натворили эти...

Еще издали они увидели и опешили: в доме все окна были раскрыты. Из них валил густой дым.

Самойлов серdito матюгнулся и влетел первым, за ним Магдаулев. Хозяин остался на дворе.

В новенькой избе полы были разобраны и посредине горел костер, у которого сидел старик. Ни хозяйки, ни детишек в доме не оказалось.

— Баба лежит в чуме вместе с ребятишками. Однако околеют все, здохнут в этом вашем доме, — хриплым, простуженным голосом жаловался старик Магдаулеву.

Вошел хозяин. Серdito сплюнул и сел у костра.

— Ты это зачем так сделал? — напустился на него Самойлов. — Зачем полы разобрал, окна раскрыл? А печка-то для чего, а? Скажи!

— ...Болели все. Здохнем, — вместо ответа продолжал жаловаться хозяин. — В печке огонь прячется. Это худо есть. Нам огонь надо.

Самойлов с Магдаулевым выкидали на улицу головешки. Вставили рамы. Затопили плиту.

— Вот што, Басаулов, сейчас настели полы, как они были. Я вечером приду, проверю. Если снова, то, — Самойлов показал кулак. — Понял? Отлуплю!

Магдаулев пояснил растерянному Басаулову:

— Дядя, ты сам виноват. Когда окна раскрытые, то дует ветер. «Сквозняк», — говорят русские. Вот от него и заболели жена и дети. Самойлова ты не ругай. Сам натворил.

В студеную лунную ночь вышел из тайги охотник Ондре. В чьих-то окнах свет мерцает. Легко стало на душе. Все внутри размякло, отпустило. Остановился,

вдохнул прогорклый дымный запах, значит, Таськимо, кое-где уже дымились трубы.

«Добрые люди рано встают, — тепло подумалось. — Полтора месяца я не был дома. Соскучился... Как мои живут-то? Здоровы ли?»

Закурил. Поправил лямки у поняги.

Вдруг над самой его головой кто-то громко заговорил на бурятском языке:

— Доброе утро, дорогие радиослушатели!..

Огляделся кругом — ни души.

Взглянул вверх — на высоком столбе черная круглая голова торчит, из черной пасти слова громкие вылетают, то на бурятском, то на русском языке.

«Голова!.. а туша-то где? Рук, ног, кажись, тоже нет! Да это ж сам злой дух Ган-могой к нам заглянул!.. А не мерещится ли мне?»

Взглянул вверх — «голова» ревет себе, да и только!

— Э-э! Это же сам эл-гэргэ на столбе! О, мани! Миколо! Бугады! — взревел старик и что есть мочи пустился обратно в тайгу.

Волосы дыбом поднялись, мороз по коже, сердце исходит, колет от страха.

Ноги сразу помолодели. Всю жизнь так не драпал.

Прислушался: орет гад! Да так громко, что зараза десяти пьяным мужикам не перекричать его.

В лесу отдышался, перевел дух, насобирал сухих дров и распалил громадный костер.

«Убьется злой дух к огню-то лезти...» — успокоил себя охотник и запалил трубку.

На дворе стало отбеливать. Звезды быстро гаснут, уступая идущему по тайге рассвету.

— В темную мглу богиня Бугады подпустила молочка!.. Хозяйка стад звериных рано подоила своих молочниц, — громко разговаривал старик, чтобы своим голосом оживить временный табор и ободрить себя.

Когда лучи солнца показались над соседней горой, таежник закинул на горбушку свою понягу и потопал домой.

Поравнявшись с злополучным столбом, который стоял рядом с клубом, Ондре суеверно надвинул на глаза шапку, чтоб не видеть то место, где сидел злой дух, отплевываясь, быстрым шагом миновал его.

Уриндак стремительно набежала на старика, обняла его, сняла тяжелую понягу,

— Я сам, доченька, донесу... тебе тяжело будет.
Вошел в дом. Чисто, светло. Старуха, улыбаясь, подошла.

— Мэндэ, Ондре!

— Мэнде, Айголик!

— Аяльди?

— Аяксот!.. Видать близко ночевал? — спросила старуха.

Ондре махнул рукой.

— Шел, шел. Звезды еще горели. Зашел в Таськимо, а тут, как рявкнет со столба злой дух — я скорей в лес. Ладно еще ноги не подвели!

Уриндак закрылась уголком платка.

— Это не злой дух, это радио.

Ондре удивленно уставился на дочь.

— А кто он такой? Дурной, стало быть, раз в мороз забрался на столб и орет на всю тайгу.

— Потом расскажу. Дай раздену тебя! Голодный ведь, устал бедный, — едва не вырвалось у Уриндак — «набоялся».

* * *

Уже под хмельком сидел блаженствовал Ондре в кругу домашних.

Во дворе сердито залаяли собаки и стихли.

— Кто-то знакомый там. Вишь, собачки унюхали, смолкли.

Скрипнула дверь, с морозным паром вошли в дом Анкоуль с Бодоулом.

— Мэндэ! С промыслом тебя, Ондре! Благополучия семье твоей! Богатой тропой ходить тебе!

Ондре пригласил гостей в передний угол дома. Мужчины запалили свои трубки. Бодоул многозначительно взглянул на Уриндак. Та поняла, зачем пожаловали гости, покраснела, дрогнули пушистые ресницы, она схватила ведра и выскочила на двор.

— Радость заглянула в мой дом: сам Анкоуль, всеми почитаемый мужчина, зашел проведать меня. Как артель наша промыслом нынче гремит? Али в хвосте плетемся?

Анкоуль хлопнул по крепкому плечу парня.

— Вот с такими-то молодцами, как Бодоул, разве окажешься в хвосте? Твой будущий зятек один за троих выполнил. Это, как по-твоему, дя Ондре?

— Как?.. Как сказал?.. Какой зять? Где он?— будто не понял старик разговора, удивленно переспрашивал.

— Рядом сидит самый добычливый соболятник. Он горит желанием породниться с тобой, Ондре.

Мать выронила изо рта трубку. Хозяин насупил густые брови, он опустил глаза и заговорил глухим голосом:

— Я, Анкоуль, не понял твоих слов. Мужчине не положено торопиться с разговором. Обдумал ли ты свои слова?

— Он все обдумал, бабай. Будьте, почтенные Ондре и Айголик, мне отцом и матерью, а ваша дочь Уриндак хозяйкой моего дома,— Бодоул выпалил заранее заученные слова.

Айголик уронила голову.

— Улетит моя щебетунья веселая, как я переживу это?..

Ондре сердито сказал жене:

— Небожителем виднее. Ты, Айголик, не гневи богиню Дунде; это она поведала мне жениться на тебе. Она же велит и Бодоулу взять в жены нашу Уриндак. Готовь, жена, свою дочь к свадьбе. А быть той свадьбе в праздник Белого месяца, когда буряты справляют свой Новый год.

— Ни раньше, ни позже?— спросил Анкоуль.

— Я так решил. К тому времени закончу нынешний промысел,— твердо сказал старый Ондре.

Глава шестнадцатая

В этом году море стало рано. В декабре уже тянули подо льдом невод. Семен Самойлов доволен: в первом же притонении бригада Бориса Курбетьева добыла сто центнеров ельца и окуня.

— Вот ведь ты фартовый, башлык! Якорь тебя задави! Так держать руль!— кричал Самойлов.— Годовой план досрочно дали!

А жизнь в Таськимо бурлила. Где хорошее, там и худое не забывает угнездиться.

Злые на язык кумушки шипели-шушукались:

— Самойлиха опять поймала Семена с Улькой... Котелком названивала по башке! Хе-хе-хе!

— Семену завидуете! Ы-ых, паскуды, вы держали Ульяну за ноги?—сердито бasila матерая Хиония.— Я уже доберусь до одной из вас—вырву язык и к ж... пришью!

* * *

Ученики хорошо успевали по арифметике, но хромали по русскому языку, поэтому приходилось делать дополнительные уроки.

Магдаулев помнил, что Ванфред Лобанов в первую очередь обращал внимание на развитие устной речи. Заставлял заучивать наизусть стихотворения классиков русской литературы, особенно Пушкина. Да, стихи Александра Сергеевича!.. как они легко заучиваются, как легко декламировать их, даже тому, кто плохо владеет русским.

— Гавриил Бадмаич, я расскажу? — поднял руку Коля Басаулов.

Магдаулев мотнул головой.

Блеснув узенькими черными глазами, мальчик, волнуясь, начал читать:

— Александр Сергеевич Пушкин. Зима.

Зима, крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь.

.....

— Ну вот, видишь, Саша, постарался — выучил. Надо дома прилежней заниматься.

* * *

Не забыл Магдаулев о своем обещании от лица Ефрема Мельникова написать письмо в БурЦИК. После уроков остался в классе и долго писал, перечеркивал, снова переписывал. Нелегко о таком противоречивом человеке писать, да еще правительству республики. Но, слава богу, написал. И вот Ефрему Мельникову БурЦИК прислал бумагу, в которой говорилось, чтоб местные власти немедленно вернули ему дом.

Все постройки, кроме дома, куда-то исчезли. Когда-то шумная, веселая хоромина уныло смотрела потускневшими, в паутинах, стеклами.

При виде этого запустения заныло сердце. Ефрем тяжело опустился на крыльцо.

...Из сумрака прошлых лет явился сын Иннокентий

под конвоем семеновских карателей. Поклонился отцу и матери, не взглянув на старосту Василия Меньшикова, который пытался заговорить с ним, вышел из дома... Потом могила в степи у дороги, где беляки учинили страшную казнь...

Мать не вынесла удара — вскоре скончалась. А Ефрем запил, плюнул на все и убежал к княгине Катерине.

Вот так было до этого.

— А как быть теперь? — спросил Ефрем у пустого дома. — Так же будет являться ко мне Кеша... Не-ет. Тяжело мне будет смотреть на тень сына, на свое пепелище.

Ефрем за полцены продал свой добротный пятистенник и уехал в Устье. Там, в сетевязалке рыбзавода целыми днями починял рваные дыры в неводных «столбах». Не спеша приглядел домик на берегу. Купил. Привел в дом пожилую еврейку Хаю. Стали жить с нею. Все же обстирает, накормит. Живая душа под боком.

«Снова возвратился к старому корыту», — разглаживая огненно-рыжую бороду, говорил он людям.

* * *

Уриндак уговорила своих стариков идти в клуб. Шумно и весело в уютном, чистеньком клубе, где хозяйствует Уриндак.

Главная виновница сегодняшнего веселья — Туяна. Не беда, что не понимают эвенки слов монгольской песни, но музыка и приятный мелодичный голос певицы всем по душе.

Туяна поет с широко раскрытыми, устремленными в даль глазами. Сквозь вечернюю мглу, преодолев пространство, она видит родные степи. Так бы и улетела туда! Она запела свою любимую песню:

Голос морин хура¹ — светлый родник —

в сердце проник.

Голос морин хура — весел и строг — бурный поток.

Песни мои — цветы; люди сорвут, к сердцу

прижмут.

Пусть я умру — песни мои зовут к бою, к труду.

.....

Никто и не заметил, как вошел Бодоул. Он, словно

¹ Морин хур — музыкальный инструмент (монгол.).

рысь, подкрался к Магдаулеву, ткнул в бок и зашептал на ухо:

— Гаврила Бадмаич, тебя шибко надо, идем на двор,— сказал и так же тихо исчез.

Туяна продолжала петь:

Как сиротка-речка
Тянется к морю,
Так мое сердечко,
К милому-родному.

.....

Магдаулев быстро оделся — и в дверь.

На дворе — глаз коли, тьма-тьмущая. Бодоул отвел товарища за угол и заговорил шепотом:

— Гаврила Бадмаич, я нашел тропу Куруткана. Свежая.

— Давно?

— В тот день, когда родился новый месяц.

Магдаулев задумался.

«Трофим Изотыч сказал мне, что банда Куруткана бродит на Итанце-реке»...

— А ты, Бодоул, не ошибся? Мне один человек говорил, что Куруткан утянул тропу в чужую тайгу.

— Не, он здесь. С ним рыжий русский... который... бабе глаза ножом колол...

— У-ух, сволочь! Попадись-ка он мне в руки!

— Я в тот раз хотел его пристрелить, но Куруткан ударил по ружью. Я убью его.

— Его надо взять живым.

— Живым? А зачем?

— Так велят начальники. Будут судить рыжего.

— Я сам суд!.. Я сам пристрелю!

— Нет, нет! Ты, Бодоул, один не ходи к ним. Могут убить тебя. Я съезжу в Баргузин за милицией, а потом все вместе пойдем.

— Терпения нет. Сердцу шибко худо. Стыдно мне. Пошто не поймешь меня, сын Волчонка?

Магдаулев задумался.

Бодоул заторопил.

Но Магдаулев резко возразил.

— Нет! Я не могу послушаться Воловика. Дело серьезное и опасное. И ты один не ходи. Банда никуда не денется. Понимаешь, их прижали. Кругом весь народ ополчился на них.

Из клуба сквозь гул одобрения доносилось пение Туяны. Она теперь исполняла на эвенкийском:

Это соболю искрометный мелькает,
Только вздрагивают ветки вдалеке.

Бодоул прислушался к песне.

— И где ты, бакша, нашел такую певунью? Так бы и слушал и слушал ее. Надо же!..

Магдаулев перебил парня.

— А где, в каком месте находится банда?

— За ущельем Белого Волка.

* * *

— Гаврила Бадмаич, тебе письмо.

Подошел Анкоуль и сунул растрепанный конверт.

Магдаулев взглянул на обратный адрес, не поверил, снова прочитал:

— Верхнеудинск, от Цицик Алганаевой.

Не будешь же читать такое радостное письмо при народе. Дрожащим голосом сказал Туяне — «от Цицик». Они быстро ушли домой. Туяна зажгла лампу. Письмо Цицик было написано на бурятском языке.

— Ганя, читай вслух, — попросила Туяна.

— Ладно. Слушай.

«Здравствуй, Ганя!

Не удивляйся, что через столько времени, будто с того свету, вернулась Цицик и пишет тебе это письмо.

...Я была и на самом деле на «том свете». Как вспомню, меня пробирает дрожь. Тяжел был обратный путь оттуда. В дороге погиб мой бедный бабай Алганай. Шаман Хонгор покончил жизнь самоубийством. Дальше я шла одна по жуткой тайге. Больная, голодная, кое-как добралась до моря и упала без сознания. Наверное, знаешь, кто меня спас? — бабай Филимон! С Петей Грабежовым. Они тебе рассказывали, поди, с разными подробностями, о которых я и сама не помню.

Теперь немного о себе: живу я в Верхнеудинске, у очень добрых стариков Еракиных. Сам Василий Иванович — бывший сормовский рабочий. Участвовал в революции 1905 года. Сидел в Александровском центре Иркутска. Вот мой адрес: Верхнеудинск, ул. Некрасова, дом 26. Пиши. Если будешь в городе, то найди меня обязательно. Сейчас я работаю и учусь на подготовитель-

ном курсе рабфака, да еще хожу в кружки. Довольно легко сдала на «Ворошиловского стрелка». Можно подумать, что завтра Цицик пойдет в поход или на фронт даже.

В Верхнеудинск я приехала без паспорта, с одной справкой, которую дали мне на Ольхоне. Хорошо написали обо мне Ольхонцы. Спасибо им. Пошла в Дом Советов к товарищу Ербанову; к нему меня не допустили — нет паспорта. Разыскала кабинет председателя Госплана, вошла к жене Ербанова, рассказала о себе. Подала ей Ольхонскую справку. Даже показала ей свою рану. Она зажмурилась, замахала рукой. Ведь правая грудь у меня оторвана той пулей... Теперь думаю, что у меня не будет детей. Наверное, из-за этого я такая равнодушная к мужчинам...

Все беды мои кончились. Спасибо товарищу Ербанову. Такого доброго, отзывчивого человека я еще не встречала. Подробно о нем расскажу при встрече. Только могу сейчас сообщить, что он был членом Иркутского ревкома. Он с товарищами доставал оружие и переправлял на Ольхон, нашим партизанам. Он помнит забавного, толстого дядьку Алганая, который чуть не умер со страху, пока грузили винтовки на его подводы. Рассказывал, смеялся. Он такой веселый человек и умница, каких мало.

Ганя, напиши о себе подробно и много. Я слышала, что ты учительствуешь. Найди меня, Ганя, обязательно.

Давно собиралась написать тебе, да не знала, где ты живешь, не знала, куда писать, то ли в Таськимо, то ли еще куда. Может быть, в другое место направили тебя.

Большое тебе спасибо за то, что ты с товарищами уничтожил моего заклятого врага — Стренге. Ведь с Курутканом жил не Новиков, а бывший командир карательного отряда особого назначения ротмистр Стренге. Тот самый Стренге, который выколол глаза моему Кешеньке».

Магдаулев побледнел, уставился на Туяну.

— Что ты, Ганя?

— Стренге?.. Стренге там у Куруткана. Значит, Бо-доул не врет. Я... Я поеду к Воловику. Трофим Изотыч наказал мне — немедленно явиться в райком, в случае появления в Подлеморье банды Куруткана.

Туяна, испуганно взглянув на мужа, мотнула головой.

Магдаулев перескочил через низкую ограду из жердовника и прямо в чум Бодоула.

— Бодоул, мэндэ! — он прерывисто дышал, оглядывался кругом. Успокоился довольный тем, что Лэтылкэк не было дома.

— Мэндэ, Гаврила Бадманч!.. Ты что это? Случилась беда какая?

Магдаулев еще раз огляделся кругом и почти шепотом заговорил:

— Письмо от Цицик получил.

— О чем же она пишет? Раз уж испугала сына Волчонка, то, наверно, что-то нацарапала?

— Страшный человек у Куруткана живет.

— Я же тебе, учитель, сказал, а ты и не поверил, кажись, — Бодоул в обиде сверкнул глазами. — Этот рыжий Новик? Я бы разорвал его, сволочугу!

— Я бы сам сделал это. Его фамилия — Стренге.

— Вот, вот Стренге! Я его застрелю! Пойдем, учитель, вместе, а? Они за ущельем Белого Волка. Тропу туда знаю, как улицу в Таськимо.

— Нельзя. Мне приказали, чтоб я предупредил начальство. Пришлют милицию. Но и мы с тобой, да еще Грабежова возьмем.

— О-бой! Зачем милицию? Мы сами справимся.

— Нет, Бодоул, я съезжу в Баргузин, а ты дожидай нас. Тут дело серьезное. Дело не в Куруткане, а в Стренге. Его нужно обязательно поймать живым.

Вверху, спрятавшись за черными тучами, едва слышно гудел подгольцовый лес. Оттуда резкий хиуз гнал ледяной воздух.

Монка Харламов дрожал от страха и холода. Здесь, в густых дебрях кедровника, где на многие десятки верст нет жилухи, он — словно вор в чужом амбаре — часто с тревогой оглядывался во все стороны, прислушивался, не идет ли хозяин.

Вдруг где-то в соседних горах раздался чудовищный грохот. Монка от страха весь съежился, упал на колени, смахнул шапчонку, неистово крестился, шептал молитву.

Грохот долго не смолкал.

Харламов облегченно вздохнул.

— Слава богу!.. Горный хозяин отвел обвал стороной,— прерывисто дыша, шептал обветренными губами.

Все еще бледный, растерянный от пережитого страха, вздрагивая от каждого шороха, скатился на широких лыжах в густой ельник, подошел к ловушке и опешил.

— О, господи!.. Чего сотворилось?!

Хатка была начисто разрушена, раскидана. Снег вокруг ловушки был весь изрыт. Кое-где бусинками краснела кровь. На палке, к которой была привязана цепочка капкана, остался кусок проволоки. Он нагнулся, присмотрелся.

— Соболь! Соболь натворил! — испуганно выдохнул Монка.

Зверек, волоча за собой капкан, ушел под гору, в ключ.

Харламов быстро скатился по следу и у огромной колоды обнаружил беглеца. Соболь был крупный, сильный, он бы ушел далеко, но капкан зацепился пружиной за толстый кривой сук и задержал зверька.

Харламов от радости очумело кинулся к соболю, но тот смело вздыбился, оскалился, готовый вонзить свои острые клыки в протянутую руку. Зеленовато-черные глаза зверька метали молнии.

Монка отступил на шаг-другой, размахнулся ангурой и ударил его по голове. Соболь уронил голову, задрывал лапками, затих.

Вдали раздался тихий шорох. Харламов насторожился. Не разглядывая добычу, сунул за пазуху, снял шапку, вытянул тонкую шею, стал слушать. Шорох послышался явственней. На бледном лице злобно сверкнули водянистые мутно-желтые глаза.

«Стражники идут!» — резанула мысль.

Монка засуетился, заметался. Хрипло заговорил вслух:

— Этот проклятый чех с Тимошкой!.. Чтоб провалиться им в чертовом ущелье! Пулю им! — Харламов развернул широкие лыжи и наугад пустился в самую гущу леса.

Тимоха Король, обгоняя ветер, неся за браконьером. Следом, стараясь не отстать, бежал Сватош.

Зенон Францевич задыхался. Пот заливал глаза.

Монка еще долго петлял по старым чумницам. Наконец выбился из сил и, чтоб отдохнуть немножко, остановился над страшной кручей. Далеко внизу, в полумраке густого кедрача шумела река. Несмотря на крутой мороз, она все еще не замерзла.

Монка сорвал с плеча берданку, передернул затвор.

Тимоха выскочил на редколесье. Впереди, на крутом гребне горы, нацелив в его сторону ружье, стоял человек.

— Стой!.. Опустим ружье! — крикнул он.

Раздался выстрел. Тимоха упал на рыхлый снег.

Браконьер, угрожающе махнув ружьем, скрылся за гребнем.

Тимоха поднялся и осторожно, словно скрадывая зверя, подошел к месту, откуда стрелял в него хищник. Заглянув вниз, закрыл глаза, попятился. Не поверив себе, снова подошел. Почти отвесная круча. Далеко внизу шумела речка. Перед ней, между двух скал, из снега торчала, кажется, голова, и хорошо были видны беспомощно раскинутые руки.

— Насмерть, о скалу, — сообщил Тимоха подоспевшему Сватошу.

Глаза Зенона Францевича испуганно расширились.

— Скорей! Может, живой! Помочь надо!

— Браконьеру помочь надо? А нас можно убивать? — угрюмо буркнул Тимоха.

— Замолчи!

Сватош оглядел гору и, выбрав более удобный спуск, покатился вниз, за ним последовал Тимоха.

Тем временем Монка нашел переход через буйную речку. Это была заснеженная толстая колода, похожая на диковинный висячий мост. Он облегченно вздохнул, уверенный в том, что выиграл порядочное время, с усмешкой оглянулся назад. Там, у скалы, вверх по крутяку, карабкались Тимоха со Сватошем. Они шли к его запасным портянкам, из которых он наспех изобразил голову и раскинутые руки.

Харламов ехидно улыбнулся, довольный своей проделкой.

Перейдя по колоде через речку, Монка хотел бежать дальше, но раздумал. Он прекрасно понимал, что Тимоха, обнаружив вместо браконьера портянки, еще пуще обозлится на него и уж тогда не отступится. Тогда не уйти.

И Монка придумал еще одну каверзу.

Чтоб убедиться, нет ли где поблизости второго такого же мостика, браконьер пробежал вверх и вниз по речке. Мостик был единственный.

Дурное дело не хитро сотворить. А Монка горазд на такие проделки еще с детства.

Чтоб самому не улететь в воду, он привязал конец тонкой бечевы к березе, низко наклонившейся над речкой, и другим ее концом обмотал себя. Теперь можно было действовать смело. Он снял с ног лыжи, положил на колоду, осторожно лег на них и, вынув нож, стал «подрезать» тугой слежавшийся снег. Верхний слой снега тонкой коркой оставался по-прежнему на своем месте, а разрыхленные нижние слои Монка сбросил в воду. Получился как бы пирог без начинки. Чуть коснись этого места лыжами, они мгновенно провалятся, ударятся о дерево, человек, потеряв равновесие, улетит в речку. А это — верная смерть.

Харламов не спеша пошел дальше.

Тимоха с шумом подкатил к колоде, под которой рокотала речка, ему стало страшно, но, подавив страх, он уверенно пошел по обманчивому мостику.

— Осторожней! — крикнул сзади Сватош.

— Ничего! Валяй, а то уйдет гад!

Он почти перешел речку, вдруг лыжи провалились в яму. Тимоха, размахивая руками, полетел вниз и, каким-то чудом, успел ухватиться за толстые сучья дерева.

Если человеку не повезет — на пороге собственного дома свернет себе шею. А у Харламова при падении сломалась лыжа. Он опустил на снег и собрался было приладить «бычки» к лыжам, но вдали послышался шум.

— О, господи! Зря пожадничал! Ведь Лександр Никодимыч не велел нынче хитить соболя. Пропал!.. Теперь Сватош прогонит с работы!.. Да еще в суд подаст!.. Пропал! — сквозь слезы, прерывающимся глухим голосом заговорил Монка. Из пояса достал соболя и отбросил в сторону.

С горки подкатил запыхавшийся Тимоха.

— Интересно девки пляшут!.. Влопался наконец!

— Ты чего это? Я в обход ходил. Выматривал браконьеров. Ты, паря, брось поклев наносить на честного человека.

— Хэ-хэ! Честный! Чуть нас с Зеноном Францычем не съел, гад... Я давно выследил тебя.

Скатился Сватош. Молча уставился на Монку.

— Где соболю?! Давай! — потребовал Тимоха.

— Я тебе, что?! — браконьер?! — огрызнулся Монка. Сватош мотнул головой.

— Да, еще хуже браконьера. Ведь ты работник заповедника. Не только прогоню с работы — под суд отдам. Не спасет твой Голубев.

Тимоха тем временем нашел в кустах соболя.

— Вот, Зенон Францевич, вам на чучело сгодится.

— А больше-то куда? Эх! Сгубил!.. Сгубил такого красавца!

* * *

Лэтылкэк сидела одна, курила, охала. Нехорошо было у нее на душе. Черные думы завладели ею.

Ее Бодоул, как и всегда, вернулся с охоты с богатой добычей. До этого, бывало, войдет в дом, улыбается, веселым голосом спросит: «Аяльди?» А в этот раз ввалился какой-то пришибленный, бурнул «мэндэ», плюхнулся на скамейку, молчит. Что это с ним приключилось? Грешным делом нехорошее подумала про Уриндак — не оттолкнула ли веретешка парня от себя. Нет! Как только засуетилась у стола Лэтылкэк, а Уриндак уже влетела в избу, смеется, радуется Бодоулову возвращению из тайги, радуется удачи его. Бодоул и тут не переменялся: печально улыбнется, снова нахмурится. Что с ним? Не виноват ли во всем этот бурят Гаврила Бадмаич? Каждый раз сует парню в поняжку какие-то бумаги. Зачем охотнику в тайге бумага? В иных бумагах, говорят, такое написано, что ум портится. Вот, поди, начитался в бумажках про такое и горюет. Умишко помутнело от книжек. Так и есть, этот бурят, сын Волчонка, во всем виноват. Он вылитый отец, такой же Волчонок. А Волчонок-то, помню, вечно враждовал с Курутканом, не любил почему-то его. Зато любил русских, снюхался с поселенцами и сгинул где-то в гольцах — выручал братьев своих русских... И сынок его тоже пошел по отцовскому следу, на каждом собрании кукует: «...русские братья наши! Только большевики ведут эвенков по правильной тропе», Такой же Волчонок, э-эх! — старуха запалила трубку, сердито ворчала и проклинала Магдаулеву.

Бодоул крепко хлопнул дверь, подошел к матери и сел напротив.

— Эни, по моей чумнице кто-то приходил в Таськимо. Однако, это Куруткан был, а?

— Он. Его Чолбон болеет. Лекарство взял да ушел. Сильно обижается на тебя. Собирается уходить к якутам на север.

— А когда уходят они?

— Может, уж потянул тропу. Боится здесь жить. Говорит, этот Бодоул дружит с Анкоулем, Самойловым и сыном Волчонка — мне смерть. Торопится уходить он.

Бодоул вскочил.

«Уйдут! Эх, черт! Где же так долго Магдаулев пропадает?»

Плюхнулся на пол. Задумался.

— Что с тобой, сын мой?

— Да-а, так... Эни, ты знала купца Ефрема Рыжего?

— Знала. Он путался с княгиней Катериной.

— У него был сын Кешка. Он стал большевиком — пошел против отца.

— Пошто? Эка грех какой. Худо с родителем бодаться.

— Я тоже хочу бодаться с Курутканом. Выдам его властям.

Лэтылкэк выронила из рта трубку, испуганно отодвинулась от сына. На морщинистом лице гримаса боли.

— Ты... сдурел сынок?.. Злой дух портил тебя.

— Эни, не злой дух, а совесть замучала меня. С Курутканом ходит рыжий русский. Он хуже злого духа — людям глаза ножом колет. Вот с кем связался твой братан.

Лэтылкэк долго смотрела на сына, потом выдавила:

— А не врешь?

— Эни, когда я врал?.. Тот русский, в 1919 году в Баргузине, выколол глаза сыну Ефрема, Кешке. А в прошлое лето он привязал бабу к сосне и ей глаза... Я сам видел. Хотел стрельнуть в него, да твой Куруткан помешал мне.

— А Куруткан разве не твой дядя?

— Нет. Я тогда ему сказал, что он хуже волка и я ему не родня... Совесть меня замучила... помогал им... пойми меня, эни... Я должен жить так, как живут все люди. Должен стать комсомольцем, а то Уриндак не станет моей женой. Всем буду честно смотреть в глаза, если помогу Магдаулеву изловить того рыжего Стренге. Я и Куруткана поймаю. Хватит ему делать черные дела.

Лэтылкэк закрыла лицо руками, кое-как дошла до постели и упала.

Утром Лэтылкэк сказала сыну:

— ...Я сама знаю, что двоюродный брат мой Куруткан давно отбился от своего народа, как олень от стада; одинокий олень быстро гибнет. Такая участь и Куруткану уготована, но его гибель пусть будет не через тебя. Иди в ущелье Белого Волка и скажи ему: «Сестра твоя Лэтылкэк желает тебе дальнюю тропу тянуть». Понял, Бодоул? Это мы так условились с Курутканом. Он сразу покочет в чужую тайгу к якутам, и твоя душа будет чиста. Понял, сын мой?

— Понял, эни, но делать буду так, как подсказывает мне совесть. А того рыжего Стренге я все равно свяжу и притащу в Таськимо.

— Это твое дело, сын мой.

Перед уходом в тайгу Бодоул зашел к Магдаулеву. Туяна сидела за столом, читала книгу. На его приветствие мотнула головой, поднялась.

— Гаврила Бадмаич еще не приехал?

— Нет. Садись, Бодоул, ты чего это такой?.. Заболел?

— Сердце болит. Скажи ему — Бодоул ушел за ущелье Белого Волка.

— Опять на охоту.

— Аха, промышлять.

Бодоул подошел к ущелью Белого Волка. Когда-то, во времена сотворения мира, какой-то богатырь рубанул мечом своим по гранитной скале, раскрыл надвое ее и выпустил воду из котловины. На месте воды вырос кедровник. По глубокому ущелью, сердито рыча, несется речка. Рядом с речкой узенькая, для одного человека, терраса вьется, а над ней отвесная стена скал. Сейчас она обледенела, и по ней может пройти только опытный таежник, да и то при дневном свете. А в другое время суток гибель путника неминуемая — улетишь в кипящую воду и тут же обледенеешь на морозе. Речка не замерзает даже в рождественские морозы. Правда, берега и все окрест покрывается ледяной шубой, а сама речка буйствует по-летнему. Недаром охотники и не заглядывают сюда — злая хозяйка.

При виде мрачного ущелья и почти непроходимой обледеневшей тропы, Бодоулу сделалось не по себе. Он вспомнил слова Магдаулева: «Почему, Бодоул, ты везде

один? Сено косил отдельно от колхозников, охотишься тоже... Это, брат, не по-людски. Я помню, мой отец был знаменитым охотником, а всегда ходил с товарищами...»

— Правильно делал Волчонок,— вслух проговорил Бодоул,— один сгинешь, и никто знать не будет, где искать тебя.

Парень огляделся кругом, подвесил на сук сосны лыжи. Они здесь только мешали ему. «Даже ворона не каркает,— подумал и усмехнулся,— а ведь тысячи их, каркай, и то не услышишь в этом реве речки».

Прошел, словно рысь, мягко ступая по острым выступам камней, кое-где перепрыгивая через черные провалы. Потом пополз.

Наконец терраса расширилась. Речка отступила в сторону. Бодоул поднялся, проверил ружье и только сделал несколько шагов, совсем рядом раздался оглушительный выстрел.

Бодоул упал, отполз за камень, передернул затвор.

Никто не окрикает, ни звука, ни шороха. Парень приподнялся — никого не видать. Случайно взглянул на ноги и разглядел белые нитки.

«Э, черт, ружье насторожили! Как не убило?»

Заглянул в кусты — там, зажатое расщепленными рогулями, старенькое ружье с кривой насторожкой. Бодоул разозлился, сплюнул.

«Добрые люди на зверя не настораживают, а они...»

Наскоро сделанная юрта дымила день и ночь. Вот уже вторая неделя пошла, как слегла в постель Чолбон. Да, спасибо Лэтылкэк, дала какие-то травы, помогло бабе. Чолбон стала подниматься. Рядом с ней ревмя ревел голодный ребенок.

Чолбон поила сына из деревянной чашки мясным бульоном. Ребенок крутил головкой, выплевывал бульон изо рта, брыкался, ревел еще пуще.

Отбросив доски, служившие дверью, в юрту вполз Стренге и взволнованно заговорил:

— Там, внизу, человек! Ружье пальнуло.

— Его, поди, убило? — встревожился Куруткан.

— Жалко?

— У-у, дьявол, надоел ты мне! — по-эвенкийски заругался Куруткан.

— Я холостым насторожил,— успокоил товарища Стренге.

Оба взяли винтовки, патронташи и выползли из юрты.

Чолбон хрипло заговорила с сыном:

— Моли богиню Бугады, чтоб пришел сын Волчонка со своими. Я видела его во сне: ведет он тебя за руку куда-то вверх из тьмы пещеры на свет божий... Молись богине Бугаде! Реви сильнее, может, она и услышит тебя, чистого человека... А я грешница!..

Куруткан взглянул вниз со скалы. В сотне шагов от него открыто стоял Бодоул. Облегченно вздохнул и обрадованно крикнул:

— Наконец совесть побила?

— Да, дядя Куруткан, угадал. Совесть замучила меня, что я такой плохой.

— С чем пришел? — перебил его Куруткан.

— От Лэтылкэк слово принес.

— Говори.

— Нет, не буду. Рядом с тобой стоит эльгэргэ, при нем не хочу. Спустись по лестнице ко мне, если хочешь жить.

Стренге насторожился. Он уже понимал по-эвенкийски.

— Иди, Куруткан. Сестра твоя послала его. Может...

Через несколько минут Куруткан подошел к Бодоулу.

— Мои уши слушают, — косо взглянул на племянника.

— Твоя сестра Лэтылкэк желает тебе дальнюю тропу тянуть.

Куруткан задумался.

— Чолбон болеет. Как я в такую стужу повезу ее?

— А ты не бойся большевиков. Помогни мне связать Стренге. За это тебе будет похвальба от них. В тюрьме год-два подержат тебя да и выпустят. Ты людей не убивал. Помоги мне.

Куруткан мотнул головой.

— Ты жди здесь. Я скажу Стренге, чтоб помог тебе принести понягу со спиртом. Он пойдет с тобой, ты его ударь по голове, а потом и свяжешь, Тащи к своим... А я уйду к якутам.

— Ладно. Посылай.

— Ну, что принес племянничек твой? — встретил Стренге Куруткана.

— Смерть нам принес... Враги знают, где мы. Понял?

— А как узнали? Наверно, Бодоул выдал нас.

— Он. Щенок.

Куруткан, шатаясь, пошел к юрте, откуда доносился истошный крик ребенка.

Стренге быстро принял решение: «Бодоул приведет сюда людей — тогда смерть. Кроме него и Лэтылкэк никто не знает нашего стойбища. Значит, нужно его...»

Стренге прицелился в грудь, выстрелил.

Чолбон совсем оклемалась. Появилось молоко. Сын теперь спал спокойно, а в ряд с ним и измученный длительной бессонницей Куруткан. Ночью приполз к Чолбон Стренге.

— Я еще слаба,— шепчет на эвенкийском.

— Я не за этим... Чолбон, хорошая моя, ты расспросила, где спрятано золото?

— Знаю. Он сам рассказал мне вчера, когда ты уходил к завалу. Сам со слезами баил: «Я скоро уйду на Нижнюю Землю к предкам. Когда власть станет другой, откапашь золото и снова ты с сыном моим начнешь торговать, станете богатыми людьми».

— А не забудешь то место?

— Нет. Теперь не забуду — выучила все приметы, вплоть до последнего камушка.

— Это хорошо! Ох, как я тебя люблю, Чолбон! Теперь, когда у нас с тобой сын есть, я тебя еще больше люблю,— бойко объясняется о своих чувствах на эвенкийском Стренге.

Чолбон придвинулась к нему, прижалась всем телом.

— Милый, давай завтра же на лыжах уйдем от Куруткана. Хи-хи! Он и на самом деле думает, что сделал мне сына... Бык выхолощенный всегда обманывает себя, чтоб было легче на душе. Ну и пусть! Все же ребенок помог нам выудить из него тайну о закопанном золоте. Когда он закапывал свое золото, я стояла в сторонке. Мне тогда было наплевать на эти желтые камушки. Теперь-то я знаю! Мы с тобой уедем в далекую теплую страну, где будем богато жить. Ведь у Куруткана три пуда золота. Ты сумеешь поднять столько? Ведь надо выючить коня.

— Конечно, сумею. Теперь все будет! Только бы убраться отсюда. Здесь страшно. Сюда скоро опять придет сын Волчонка. Почему-то вижу его даже во сне — тенью крадется он за мной. Ведь его отец, Волчонок, погубил мой отряд. Тогда я по болезни отстал от своих.

Но я-то Волчонка раскусил бы, а то при отряде находился мой помощничек — мальчишка... Чолбон, какой он из себя, этот сын Волчонка?

— Зачем тебе? Хи-хи! Да я его обману, обведу кривой тропой, как лиса волка.

— Нет, Чолбон, теперь будет нам труднее. Это я чувствую. Надо завтра же нам с тобой уходить.

— Значит... какой он?.. Правильно, врага своего надо издали узнавать. Вот он какой: высокий, широкий в плечах. Могутной и ловкий. Охотник, одним словом. Это с виду издали, а вблизи: бледнолицый, глаза черные, густые брови, нос крупный с горбинкой.

Стренге прижал к себе Чолбон и поцеловал.

— Спасибо, милая, ты умница, даже портрет человека рисуешь хорошо, будто когда-то влюблялась в него.

— Молчи. Давай думать будем, молиться надо. Боюсь я, как бы сына не заморозить.

— А я его за пазуху положу. Не бойся, Чолбон, ведь он наполовину эвенк,— успокаивал Стренге.

* * *

Лэтылкэк была обеспокоена. По времени сын должен был уже вернуться. Хорошо, что каждое утро забегала к ней Уриндак. Девушка не знала, что Бодоул ушел не на охоту, а к Куруткану. Поэтому Уриндак была спокойна.

Не знали обе женщины, что в ущелье Белого Волка бывший семеновский офицер Стренге выстрелом на близком расстоянии пробил парню сердце.

Пока никто ничего не знал.

Знали только старый, доживающий свой долгий век ворон да Стренге. Они видели, как труп Бодоула скатился вниз в кипящую воду реки. Куруткан, слышавший гул выстрела, догадался, что его племянник ушел к своим предкам, на Нижнюю Землю.

На следующее утро Лэтылкэк вышла на улицу. Взглянула в сторону тайги, откуда должен был прийти ее сын. Никого там не было. Лишь угрюмые заснеженные деревья осуждающе смотрели на нее.

Лэтылкэк взывала обраненной волчицей.

— Будь ты проклят, Куруткан! Ты эльгэргэ!

Магдаулев повел своих товарищей по чумнице Бодоула.

Во время короткого привала начальник милиции прислонил винтовку к кедру и закурил.

— Ну, Ганя, ты здесь дал непростительную оплош- ку,—долго задержался в Таськимо. Чуть бы пораньше, глядишь и тово...

— Петьку ждал с рыбалки. Воловик-то при вас нака- зывал мне, быть осторожным.

— Так-то так, но иногда и рисковать надо, если есть необходимость.

— Может, и ошибся я тогда...

Анкоуль сплюнул.

— А я совсем много ошибся. О-е!.. Э-эх, худо, худо!..

— Где и как ошибся-то? — спросил Магдаулев.

Эвенк горестно замотал головой, но ничего не сказал ему.

После перекура Анкоуль шел сзади. Мрачный, мол- чаливый, непохожий на себя.

«Давно бы надо изловить Куруткана... все тянул... па- рень погиб теперь... Эх, жалел я Лэтылкэк, а не знал, что через мою жалость старуха останется без сына... Ой-ей-е, беда, беда!.. А может быть, Бодоул живой. Чего это я вперед времени похоронил парня?.. Наверно, живой», — ободрял он себя.

В обед они пришли к ущелью Белого Волка. Чумница Бодоула здесь кончилась. Дальше пошла обледеневшая тропа над бурной речкой. На сосне сиротливо висели лы- жи Бодоула.

— Парень-то пропал,—заклучил Анкоуль.

— Пропал не пропал, узнаем у них,—ответил на эвен- кийском Магдаулев.

Начальник мотнул головой, тоже понял. Посуровел.

Над узким ущельем сгустились темные тучи. Пова- лил густой снег. Сразу же навис холодный сумрак. Рядом сердито грохотала речка. Чуть ошибся — улетишь щукой в ее леденящую пасть; оттуда возврата не будет. Цепоч- кой ползли люди. Между ними, страхуя от падения, ви- лась тонкая бечевка.

Порывом ветра смахнуло свежий снежок с молочно- белого льда. По льду рассыпались алые ягодки спелой брусники.

Анкоуль отпрянул, испуганно запричитал:

— О-бой!.. Убили!.. О-бой!.. бедный Бодоул!..

Магдаулев с милиционером, позабыв про опасность, подскочили к Анкоулю.

Порывом ветра подняло столб снежной пыли, накрыло людей. Второй порыв приоткрыл завесу и тут же кинул на них охапку снега. В тот же миг раздался выстрел.

Стоявший с краю Магдаулев пригнулся и бросился на выстрел.

Густой снег слепил глаза, он упал перед самым завалом из толстых бревен. Над ним кто-то часто щелкал затвором и наугад стрелял по тропе.

«Один... Надо подобраться сзади и обезоружить»,— решил он. Огляделся.

«Товарищи, видимо, притаились»,— подумал он.

Сбросил тужурку и полез между сваленных стволов. Кое-как преодолев завал, Магдаулев оказался совсем рядом с темным силуэтом человека, который, не оглядываясь, стрелял и стрелял по тропе.

Магдаулев, не спуская глаз со стрелка, стал подбираться к нему. Вот осталось каких-нибудь три шага, он весь напряжился, прыгнул, больно стукнулся о человека, ударил его по голове. Человек обмяк, вяло сопротивлялся. Почти одновременно с обеих сторон подскочили товарищи. Помогли связать пленного, который брыкался и испуганно ревел.

Анкоуль поднял лежавшего ничком человека и взглянул в лицо.

— А-а, Куруткан! Эльгэргэ, зачем застрелил Бодоула? Я убью тебя за это! — ляцкнул затвором ружья.

Магдаулев оттолкнул его от Куруткана.

— Где Стренге? — взревел начальник милиции.

Куруткан отвернулся от него, сплюнул, заскрежетал зубами.

— Где тот русский? — спросил Магдаулев.

— Лежит рядом с Чолбон.

— Ты не смейся!

— Убил я их...

В чуме раздался детский плач.

Куруткан резко дернулся, упал. Поднялся на колени. Исподлобья взглянул на Магдаулева.

— Сын Волчонка, развяжи... ребенка накормлю,— красные, затравленные глаза наполнились слезами.

Неподалеку от чума Магдаулев с товарищами наткнулись на трупы. Они были покрыты тонким слоем свежего снега. Барон Стренге лежал рядом с Чолбон.

После победы

1

...Давно миновали трудные тридцатые годы. Сороковые отгремели победными салютами в честь окончания Великой Отечественной войны. Многие подлёморцы не вернулись в Таськимо. Не довелось им обнять и расцеловать близких сердцу, выпить байкальской водицы, пройти по хребтам высоким, откуда раскрываются захватывающие дух, синюющие дали милого сердцу отечества.

Уже пять лет как народ отмечает праздник Победы, а бабушка Лангара все не верит в гибель своих сыновей, все ходит на берег. Ее седые волосы развеваются на ветру, руки протягиваются к западу. Она молится небожителям:

— Преславная мать людей и зверей, богиня Бугады, смилуйся, помоги вернуться сынам моим, утянувшим свои тропы в неведомые земли...

По морщинистым щекам Лангары текут слезы. Она с надеждой смотрит в ту сторону Байкала, куда ушли ее три сына зимой сорок первого.

Помолившись небесам, Лангара подходит к воде и кидает в нее монету — приносит жертву «хозяину» моря — седому старцу с синими глубокими глазами.

Молитвенно сложив ладони рук, она вопит громко, чтоб услышал тугой на ухо «хозяин» моря:

— Могучий повелитель воды Байгал-далай, помоги бедной Лангаре — осуши ее слезы. Раскачай свое море, да так, чтоб грохот его волн слышали сыны мои и вернулись на святые берега, в тайгу родную. Помогите! Помогите! Помогите!!!

Усердно помолившись, как бы исполнив долг, она усаживается на берегу и начинает сердито ворчать:

— Однако, ты совсем оглох, «хозяин», не слышишь Лангару... Ужо приду завтра. Докричусь...

...Таськимо за эти годы заметно изменилось. Чумы окончательно уступили место домам. Свежерубленные, сложенные из золотистых бревен, они весело сверкают на весеннем солнце.

Сегодня Девятое мая. День выдался теплым, приветливым. Таськимо расцвело алыми флагами, празднично одетыми людьми. В поселке радостное оживление: слышатся песни, весело разливается гармошка.

К бабке Лангаре забежали ребята.

— Эни, вас приглашают в школу.

— Кто? Зачем?

— Гавриил Бадмаич зовет... У нас сегодня праздничный суглан. Все придут! Мы будем «одёр» танцевать по-новому. Вот увидишь! Бакша расскажет о хороших людях. Приходи, эни!

Лангара разулыбалась, довольная приглашением.

— Эка, веселый народец народился! Дятел бы вас разлягал, чертенят! Ладно, приду.

Разукрашенный зал школы переполнен. За большим столом президиума знакомые лица: Петр Грабежов, Семен Самойлов, Анкоуль, Новолодский и сам заведующий школы Гавриил Бадмаевич Магдаулев. Они сегодня неузнаваемы, важно и торжественно сидят на почетных местах, добротные пиджаки костюмов украшены боевыми наградами.

Магдаулев первому дает слово председателю колхоза Новолодскому.

Тот, уже привычный по своему положению к выступлениям, рассказывает собравшимся о значении победы над фашистской Германией. Говорит и о подлеморцах, не вернувшихся с войны: Иване Мельникове, сыне Иннокентия Мельникова, о Корытове, которого все называли Синеньким, о бывшем стражнике Бимбе, дети которого обоживались в Таськимо... о сыновьях бабки Лангары и многих других.

Свою речь он закончил словами:

— Теперь, после войны, мы — ветераны — воюем на другом фронте — трудовом, стремимся, чтобы наш колхоз стал передовым в районе.

Он сел, вытирая круглое лицо платком.

В ответ раздались аплодисменты. Дождавшись, когда они стихнут, встал Магдаулев, хлопнул по плечу Петра Грабежова и бросил в зал:

— Вот, товарищи, наш Герой Отечественной войны, кавалер ордена Славы всех трех степеней, прошедший путь от Москвы до Берлина. Передаю ему слово.

Зал одобрительно загудел. Петра в Таськимо любили за справедливость, гордились его подвигами на фронте.

Петр смущенно поднялся, огромный, сутулый, не знающий, куда девать тяжелые руки.

— Дык... граждане... дык вы же, наверно, слышали, как воевали, но и я так же... Все мы, куру мать, тянули одну и ту же лямку... А ордена мои... чево же удивляться-то, ведь мы, разведчики, всегда топали впереди армии, узнавали всякую каверзу врага и доносили начальству своему. Потому и кликали нас «глазами» да «ушами» армии. Вот за это и награждали. Силенкой батя не поделил меня. Вот, ту фашизму-то, нашего супостата, я частенько приводил к своим в штаб... Вот уж, куру мать, кажись, все и выболтал. Таперя увольте меня... Не мастак я бить, граждане, пусть за меня баит Гаврила Бадмаич. Не он, дык я и в разведку не хаживал бы и белый свет не копил бы. Меня бы расстреляли, как дезертира... Вот так-то, всю правду вам и вытряхнул. Просите его.

— Расскажите, Гаврил Бадмаич,— попросили Магдаулева чуть не в один голос несколько человек.

Магдаулев вышел вперед и начал свой рассказ:

— Мы с Петром вместе служили в запасном полку. Так получилось, что меня записали в маршевую роту, а его нет. Тогда все мы рвались на фронт. Я, конечно, обрадовался, а Петр почернел от досады. Посадили нас в вагоны и повезли на запад!

Еду, а у самого обида на Петра — не пришел проводить меня в дальний путь. Ведь на войну, а не к теще на блины едем мы.

Уже позади остался наш Байкал. Смотрю, из-под нар выходит мой Петр. Я словно онемел от удивления, потом понял, что он сотворил, напустился на него: «Ты же дезертир! Дурак! Ушкан дикий! Тебя же расстреляют за это!» — кричу я на него. А он говорит: «Дай жрать, потом кукарекай».

Что поделаешь, ведь мы с ним с самого детства все пополам. Ну, думаю, и эту беду как-нибудь расхлебаем тоже пополам.

Тогда к Москве вплотную подошли немецко-фашистские войска. Решалась судьба нашей Родины.

Беспрерывно катили на запад эшелон за эшелонам с сибирскими дивизиями. Страна надеялась на сибиряков, и они не подвели. Быстро оказались мы под Москвой, на самой линии фронта. Слышался грохот орудийных выстрелов, пахло гарью, в небе беспрерывно гудели самолеты. Все дороги забиты войсками. На вагонах, на бортах машин надписи: «Стой! Позади Москва!»

Наш полк подошел к какому-то поселку. Половина домов дымилась, догорала. Среди развалин уныло торчали трубы. Люди хоронили погибших.

Полк остановился рядом с поселком, в березовой роще. Кругом виднелись иссеченные снарядами и пулями березы, изрытая земля.

И вот старшина роты доложил командованию о Петре. Его арестовали, посадили. Я весь испереживался. Знал, что его ожидает. Ведь не шуточное дело — самовольно сбежать из полка. Время-то военное. Строгости. За дезертирство — вплоть до расстрела.

Штаб полка разместился в школе. К счастью, меня назначили дежурным по штабу. В моем распоряжении пять молодых бойцов — они рассыльные, а я больше торчу у полевого телефона, то иду докладывать к начальнику штаба, то к командиру полка. А у самого на душе черным-черно. «Что делать? Как выручить из беды друга?» Вот я и решился. Улучил момент, когда командир полка остался один. Рассказал ему без утайки про Петра, как мы, еще мальчишками, помогали партизанам. Ну, кое-где приукрасил, дескать, ловкачами мы были. Чего подделаешь-то, надо же выручать товарища.

Полковник оглядел меня с ног до головы и спросил: «Значит, ты с Байкала? Говоришь, охотник, рыбак... — «Так точно, товарищ полковник», — ответил я. Командир продолжал спрашивать: «А можешь переплыть через реку? Только учти — по ней несет лед. Вода студеная». И я понял, зачем завел этот разговор командир. Обрадованно ответил, что мы всю зиму булькаемся в воде, а друг мой — Грабежов, даже один раз при сорока градусах мороза в иордань спускался выручать невод. «Ну, ты не ври», — буркнул полковник. «Да зачем врать-то. Такая работа у нас. Мы бы с Грабежовым притащили из-за реки живого немца», — говорю я.

Полковник задумался. Ни о чем больше не спраши-

вал. Только сердито сказал: «Дезертира судить будем». По телефону приказал привести арестованного.

Обросший, страшный, хоть рядом с медведем ставь — никак не различишь — таким предстал Петр перед полковником.

В этот момент в комнату вошел высокий военный. Наш командир резко поднялся, вышел навстречу, вытянулся.

— Товарищ командующий! Личный состав...

— Знаю, знаю, полковник, уже повидался с земляками.

— А вы, товарищ Рокоссовский, разве забайкалец?

— Да, полковник, Забайкалье — моя вторая родина, — взглянув на Грабежова, строго спросил: — А этот медведь чего натворил?

— Присягу нарушил. Дезертир.

— Струсил! К бабе под юбку драпанул?! — сердито сказал Рокоссовский.

Петр мой поднял голову, взглянул загоревшимися глазами. Сжал кулачищи свои. Вот-вот готов наброситься. Вижу «коса на камень» — ажно искры! Дело плохим концом оборачивается для Петра. И до сих пор я не могу понять, откуда у меня взялась такая смелость, я говорю Рокоссовскому:

— Товарищ генерал! Да ведь он патриот! Он из Забайкалья сбежал на фронт. Он уже в пути вылез из-под нар и говорит нам: «Не гоните меня, братцы. Москва, Родина в опасности, а я буду в тылу отсиживаться? Я одними этими ручищами передую десять — двадцать фашистов!..» И мы ничего не могли ему сказать. Накормили, и я его понимал, не прогнал... привезли... Значит, и меня судите. Кровью искупим мы вину свою...

Генерал с полковником переглянулись. Рокоссовский приказал мне:

— Сержант, выведи арестованного!

О чем говорили командиры, никому неизвестно. Через два дня нас с Петром послали в разведку.

По реке несло шугу! Уже были забереги. Разделись догола, дошли по льду до полый воды, спустились. От стужи сжималось сердце — ведь на дворе зима. Идем. Вот уже одни головы торчат над водой. Вот так перебрали мы через реку. Видать, повезло нам — угадали на брод. Оделись. Самих трясет, ажно подскакиваем на месте... Ползем. Вдруг фашисты открыли пулеметный огонь.

«Неужели обнаружили нас?» — подумал я. Пули свистят совсем рядом. Мы прижались к земле-матушке, боимся дышать. Сердце ноет, страшно. Долго лежали, все стихло, и мы поползли дальше.

Грабежов перебил Магдаулева.

— Опыту у нас не было тогда. Впервые нюхали порох немецкий, а потому кумекайте сами — пули-то страшновато свистят ночью. Душонки тряслись, чего греха таить.

— А в штанах-то не мокро было? — со смехом спросила веселая Варвара у мужа. — Вот ведь какой! Домато, про ту войну слова не выколотишь из него — молчит.

— Давай, давай, Петро, сам рассказывай!

— Нет, Гаврила, сыпь дальше.

Магдаулев продолжал:

— Вдруг перед нами, будто из-под земли, выросли двое. Мы приготовились. Вот они поравнялись с нами. Я ткнул в бок Петра, и мы враз вскочили, подмяли немцев под себя. Да только Петро перестарался — своему немцу придавил горло так, что тот отдал богу душу.

— О чем и баю — опыту у меня не было. Потом-то я приловчился — живехоньких доставлял в штаб, — добавил Грабежов.

— Привезли мы с Петром первого нашего «языка». Похвалил нас полковник — очень уж ценные показания получило наше командование.

После этого нам с Петром приказали разыскать еще в нескольких местах отмели в реке. Это мы быстро выполнили.

По этим отмелям, в снежную темную ночь, наш полк в полном вооружении перебрел через реку и внезапно напал на врага. Немцы были застигнуты, можно сказать, в нижнем белье. Они никак не ожидали, что русские могут перейти вброд через реку, когда несет шугу. Ведь все мосты были разбиты, никаких других средств переправы не было. А вода! «Только дьяволы могут одолеть ее» — так думали немцы и преспокойно отдыхали в своих укрытиях.

Что было тогда! Почти без выстрелов, штыками мы перекололи уйму фашистов. Многие из них в ужасе поднимали руки. Наверно, и на самом деле нас приняли за дьяволов, мы были одеты в белые маскировочные халаты.

Немцы отступили в панике. Генерал Рокоссовский находился с нами. По его приказу через реку были немед-

ленно наведены понтонные мосты, по которым переправились и вступили в бой дивизии его армии.

Враг был отброшен на сотню километров. Много пленных, огромное количество боевой техники и оружия было захвачено нашими войсками. Это была первая крупная победа под Москвой.

После этого боя нас с Петром вызвали в штаб полка. Там сидел генерал Рокоссовский и наш командир.

Мы подошли строевым шагом, и я рявкнул:

— Товарищ генерал!..

Рокоссовский вручил награды, рукопожатием поздравил нас.

— Ну, парни, не руки у вас, а лапы медвежьи! — пошутил он.

...После этой незабываемой встречи, в одном из боев, меня ранило. После выздоровления меня врачи «забраковали» и вернулся я домой в Таськимо, а Петр Макарыч со своим полком дошел до Берлина. Уже там, в логове фашизма, когда все стихло, Петра вызвал к себе командир дивизии, тот, бывший наш полковник, ныне — генерал. Вручил ему третий орден Славы и спросил:

— Сколько же осталось в роте из тех, которые были под Москвой?

— Только трое.

У генерала показались на глазах слезы.

— Эх, парни, парни, — тяжело вздохнув, тихо проговорил он.

...— Вот так воевал наш бригадир Петр Грабежов, — закончил Магдаулев и сел.

Люди минуту-две молчали под впечатлением рассказанного, потом зал зашумел, грохнул в рукоплесканиях, раздались одобрительные выкрики.

Поднялся Анкоуль.

— О-бой! Во, вот это батор!

Грабежов смущенно улыбался, растерянно оглядывался, пожимал широченными плечами.

Перед столом президиума неожиданно вынырнул Максимка Магдаулев и звонко выкрикнул:

— Папа, а давайте дядю Петро за геройство Волчонком назовем.

Все рассмеялись. Макарка Грабежов подскочил к нему и обиженно закричал:

— Каким это Волчонком? Зачем Волчонком?

Ребятишки заспорили...

Семен Самойлов зашевелился на месте, застучал костылем своим, прогудел:

— А что? Волчонок — геройское имя. Я ведь воевал с ним, с Волчонком-то, знал его. А вот откуда это имя — не ведаю. Расскажи, Гавриил, другие тоже не знают.

Анкоуль на эвенкийском добавил:

— Ты, сын Волчонка, не забудь в День Победы и про нас, стариков, чего-нибудь сказать — батыру Ленину мы помогали. А про бабая своего — тем более.

Магдаулев некоторое время молчал, перебирая что-то в памяти, потом степенно начал рассказывать.

— Мой дед промышлял белку в Ямбуе с напарником своим, эвенком Воулем. На охоте с ним случилось несчастье, и он перед смертью попросил товарища взять у его жены младшего сына.

«Вырасти и научи парня охотничьему делу. Пусть он идет по моей тропе», — сказал и скончался мой дед. Тунгус есть тунгус — дал слово, так топором отрубит, обещанное выполнит. Пошел Воуль в Барагхан. Спросил у бурят, где кочует жена его талы.

Разыскал он юрту вдовы. Обсказал ей все. Отдал добычу и попросил у нее сына младшего, который пищал в зыбке.

Какая же мать отдаст свое дитя?

С пустыми руками вернулся Воуль на стойбище. Живёт в чуме, все будто есть, а сердце ноет — совесть грызет. Он пошел к шаману и рассказал о своем горе.

Шаман дал совет:

— Ты, Воуль, укради мальчонку.

— Когда же тунгус воровал? Это ж грех великий.

— О-бой! Какой ты бестолковый! — воскликнул шаман. — Ты не воруй, а возьми так же, как наш предок взял у волчицы волчат и сделал из них собак. Так и думай, что ты не ребенка ворует, а берешь волчонка. Это можно делать. Принесешь ко мне — я его нареку Волчонком. У тебя и совесть останется чистой.

Воуль сделал так, как велел шаман. Вот почему мой отец носил это имя. С ним и погиб он в далеких гольцах, — закончил Магдаулев.

Поднялся седовласый Анкоуль. Ткнул трубкой вверх, будто хотел потолок прогвоздить.

— Ты, сын Волчонка, скажи нам, как дойти до могилы твоего бабая. Хоть бы маленький холмик ему из камней сложить. Эвон, во всех деревнях делают памятники

баторам, погибшим на войне. На тех камнях слово нацарапать. Мы же, эвенки, теперь тоже грамотен.

Самойлов поддержал его.

— Правильно, Анкоуль баит. Я там бывал с Иваном Федоровичем Лобановым, но позабыл те места, а ты, Гавриил, дорогу точно знаешь, надо поход нам туда сделать.

— Гавриил Бадманч, расскажите, как вы с Петром нашли могилу Волчонка,— попросила Уриндак.— Меня тогда не было здесь — училась в городе, но об этом слышала.

Уриндак поддержали все.

Магдаулев потряс головой, дескать, достается же мне в День Победы, и рассказал о могиле отца следующее:

— Будто червяк точил мое сердце. Все время думал об отце — где-то лежит бедняга... Мать тоже печалилась, плакала, молилась. Мы с Петром отпросились у башлыка, собрались и ушли в тайгу в те края, где воевали наши партизаны. Долго бродили по следам Волчонка. Ведь Лобановский отряд шел по нехоженным местам, где и звериной тропы не было. Местами они рубили просеку, делали затесы. А по редколесью-то шли без всего. Тут-то мы и терялись, тыкались, как слепые щенята, но все же находили следы и шли дальше. Трудные были эти следы — трущобы, горные кручи, ущелья, скалы, гольцы. Все это мы преодолели. Ох, хлебнули мы с Петькой горького до слез. Сухари давно кончились, соль тоже. Питались чем придется. Оборвались. Но не устали и духом не пали. Петька-то ведь из кремня сделан. Охо-хо-хо, он и в парнях крепкий был, не повернет назад ни в жись. А меня звала тень бабая Волчонка. Велика тайга — извела нас до крайности, но идем и идем. Без усталости смотрел я в зеленые дали таежных хребтов и гадал, на каком из них погиб мой отец.

К концу месяца наших мытарств мы встретили человека, который вел аргиш.

— Моод! Моод! — весело покрикивал он на оленей. Бодро шагали рогаи. Звенели бубенцы на шеях. Эвенк пел об удачной охоте, о том, что его сородичи теперь до отвала наедятся вкусного мяса, вечером вокруг костра будут плясать «одёр», в песнях своих люди будут воспевать славного добытчика, славного охотника Бойчена.

Все это было так неожиданно в таежном безмолвии, что мы растерялись и обалдело слушали протяжную гор-

танную песню, которой так хорошо вторили мелодичные звуки бубенцов.

Наконец мы переглянулись и от радости начали тужить друг друга. Надо понять наше состояние — за месяц впервые услышать человеческий голос в таежной трущобе.

Мы пошли навстречу незнакомцу.

Человек остановил аргиш, слез с оленя. Он был сухошав, до черноты смугл, одежда из шкур. Узенькие глаза настороженно всматривались и следили за каждым нашим движением. В руках эвенка зловеще сверкал острый конец матерой пальмы¹.

— Мэндэ! — поздоровался я.

— Мэнд!!

— Аяльди?

— Аяксот!.. Откуда родом? Куда тянете тропу?

— Родился в Белых Водах, живу в Онгоконе. Ищу следы отца.

— Я Бойчен. Род наш чильчигиры.— Эвенк воткнул в землю свою пальму, без опаски подошел к нам и крепко пожал руки.— Ты чей, из Беловодских?

— Я сын Магдауля — Волчонка.

— О-бой! — Каюр зацокал языком, радостно заулыбался. — Я и то смотрю — походит парень на кого-то из моих друзей. Волчонок-то! Эх, был мужик! Он был великим медвежатником. О-бой!.. Ца-ца-ца! Сын Волчонка! — Эвенк качал головой. — А ты здоровоходишь на него — такой же могутной. Черные большие глаза. Нос с горбинкой, а рука — медвежья лапа! — каюр метнул на Петьку суровый взгляд и приказал:

— Парень, жиги огня. Мясо жарить будем. Баить много нада.

После жирного шашлыка стали пить чай. Бойчен неторопливо рассказывал:

— Два дня я тенью следовал за отрядом белых. Хотел незаметно подойти к ним и помочь бежать Волчонку. Но где там! Ни на шаг не отпускал его от себя офицер. На третий день, вижу, из сил выбиваются белые, но еще могут и худое дело сотворить. Водил-водил их Волчонок и привел отряд под самый страшный голец Большой Шаман, где обвалу быть один пустяк — от крика может. Смотрю, костры распалили, конское мясо

¹ Пальма — большой нож с длинной деревянной рукояткой.

жарят, а слабенюки в улежку лежат, не до мяса им. Вижу, Волчонок повел своего коня в сторонку, расседлал и отпустил пастись. Я стал звать его, но злой ветер возвращал мой голос обратно. Так и не услышал моего зова Волчонок, вернулся к белым. А когда он стал целиться из винтовки в самый большой снежный карниз... Я все понял, закрыл глаза и упал под дерево. В следующий миг раздался страшный грохот. Когда все стихло, я поднялся и взглянул вниз. Там, из-под бурого снега, торчали изуродованные деревья, камни и ни одного человека.

— Неладно сделал отец. Надо бы стрелять по снежному карнизу со стороны, где он отпустил своего Бургу-та. Сам бы уцелел, — заметил я.

— Хэ! Ты, сынок, думаешь белые-то дураками были. Офицер отобрал у Волчонка винтовку, потом только отпустил его. Я кумекаю, Волчонок отпросился покормить коня, а больше-то как?

— Вон оно што! Тогда у отца иного выхода не было, — тихо проговорил Ганька.

Бойчен мотнул головой, продолжал:

— Пытался я откопать Волчонка, но одному несподручно, снег заледевел. — Бойчен взглянул на тусклое солнце, продолжал спокойно говорить. — Нынче летом здесь жили лючи, которые ищут в земле золото. Говорю им: «Негоже, мужики, чтоб партизану и великому медвежатнику, каким был Волчонок, лежать рядом с белыми волками. Надо откопать его прах и похоронить с почестями». Согласились со мной лючи. «За Советскую власть погиб. Ленину помогал. Такому человеку не место рядом с беляками», — сказали они. К счастью, каким-то чудом уцелело то дерево, где стоял Волчонок. Я крепко запомнил это место. Стали копать. Снег, что твой лед. Кое-как одолели чертову твердыню.

Волчонка похоронили в густом кедровнике, поставили столбик с красной звездочкой.

Я ошалело вскочил.

— Пойдем, дядя, покажи нам могилу отца!

— Покажу, покажу, сынок!

Вот и повел нас Бойчен к могиле моего бабая. Иду и досаую на оленей — уж очень тихо они двигаются. Так мне казалось тогда. Жалел, что природа обидела человека — лишила крыльев.

Тропа вела нас все выше и выше. Под нами зияли

темные ущелья, где-то внизу грохотала река. Наконец Бойчен остановился на высоченном гольце Большой Шаман.

— Теперь недалеко, — сказал эвенк. Удобно уселся на колоде, тяжелыми веками закрыл глаза. Молчал.

— В хорошем месте похоронили дядю Волчонка, — нарушил безмолвие Петька.

Я будто проснулся от дремоты. Ведь я шел ничего не замечая, весь погруженный в себя, в мир прошлого моей короткой жизни. Огляделся и обомлел: с высоты орлиного полета открылось такое великолепие, что до сих пор забыть не могу.

Мягко светилось сентябрьское солнце. Далеко, далеко, насколько хватало глаз, стелилась тайга. Она вобрала в себя все оттенки зеленого цвета, который где-то на самом горизонте неожиданно переходил в голубой, сливаясь с небом. Листья на ближайших деревьях, как драгоценные камни, весело сверкали золотом и жарким багрянцем.

На душе у меня растаял, развеялся холод. Я знал, за что погиб мой отец. Дай бог такой смерти и мне, если это потребуется когда-нибудь. Но не знал, похоронен он или лежит под открытым небом?.. А теперь?

А теперь я стоял перед раскинувшейся внизу тайгой. И это место было выбрано заботливыми руками неизвестных мне людей, для погребения моего отца...

Хитрый эвенк не довел нас до могилы... всего сто метров. Он нарочно дал мне успокоиться, оглядеть и оценить, какое славное место они выбрали для могилы Волчонка.

— Э-гей, сын Волчонка, надо дальше тянуть тропу, — легко поднявшись, бодро сказал старик, а сам спрятал глаза.

И вот мы подошли к белой известковой скале, у подножия которой возвышалась тумба из толстого листовичного сутунка. Лицевая сторона тумбы была отесана острым топором, и на ней кто-то мастероватый долго трудился ножом. Он красивым наклонным почерком вырезал лаконичную эпитафию:

***Здесь покоится славный сын бурятского народа
Бадма—Магдауль—Волчонок.***

***Погиб геройской смертью
в борьбе с бандой Семенова 5-го марта 1920 года.***

Семен Самойлов стукнул по столу ладонью.

— Во! Теперь-то и я вспомнил все! И я найду то место!.. А то в каком-то тумане, будто во сне все это видел.

Анкоуль, несмотря на свои годы, легко поднялся, оглядел собравшихся.

— Надо в Белых Водах Волчонку памятник сделать. Как думаете? — предложил он.

— Правильны твои слова, Анкоуль!

— Мудрые слова слышат мои уши, Анкоуль!

Дружно поддерживали эвенки своего старейшину.

Встал Новолодский, блеснул узенькими желтыми глазами, заговорил раздельно, словно по полочкам раскладывая слова.

— Анкоуль, почитаемый многими, всегда говорит мудро, толково. А вот сейчас он ошибся. Он забыл о том, что Волчонок по национальности бурят. Где родила его бурятка, там и быть памятнику.

Анкоуль вскочил. Взъерошил седую волосню свою.

— Э-э, товарищ Новолодский! Эвенк Воуль вырастил Волчонка. Сделал его храбрым, великим ловцом — одним ножом Волчонок укладывал амаку — медведя! Нет! Быть памятнику в Белых Водах!

Кто-то из задних рядов выкрикнул:

— А в Таськимо — Анкоулю! Ведь он когда-то был «товарис предчедатель».

Кто-то хихикнул. Кто-то сердито зашикал.

— Будет вам! Бесстыжие...

Магдаулев, видя, что спор сторон может перейти в ругань, громко сказал:

— А почему бы и нет? Анкоуль тоже был партизаном. Является организатором первой артели в Таськимо. Давайте, друзья, лучше прекратим спор и сделаем небольшой перерыв. Выйдемте во двор. Там перекурите.

— Верно, паря!

— Правда, надо, надо!

Старая Лангара пришла в школу, когда группа первоклассников лихо отплясывала «яблочко». Затем Туяна Николаевна вывела из учительской девочек, одетых в одинаковые голубенькие платьица, головы у них повязаны белыми платочками.

— Ну-ка, что за новый «одёр» придумала наша Туяна, — прошамкала Лангара.

Под пение Туяны Николаевны, сначала медленно раскачиваясь словно пологие морские волны, ходят девочки по кругу. Но вот ритм песни убыстрился. Девочки стали высоко подпрыгивать, быстро раскачиваться из стороны в сторону и враз отбивать ногами веселый перепляс. Сейчас танцовщицы походят на морские волны, когда рыбацкая лодка несется под парусом, не боясь, что ее зальет водой. Не страшны им игривые те волны. Они легкой дробью колотятся о борт. Вот и девочки, точно так же, дробью сыпят каблучками ботинок по дощатому полу... А под конец исполнительницы пустились в такой бурный танец, что дух захватывает — стремительно, словно падая, наклоняются вперед и вниз, резко выпрямляются и снова вперед... Белые платочки девочек в этом стремительном движении походят на крутые белоснежные завитки байкальского шторма.

Старая Лангара поднялась, из-под ладони приглядываясь подошла ближе.

— О-бой! Народ-то!.. Народ совсем другой!.. Ногами дрягают, аж душа веселится!.. О-бойе! — удивленно раскрыла рот и выронила трубку.

Вечером в доме Грабежова за широким столом сидят Анкоуль, Семен Самойлов, Магдаулев и рыбаки из бригады Петра Макаровича.

Варвара с Туяной Николаевной суетятся у плиты и подносят к застолью все новые блюда из рыбы и мяса. Мужчины поют:

Ты добычи не дожدهшься,
Черный ворон, я не твой...

Хозяин вздыбился над застольем с бокалом:

— Били мы всякое воронье! Пусть-ка сунутся к нам! Растеребим! Как думаешь, моя старушка? — Петр облапал свою Варварушку. Та, со смехом отбиваясь, кричит:

— Уйди, чертушко! Воевали-то хорошо. Это верно, но работаете в этот год хуже нас. Мы, бабенки, в войну до пупа бродили в студеной воде, а рыбы-то! Ой, сколько добывали! И план и сверх того — в Фонд обороны тысячи пудов омуля сдавали. Во! А ты, бригадир, сколько седни сдал рыбки, а? — с гулькин нос. То-то!

— А ты, Варя, сначала спроси у председателя. Не-

вод у меня сейчас старый, веревки — спуски погнили. Тонь тянешь — то мотня порвалась, выпустила всю рыбешку, то еще... вот и пустой невод приходит, с одной травой морской. При чем тут я, куру мать! — оправдывается Петр перед женой. — Вот скоро новый невод получу — все в норму войдет.

— Эй-эй! Сегодня про рыбалку молчок! — пробасил Самойлов.

— Немножко-то можно. Ты, дядя Семен, поднажми на Новолодского с сетями. Ты ведь ревизионная комиссия, а то план-то не выполняют рыбаки, — сердито сказал Магдаулев.

— Гаврила наш все такой же ершистый, — Самойлов махнул рукой и опрокинул рюмку.

Грабежов зычно рявкнул:

— Э-эй! Бросьте, друзья! Такое ли мы расхлебали?! Вот сети получим — наведем порядок.

Туяна Николаевна перебила разговор.

— Песню надо! Давайте фронтовую! Мы с Варей поможем вам!

— Во-во! Уж с Туяной-то Николаевной любую песню загудим! — поддержала подругу Варвара.

В доме, заставляя звенеть стекла в окнах, зазвучал мотив фронтовой песни «Огонек», но слова той песни свои — забайкальские, авторами которой были воины Сибирской дивизии, получившие звание гвардейцев за Сталинградскую битву.

За Советскую Родину выпьем этот бокал,
За сторонку родимую, ту, где плещет Байкал,
За друзей и товарищей из сибирских полков,
Что бесстрашно и яростно бьют немецких врагов!

* * *

Тимофей Король с Магдаулевым в ожидании попутной машины стояли у обочины лесовозной дороги. Их собаки лайки, как бы предчувствуя близость охоты, позвякивая цепочками, от нетерпения повизгивали, рвались в лес. Из-за поворота с грохотом выскочила машина с будкой на кузове. Из кабины высунулась копна русых волос.

— Чо, мужики, подвезти?

— Паря, дай бог тебе кралю-красотку облапать за углом бани! — хохотнул Тимофей, добавил озорное сло-

вечко, истинно с королевским вкусом. Быстро скидали в будку поняги, затащили упирающихся собак, которые воротили морды от машины, и устроились сами.

Парень оказался лихим водителем. Охотников и лаек кидало из угла в угол. В мутном окошечке будки все мелькало, рябило... От поднявшейся пыли стало сумрачно, тяжело дышалось.

Через полчаса машина остановилась на развилке двух дорог.

— Вылазьте, мужики! — открыв дверцу будки, весело крикнул шофер. — Ну как пропылил я? Наверно, материли меня? Посадил бы вас в кабину, да там мастер участка.

— Мы привычные, сынок. А чей будешь-то? — спросил Тимофей.

— Я издалека.

— А как фамилия-то?

— Харламов.

— Харламов? А случаем не Монкой, то есть не Монкилом звать отца?..

Парень мотнул головой.

— Интересно девки пляшут! — Тимофей схватил его за руку. — А батька-то где сейчас?

— Где... Его в живых нету.

— Поди на войне пострадал?

— Не-е... дома, — у парня помрачнело лицо.

— Мы-то с твоим батей тово... Потому я так... Ты не серчай.

— С одной деревни, что ли?

— Бириканские мы.

— А-а! Потому и вцепился как клещ! Я думал, что руку оторвешь. Батя рассказывал про какого-то Короля, который запрягал жену и катался по улице. Правда, што ли, дяденька?

— Чистая правда. Чудил старик в молодости-то. А теперь бабка Липистинья на нем ездит. Нынче заболела, дак он на своей горбушке в баню сносил ее.

— Значит в расчете, — усмехнулся парень.

Магдаулев удивленно рассматривал Монкиного сына, отмечая про себя — насколько они разные. Задорный, светловолосый, с ясными чистыми глазами, парень откровенно был ему по душе.

— А отец давно скончался? — спросил он.

— В войну.

В это время подошел мастер участка и перебил разговор.

— Костя, правое переднее спустило.

— Я уж заметил, Михаил Иванович. Сейчас заменю.

Шофер полез в будку за колесом, а охотники с мастером отошли в сторонку, сели закурили.

— Вишь, какое дело-то — гора с горой не сходится: а человек с человеком нет-нет да столкнутся, — не с батькой, дык с сыном. А парень-то не в отца. Веселый, да и лицом приятственный, — говорил Тимофей товарищу.

— Не в отца, говоришь? — спросил мастер.

— У-у! Небо от земли! Монка-то был, — Тимофей оглянулся, не слушает ли парень ихнего разговора и продолжал: — Монка-то был живая ехидна, хошь лицом, хошь душой.

Мастер усмехнулся.

— То-то, старуха Харламиха добром никогда не помянет Костиного отца. Мы в соседях живем. Ходит она к моей жене поболтать, чайку распить. Как-то зашел разговор о войне, старуха и говорит: «Мой-то лешной не захотел идти в армию. Боялся, что убьют. Пошел в лес, нарвал подснежников и теми цветами натер тело. Страшно было смотреть на него: сначала появилась краснота, потом кожа слезла — одно голое мясо... Гнойными язвами покрылось тело. Три года лежал он. Сутками не спал — кричал от боли. Так и скончался в муках невыносимых... А я сколько перестрадала, почей не спала... И за что?!»

— О, господи! Зачем он так?! — Тимофей растерянно посмотрел на мастера, потом махнул рукой. — Да-а, оно так и должно быть. Бог-то, видать, есть на свете — за все его грехи отплатил золотой монетой. Э-эх, Монка, Монка, и жалко-то тебя и... поделом.

Магдаулев тихо, словно про себя, сказал:

— Он не мог иначе. Все думал только о себе, изворачивался, хитрил и под конец попался в свой же «капкан».

Тимофей возбужденно поднялся на ноги. Ударил кулаком о кулак, сжал зубы.

— Вот! Как бы стретить его дружка — Голубева! Я бы!..

— А ты разве не знаешь? — спросил Магдаулев.

— Известно, что он ушел на войну и след его про-

стыл... сообщение пришло — без вести потерялся... А там кто знает?

— Да ну их! Поминать — только сердце бередить, — Тимофей сплюнул и длинно выругался. Снова подсев к мастеру, уже мирно спросил:

— А парень-то хошь не в отца? Нутром, нутром, понимаешь?

— Понимаю, мужик. Видать, Костин-то отец был «ухом с мясом» — давал прикурить?

— Пакостил, — Тимофей презрительно скривил губы. — Мы-то тоже не пальцем деланные — спуску не давали ему. А парень-то каковский? — еще раз переспросил он.

— Старательный шофер. Трезвенник. Грех сказать о нем плохое...

Магдаулев отошел от мужиков и поднялся на ближайший взгорок. Давно он не был здесь, почти с юношеских лет. Сколько раз он мечтал побродить по знакомым местам, да вот школа, дела — не пускали. А теперь выпало лето посвободнее, ходи себе по тайге, радуйся! Да вот только в последнее время и радоваться-то нечему... Куда ни придут — кругом вырубки! Вот и здесь! Магдаулев сел на взгорке и хмуро осматривал исковерканную в окрестностях тайгу. Морщился, будто от зубной боли. Когда мужики позвали его, он подошел и, сердито взглянув на мастера, спросил:

— Это все вы повырубили? Душа-то, совесть-то где у вас?

— Нет. Тут Байкальский леспромхоз брал лес.

— Брал! Разве так можно вести порубку? Варвары!.. Вон, на сколько хватает глаз — одни горы остались. Разве это допустимо?

Мастер пожал плечами.

— Конечно, так нельзя. За такую порубку с леспромхоза штраф большой взяли.

— А что толку? Штраф-то, поди, директор не из своего кармана заплатил.

— Конечно, казенными деньгами.

— Интересно девки пляшут! Левою ногой свою правую лягают, да и только! Интересно! Значит, из левого кармана в правый переклали казенную деньгу, и шитокрыто! А тайга плакала. Э-эх, ироды царя небесного! — Тимофей смачно заматерился.

— Нет! Вашего брата мастеров надо штрафовать,

инженера и директора тоже. Да так, чтоб не из казны в казну деньги шли, а из ваших карманов. Тогда и порядок будет в тайге — станете соблюдать все правила рубки.

— Оно все так, мужики. Понятно, что жалеете тайгу. Она — наша кормилица. Но дело в том, что план-то большущий спускают с верхов...

— План! План! Одно оправданье!..

Мастер поднялся, взглянул на часы.

— Ладно, чего напустились? Я тут ни при чем. Да и ехать пора! Вы, мужики, куда сейчас накопытились? — спросил он.

— Вверх по Правой пойдем.

— Вот и увидите деляны Баргузинского леспромхоза. Нынешней весной мы там робили. Там все, как надо, не будете ругаться.

Из-под машины показался пышный чуб.

— Начальник! Падай скорей на свое место! — закричал парень.

Мастер махнул рукой охотникам и исчез в кабине. Машина, взыв, загрохотала по пням и кочкам захлавленной лесовозной дороги.

Тимофей с Магдаулевым молча накинули на горбушки тяжелые поняги и напрямик пошли по вырубленной тайге к зеленеющему вдалеке массиву.

Шли друг за другом: Тимофей впереди, Магдаулев за ним. У обоих на душе было нелегко — вырубки не кончались. Вокруг на многие километры — разруха! Вместо деревьев торчат пни, обломки сосен и кедров. Кое-где лежат штабеля уже собранного строевого леса, брошенные на произвол, уже тронутые гниением.

— Ой-ей-ей! Бедная тайга!.. Что сделали с тобой!.. — не выдержав, заговорил Магдаулев. — Ну, раз срубили, то почему же не вывезли эти штабеля? Какая бесхозяйственность!..

— Хы, таку иху куру мать! Сидят в конторах, нет чтоб заглянуть на лесосеки. Черти окаянные! Чтоб им колючий шиповник в штаны! — цветасто, по-королевски, ругался Тимофей и чаще обычного курил.

К обеду охотники поднялись на пологую гору. Тимофей повеселевшим голосом сказал:

— Внизу ключ Волчонка. Там юрта наших стариков. Поди, не забыл? Помнишь, мы еще пацанами целых три куля орехов наколотили в кедровнике.

— Помню! Такое не забудешь! Тогда медведица чуть не съела нас. Хорошо, что собаки угнали ее.

— Сами виноваты были — медвежат обидели.

У Магдаулева при воспоминании о тех далеких годах растревожилось сердце — как давно это все было и, несмотря на пережитое, так прекрасно...

К вечеру охотники вышли в живую тайгу. Солнце золотило макушки деревьев. Птицы весело перекликались, бесшумно порхали с места на место. Белка, почуяв неладное, зацокала и мелькнула вверх по веткам. Динго с Найдой уже навестили уши, словно переродились — стали стройнее, красивее. Махая через колоды, они вмиг оказались под деревом, и громкий залиvistый лай разорвал тишину тайги.

Магдаулев с Тимофеем сняли шапки, стояли радостные, позабыв все на свете.

Первым пришел в себя Тимофей.

— Каково, Гавриил Бадмаевич!!! А! А вы знаете, что здесь тоже участок леспромхоза, только не Байкальского, а Баргузинского.

Действительно, картина была иной. Даже лесовозная дорога и та отличалась от дороги соседнего леспромхоза. Ровная, без ухабов, посыпанная гравием, она аккуратно бежала по дремучей тайге, кое-где обходя ценные породы. Дорожники не забыли даже обозначить километры и знаки поворотов.

— Вишь, как у доброго хозяина! — развел руками Тимофей.

Да, разница была большая: кедровник не тронут, как стоял веки вечные, так и стоит. Кое-где в пышных кронах могучих деревьев висели шишки. А сосновые леса рублены полосами-лентами. Все, как полагается...

Охотники совсем ободрились. Легче шагалось теперь, хотя тропа была запущенная, заросшая подлеском. Тимофей года три не заглядывал сюда.

Вскоре они поднялись на гору. Открылись такие дали, такая красота, что Тимофей снял шапку.

— Слава богу! Есть же люди, которые оберегают тайгу. Отсюда смотреть — будто и леспромхоза здесь нет. Так-то пусть бы рубили.

— Об этом и разговор! Строевой лес, конечно же, нужен стране! — уже другим голосом заговорил Магдаулев.

— А ты, братуха, напрасно разгуделся на того мастера.

— Этих мастеров ругать и надо. Они отвечают в первую голову — по их указанию вальщики пилят лес.

— А директор?.. А главный инженер как, по-твоему!

— А эти вдвойне.

Тимофей достал кисет, набил трубку и запалил ее. Сделав несколько затяжек, заговорил.

— Оно, паря, так. Только одно скажу — если директор да главный инженер у своих работяг в почете, то и вся работа в лад идет.

— Значит, директор здесь молодец?

— А как ты думал! Да и главный инженер добрый мужик.

— В газетах читаешь — Баргузинский леспромхоз всегда в числе передовых. А план-то одинаковый, что у того, что у другого. Значит, можно и план выполнять, и тайгу не обижать. Все бы вот так относились, а то... У бургузинцев тоже не всегда мед... Мастер-то сам признался, что и они не безгрешные, ссылается на план — завышенный, дескать, очень.

— Хы, план! У нас с тобой тоже план, но мы же не станем нарушать сроки охоты, правила. Верно?

— А медведку-то надо добыть на мясо, а то чем же питаться будем?

— От этого тайга не обеднеет, в данном случае — это необходимость, не помирать же с голоду...

Таежники спустились к гулко шумевшей реке Шанталык, на берегу которой стояло зимовье Тимофея. Здесь они и заночевали.

Утром Тимофей удивил товарища:

— Собирайся, Гаврила. Пойдем дальше, — сказал он.

— Это почему? А здесь-то хорошо как? Вечером, пока спускались с горы на шести колодах, я видел соболиный кал. Это о чем говорит, а?

— Я тоже не ослеп. Сейчас еще рано промышлять. Сам видишь — чернотроп. А снег, пожалуй, не раньше покрова выпадет.

— Ну и что? Медведя будем промышлять. Мясо себе надо, и собачек накормим.

— Эх, Гаврила, у тебя одно — скорее бы медведя упромыслить. Отвык ты от охотничьего дела. Прикинь в башке своей: скоро Байкальский леспромхоз начнет рубить лес совсем рядом. Стало быть, надо заранее смазывать пятки — уходить в глубь тайги, к Голонде, и там рубить зимовье. Посмотрим, может быть, старый кордон уцелел.

— Ладно, Тимофей, ты бригадир — тебе и командовать. Я на все согласен. Веди, братуха, к своей Голонде, к Ямбуу! — Магдаулев рассмеялся. — К черту на рога веди, лишь бы не слышать шума бензопил и тракторов.

В этот день собаки без конца облаивали белок, сердились на хозяев, что они не стреляют. Охотники не останавливались и к вечеру второго дня поднялись на хребет. Тропа потянулась вниз к темно-зеленому кедровнику. Остановились.

— Видишь, Гаврила, вон ту гору, с востряком наверху? Там, рядом с ней река Голонда, а за той горой — Ямбуу. Хорошие места! Кедрача много. Зверья там — как в ограде пасутся. Вот сюда мы с Зеноном Францычем на выючных конях завозили собольков из заповедника, — черные глаза Тимофея засверкали радостью. — Э-э, брат, великое счастье дадено было мне — своими руками я отпускал из клеток тех зверюшек, а Сватош фотографировал, записывал. Теперь вот видишь, собольки расплодились и можно их промыслять. Сбылись слова Зенона Францыча... А я, грешным делом, не всегда верил ему. Вот тебе и на — интересно девки пляшут!

— Давно ведь это было?

— Еще бы! Более двадцати лет прошло.

— Быстро летит время! Помню, мы белковали в этих местах — тогда собольих следов и в помине не бывало, а сегодня по пути насчитал с десятков, если не больше.

Магдаулев не слушал, что говорил ему товарищ. Он залюбовался таежными далями, открывавшимися с большой высоты. Сквозь синь синющую смутно маячили могучие хребты. Лазурный купол неба повис над тайгой и окрасил свежий снег на гольцах нежной голубизной.

— Давай, брат, скорей спустимся вон в тот ключ, —

настойчиво твердил Тимофей. — Там кордон бывшего заказника. Сейчас они в другом месте расстроились.

— Да, да! — очнувшись ответил Магдаулев.

Тропа привела охотников к развалившемуся домику кордона. Его подточило время, да, видимо, и звери похозяйничали. Крыши и в помине нет, часть потолка разворочена, окна и двери сорваны, зато сохранились столы и нары.

— Когда-то был домик настоящий, — обойдя вокруг, сказал Магдаулев.

— А как же! В этом доме жила охрана заказника. А вон работа самого Зенона Францевича. — Тимофей мотнул в сторону сосны.

На толстом стволе дерева чернела большая доска. Магдаулев присмотрелся и различил на ней вырезанные ножом буквы. Подошел ближе и прочитал: «Голондинский заказник. Граждан! на территории заказника строго воспрещена охота...»

Тимофей рассказывал:

— Замучил он меня здесь в заказнике, то учет соболей, то подкормку делай, чтоб соболь с жиру бесился да детишек побольше плодил... Старик тут же писал какую-то книжку...

— У него много написанного было. Только куда девалось — не знаю.... Может, погибло...

Тихая ночь воцарилась в тайге. Только слышится глухой стонущий крик филина, да Динго тихонечко подлаивает во сне. Тимофей безмятежно спит на мягкой постели из еловых веток.

Магдаулев держит огонь. Не сон клонит его голову в эту длинную ночь, а думы. Вся жизнь пробежала перед глазами. Вспомнилось и то несчастливое время, когда пришлось бросить учительство.

«Да, как же это было?» — вспоминал Магдаулев.

Постепенно всплыли события тех далеких лет...

2

...Было воскресенье. Магдаулев собрал удочки, запаса живыми бармашами¹ и едва не бегом пустился на море. Хорошо провести выходной день на «камчат-

¹ Бармаш — жучки-бокоплавы.

ке»¹. Здесь такая тишина, даже в ушах звенит. А сам Байкал, каждый раз удивительно новый, широко размахнувшись, так и манит своей первозданной красотой.

Небо безоблачно. Сверкая и искрясь под лучами солнца, лежит необъятная равнина. Она походит на сказочную страну гор, где обледеневшие пики хребтов нескончаемой цепью тянутся в дали дальние. Так торосист стал Байкал в том году. Знатоки утверждали, что это к рыбе, к промыслу. Раз торосы, то быть здесь рыбьей поеди; стало быть, к ней и рыбешка вся соберется, сгуртится. Не зевай, рыбак!

Магдаулев быстро дошел до «камчатки». Огляделся кругом. Вблизи чужих «камчаток» нет. Только среди хаоса нагромождений, изломанных ледовых чернели отдельные точки — там сидели бармашельщики.

Он раздолбил промерзшую за ночь лунку и высыпал горсти три бармашей, которые, оказавшись в прозрачной студеной воде, начали стремительно носиться по лунке и постепенно опускаться вниз.

— Ешьте, рыбки! Бармаши свеженькие, вкусные.

Чтоб рыба спокойно прикормилась, он не стал опускаться на дно удочку; вышел из «камчатки», осторожно поднялся на высокий торос; от открывшегося вида захватило дух — весенний Байкал сверкал нестерпимой белизной. Лучи солнца, преломляясь на ноздреватом льду, искрились всеми цветами радуги. От изобилия солнечного света голубые дали беспрерывно воспламенялись яркими всполохами, отчего трепетно дрожали и двигались, будто дикий живые существа, громады Байкальского хребта. Иногда те синие горы приближались, но только на короткий миг, а потом снова убегали вдаль, становились маленькими, игрушечными. Сочная лазурь неба склонилась над морем и своими мягкими краями уперлась в молочно-белые клыки гольцов.

От нестерпимо ярких цветов и белизны до боли зарезало в глазах. Магдаулев соскочил с тороса, нырнул в «камчатку» и, чтоб унять боль, заглянул в лунку.

Сначала ничего не было видно — сплошной зеленый бархат покрывал дно. Глаза постепенно отошли, унялась боль, и он увидел разноцветные камушки. До дна десять метров, а смотреть — протяни руку и можешь погладить эти камушки. Магдаулеву кажется, что это

¹ «К а м ч а т к а» — загородка от ветра. Обычно из снежных кирпичиков.

совсем и не вода, а прозрачный, с зеленоватой поволокой, воздух.

Вдруг появился большеголовый с красивым оперением хариус. Магдаулев ловко подал ему золотисто-зеленую «мушку», которая заманчиво затанцевала перед рыбой. «Мушка» была гораздо сочнее и красивее обычного жучка-бокоплава.

Хариус, заметив красивого «бармаша», стремительно кинулся с открытой пастью и тут же проглотил приманку.

Рыбак того и ждал. Он подсек и, ловко наматывая лесу на мотылек и лопаточку, потянул хариуса вверх. Несколько маховых движений — и рыба оказалась в «камчатке».

Хороший денек — хорош и клев. Вот кто-то крупный сильно придавил удочку. Магдаулев кое-как приподнял его, сделал мотку, вторую, и тот, сначала нехотя, но потом, видать, губе больно стало, послушно пошел вверх. Заартачился перед отверстием лунки, но опытная рука рыбака, нисколько не ослабляя леску, плавно тянула и тянула рыбину. Вот вылетел из воды пузырь, второй... «Сиг!» — мелькнула радостная мысль. В следующий миг в прозрачной воде показалась красивая, килограмма на три рыбина. Только появилась над водой голова сига, он быстрым движением ноги подтолкнул рыбину в сторону вывода-канавки во льду, сиг с испугу почти сам вылетел на лед. Рыбак обрадованно вздохнул.

Вдруг сзади раздались шаги.

Магдаулев оглянулся и увидел выходящего из-за тора Самойлова. Семен ухмылялся и покачивал головой.

— Здравствуй, Ганя! Мастер же ты добывать сига?

Магдаулев мотнул головой и молча наблюдал за ним.

— Я ездил в город с хворобой своей. Дохтур вертел меня, туды-сюды заглянул. Осерчал ажно. «Обращаетесь к врачам, когда лечить невозможно. Где живешь?» — спросил он. — «У черта в турках», — ответил я.

Клюнул хариус. Магдаулев вывел его; сыпнул в лунку горсть бармашей.

— Как взглянул эвон на тот дом, — Самойлов ткнул костылем в сторону поселка, — ажно сердце занает.

На высоком берегу темнели избы. Среди них стеклянню посверкивала цинковая крыша большого нового дома.

— Значит, сердце ноет? Это от зависти.

— Ты, Гаврила, все с шутками.

— А больше как? Ты, дядя Семен, верховодишь ревизионной комиссией колхоза, знаешь все грешки Бадарханова и помалкиваешь.

— Значит, думаешь, помалкиваю?

— Я так думаю.

— Думаешь,— Самойлов вздохнул. Запалил трубку и, подбирая слова, заговорил: — Видишь, Гаврила Бадмаиц, тут загвоздка... Поди, помнишь, какую ошибку я спорол с Макаром Грабежовым?.. Тогда был я молод... людей видел только снаружи... Обжегся здорово — по сей день на холодное дую... Вот и Бадарханова боюсь сбить с пути-дороги, он ведь в колхозе давно, можно сказать — облысел на работе.

— Хм, облысел,— Магдаулев скупно усмехнулся,— плешивым стал не от дум высоких, а просто умные волосы дурную голову покинули. Мошенник он, а ты покрываешь его.

Самойлов сердито сплюнул, кряхтя поднялся.

— Смотрю, Гаврила, ты настоящим окунем стал... Колючий!

Старик, сильно прихрамывая, не попрощавшись, ушел в свою «камчатку».

На дворе вечерело. Багровое солнце коснулось острия гольца и, словно прожигая его, стало медленно опускаться вниз. Его лучи кровавистыми пиками скользнули по вершинам гор, по торосистому полю Байкала. Природа преобразилась. Ее цветастый наряд пестрел розовыми, синими, голубыми и белыми заплатами.

Магдаулев спохватился, что ему давно пора домой. Там, на столе, лежала стопка ученических тетрадей. Он быстро собрал рыбу и зашагал по хрустевшему шаху¹.

Как обычно, после занятий в школе, Гавриил Бадмаевич сидел в углу кухни и занимался починкой изорванной сети. После школьного гомона — это был настоящий отдых. Чинить сети он научился с детства и сейчас механически обрезал дыры, привязывал нитку к верхней пяте, и игла, будто сама собой, вязала ячейки.

¹ Шах — весенний ноздреватый лед.

Туяна, убирая со стола, тихо говорила мужу.

— Снова заходил Самойлов. Спрашивал тебя.

— Шел бы в школу,— буркнул Магдаулев.

— Посылала к тебе, да он не пошел. Народу, говорит, много.

— Хы, народ ему мешает.

— Бледный. То ли расхворался, то ли на душе неладно. Сядет и тут же вскакивает. Дымит трубкой, будто смолокурку запалил.

В сенцах грохнуло. Вошел Самойлов.

— Здравати, добры люди.

— Проходи, дядя Семен,— Магдаулев откинул липкое полотно омулевика, поднялся с табуретки.

— У меня, Гаврила Бадмаич, дело к тебе есть.

Магдаулев мотнул головой. Молча оглядел гостя.

— Заходи, дядя Семен, в горницу.

Малюсенькая комната, заменявшая зал и спальню, была обставлена грубой деревенской мебелью. Только большой массивный стол со стопками ученических тетрадей да книжный шкаф давали понять, что хозяин дома — сельский учитель.

Самойлов тяжело опустился на скамейку. Глухо мыкнул, пробубнил, как филин в ночной тайге.

— Б-брат... бы-было бабахнул, да чуть не обмишенлся.

— О чем толкуешь, дядя Семен?

Самойлов достал из кармана измятую тетрадь.

— Тут все записано. Худо дело у Бадарханова. Ты, Ганя, напиши, а я нацарапаю свою фамилию.

Долго молчали. Самойлов курил, а Магдаулев читал каракульки Семена. Остановился на круглой сумме, хлопнул тетрадкой об стол.

— О-о! Человек растратил тысячи... Но растрата бывает всякая — тупость, глупость, неграмотность. Тут по-разному подойдут. А вот здесь страшное...

— Так, Ганя, так.

— Здесь ведь что получается — казенные деньги положил к себе в карман, а написал, что истрачены на снос старых строений.

— Именно.

— Сумма немалая — пятнадцать тысяч. Государство-то не скупится на колхозы.

— Правда твоя, паря.

Магдаулев потер лицо ладонями.

— Часть построек он разобрал — и в воду, а часть сжег,

— Токмо так. А те тысячи положил на сберкнижку жены.

— И это не одно его мошенничество?.. У тебя все записано, дядя Семен?

— Все, все, только вот разберешь ли писанину-то?

— Разберу. Что же до сих пор, ревизор, прятал-то? Э-эх, товарищ Самойлов, старый коммунист, организатор колхоза...

— Да-а, будет тебе, Ганя! — Семен поднялся, дошел до порога, остановился. — Пиши в обком. А то я жаловался местным-то, да толку не было. Правду сказать, бумагу не пачкал, а так, на словах, баил... Ладно, Гаврила, сочини покруче, а я зайду утром, распишусь.

Магдаулев долго разбирал каракули малограмотного Самойлова. Уже давно уgomонился в постели Максика. Туяна закончила починку омулевика. Набрала нижнюю тетиву, ловко скрутила полотно, затянула узлом и повесила на гвоздь.

— Все пишешь, Ганя?

Магдаулев поднял голову, отсутствующими глазами взглянул на жену.

— Мало тебя клюют за твою писанину?

Он вздохнул. Молча усмехнулся.

— Братан Бадарханова сидит в районо. Сам знаешь, что Батыев за рыбкой приезжает к нему, а не в школу к тебе. Бадарханиха нынче трезвонила, что родич ее мужа в минпросе — шишка на ровном месте. Ты думаешь о семье, нет? — Туяна сверкнула большими раскосыми глазами.

Он поднялся, притянул к себе жену.

— Ложись спать, а я пойду на кухню.

Гавриил Бадмаевич прочитал написанное. Все плохо, плохо и плохо. План рыбодобычи не выполняется. Снасти устарели — гниль да рванье. Лодки разбиты. Осталась одна-единственная телега в колхозе, и у той «восьмерят» все четыре колеса. Молодежь уезжает. Пятнадцать тысяч колхозных денег захапано Бадархановым...

Неприятно заняло сердце. Он спрашивал себя: «Почему так получилось?.. Почему же?.. Ведь прошло десятилетие с момента организации колхоза «Красный таежник». Казалось, все трудности позади, а тут на тебе, у колхоза крадет... И кто? Сам председатель... Дожили».

* * *

По письму Семена Самойлова в Таськимо приехало начальство. С ними прибыл бухгалтер-ревизор, который дотошно рылся в дебрях колхозного счетоводства. И не напрасно, он выявил крупную растрату. Комиссия списывала, списывала, но уж дальше было некуда, и большие деньги отнесла на Бадарханова.

На шумном колхозном собрании Бадарханова сняли с работы. Все ждали, что будет дальше. Поговаривали и о тюремном заключении.

Августовская учительская конференция закончила свою работу. Поздно вечером Магдаулев шел со своим бывшим коллегой, ныне заведующим районным отделом народного образования Юрием Александровичем Батыевым.

— Гавриил Бадмаич, твои выпускники все едут в пятый класс?

— Все двенадцать...

— Поселок ваш не растет. Контингент учащихся слишком мал.

— А что делать, тяжеленько родителям учить детей на стороне. У меня нынче Максимка и тот уезжает. Туяна-то изведется вся, ведь младшенький.

— А как здоровье Туяны Николаевны?

— Отказали работать в школе. Диагноз тот же, который вы знаете.

Батыев остановился... Помолчал... и вдруг неожиданно сказал:

— Слушай, Гавриил Бадмаич, в одном солидном учреждении на тебя очень злятся.

— Где же? И за что? — не веря усмехнулся Магдаулев.

— За председателя колхоза Бадарханова.

Магдаулев рассмеялся.

— Интересно! Я-то тут при чем? Бадарханов развалил хозяйство. Последние три года наш колхоз план рыбодобычи выполнял всего на пятьдесят процентов.

Мошенничал. А я помог Семену Самойлову написать в обком. Как я мог отказаться? Ведь тот безграмотный, а я же — учитель.

— Пусть бы написала твоя Туяна, а ты в сторонке остался.

— Э-эх, в сторонке... Ты што говоришь, Юрий Александрович?!

— То и говорю, что в жизни так и надо делать, — оставаться в сторонке, в тени, а ты напрямик лезешь...

— Исподтишка, да?.. Как Монка Харламов. Он делает, как ты советуешь — исподтишка, со стороны...

— Значит, умный этот ваш Харламов? Напрямик-то только бык ломит, глядишь — ему рога ломают.

— Ну, нет уж! Увольте!.. Монкой-то Харламовым мне сроду не быть. Даже нарошно не сумею.

— Это иногда плохим кончается. Не хотел тебя, Гавриил Бадманч, расстраивать на ночь, но ты сам вызвал меня на откровенность. Начальство приказало мне убрать тебя из Таськимо в другую школу, подальше от Байкала.

— Ты это серьезно?

— Завтра в девять зайди ко мне в кабинет, — бросил на ходу Батыев и свернул в переулок.

Утром Магдаулев услышал от Батыева то же самое, только с той разницей, что заведующий роно теперь сидел в своем кресле, поэтому был сух, официален.

Магдаулев растерялся. Молчал.

Лист бумаги в тонких пальцах Батыева трепетал, как на ветру.

— Вот, Гавриил Бадманч, познакомься с приказом... Я не могу иначе. Ты хороший учитель, там школа большая, не то что твоя — двенадцать учеников.

Магдаулев уже успокоился, взял себя в руки... Он не спеша прочитал приказ о его переводе в энскую начальную школу. Сердито взглянул на Батыева, тот спрятал глаза.

— Слушай, Юрий Александрович, это же издевательство! Послезавтра открывать школу, а ты затеял такую грязную игру. За Бадарханова мстишь? Говори прямо!

— Может, и так, но попробуй — докажи. Иди в райком...

— Хочешь, чтоб я на коленях?.. Клянчил себе?..

Батыев вышел из-за стола.

— А как жить-то будешь, Гавриил Бадмаич, без работы? Ведь у тебя семьища.

— Трудно придется, это верно, но унижаться я не могу... не по характеру.

— Твое дело... не по характеру так не по характеру...

— Э-эх, ты ведь знаешь, что твое распоряжение — это незаконие. Не поеду я никуда!.. А твой приказ, вот так я! — Магдаулев разорвал бумагу и бросил в корзину.

— Слушай! Ты што?! — вскрикнул Батыев.

— Не верти хвостом, пиши приказ на увольнение. А с Байкала я не поеду!

— Ну что ж, придется уволить за неподчинение, — холодно заявил Батыев.

* * *

Знакомый голубой дом райкома с ажурными карнизами никогда не казался Магдаулову таким сумрачным и холодным. Вошел. Коридор привел его к кабинету, в который он входил по-свойски при Воловике, но Трофима Изотовича давно уже нет в живых. Остановился у двери.

«Зачем иду? — еще раз мысленно спросил у себя. — Нет, обязательно надо. Как можно из-за Батыева самовластия оставлять школу, ребятишек, которым ты нужен. Нужен! Нет, надо поговорить с секретарем, он может помочь мне».

Но Магдаулева что-то удерживало, тянуло на улицу, к реке, где тихо журчит вода. Перед ним всплыло мясистое, одутловатое лицо секретаря райкома Малышева, который при разговоре всегда делался сухим, колючим.

— Как же быть?.. Туяна обязательно спросит у меня: «А в райком заходил? Разговаривал?» — уже вслух заговорил он сам с собой.

Магдаулев стоял в нерешительности, словно в каком-то темном, липком тумане. Куда-то исчезли, растерялись все мысли. Сумбур в голове.

Нащупав дверную ручку, вошел в приемную и опустился на первый стул у двери. В комнате было пусто. Девушка-секретарша окинула его удивленным взглядом.

— Вам плохо? Что с вами?

Магдаулев облизнул пересохшие губы.

— Никиту Никитича мне надо.

— Я сейчас спрошу.

Секретарша вышла и через секунду появилась вновь.

— Зайдите,— пригласила она.

Малышев оторвался от бумаг. На приветствие мотнул лысеющей головой, которая сливалась с розовой стеной кабинета.

— С чем пришел? — устало взглянул он. — Садитесь, товарищ Магдаулев.

— Да... вот я... у меня,— Магдаулев рассердился на себя, прокашлялся.— Безобразие, Никита Никитич! Через три дня надо начинать занятия в школе, а Батыев гонит меня в другую. Да еще добряком хочет себя показать, сочувствует мне, упраскивает для виду. Будто я не знаю его — вертлявого шкурника... карьерист несчастный...

— Ну, ты, Магдаулев, осторожней. Ведь Батыев является членом райкома партии, одним из руководителей района, а ты оскорбляешь его.

— Говорю, что думаю. Я не умею иначе.

— Знаю тебя. Ты зачастую не обдумываешь ни слов своих, ни поступков. Вот и в этот раз — зачем было тебе писать жалобу на Бадарханова в обком? Заявление-то надо бы к нам прислать, а ты через нашу голову,— секретарь потер розовую лысину, вздохнул.— Недавно вызывали меня на бюро обкома. За ваш колхоз, за Бадарханова мне пришлось стоять и краснеть как мальчишке. Вот так, дорогой товарищ. Натворил дел, кое-как расхлебали.

— Жалоба была написана председателем ревизионной комиссии колхоза, коммунистом Самойловым. Конечно, не без моего участия, помогал ему. Разве плохо сделали мы?

— Не в этом дело. Критику мы всегда поддерживаем. Говорю, что ты нас обошел. Райком сам, на месте, смог бы уладить все и назначить нового председателя, а вы, эвон, бучу подняли, шумиху. И нам нагорело...

— Самойлов настоял, чтоб я бумагу отправил в обком. Говорит, не раз обращался к вам, но вы пропускали мимо ушей его слова.

Секретарь повернулся к окну, покачал головой.

— Эх, Самойлов, Самойлов, когда-то был...

Магдаулев перебил Малышева.

— Никита Никитич, прошу вас, скажите свое слово Батыеву. Ведь это самодурство. Хотя бы предупредил

с лета, а то... И вообще, я с Байкала никуда не поеду.

Секретарь усмехнулся.

— Слушай, Гавриил Бадмаич, я знаю, что ты неплохо работаешь, что твоя школа на хорошем счету. Вот поэтому Батыев и переводит тебя на укрепление в другую школу. Там работал один шалопай и развалил ее. Даже дров не заготовил на зиму.

— А я тут при чем? Как штрафника меня туда?..

— Батыев-то не увольняет вас, а переводит на новое место, — секретарь усталым взглядом оглядел Магдаулева. — Он, безусловно, лучше меня знает учителей своего района. Ясно, что умеет расставлять каждого по его способностям. Райком в этом давно убедился. Поэтому у нас нет причин не доверять ему.

Магдаулев резко поднялся и на ходу бросил:

— Так я и знал... Будь бы Воловик — по другому все бы повернулось. Чую, и вы меня за Бадарханова наказываете. Бадарханова на учебу, значит, а меня — из школы вон... Хорошенькое дело!

Последние слова он проговорил уже в дверях.

Магдаулев ехал домой на катере рыбзавода. «Болиндер» нудно выстукивал туки-туки-туки. Суденышко слегка покачивало на длинной пологой волне.

В голове все мысли перепутались. Часто приходила на ум Туяна. Он знал, как она ждет, как волнуется... Он вспоминал ее предупреждения.

В кубрик спустился механик. Магдаулев достал из рюкзака бутылку водки.

— Давай, брат, выпьем.

— Это не мешает, Гаврила Бадмаич. Заненастило.

Механик опрокинул кружку, сморщился, закусил омулем.

— Ты чо седни именинник?

— Именинник, только с другой стороны... — невесело засмеялся Магдаулев.

...Катер уж давно пристал к пирсу. Все разошлись по поселку. Остался один вахтенный матросик — мальчишка из мореходки. Он заглянул в кубрик и удивленно спросил:

— А вы разве не слышали сирены?

— Замечтался.

Магдаулев поднялся на палубу. Его встретили низкие темные тучи. Холодный дождь. Черная вода. Унылая пустынная улица.

Вошел во двор и сел на мокрое крыльцо. Лайка потерлась у ног и положила на колени свою голову.

— Чуешь, что ли, Динго, что мне неладно,— прошептал Магдаулев.— Вот ведь собака, а все понимает... Что делать, Динго? Без работы я теперь... Может, на соболя пойдем? А? — Он гладил шелковистую голову собаки.— На душе потеплело.— А что — это мысль — пойду в охотники... Я докажу, что меня не сбить с ног,— вслух сказал он, встал и пошел в избу.

Туяна суетилась у плиты.

— Ох, Ганя!.. А я боялась, что ты отстал от катера. Все окна носом продавila. Смотрю, все прошли, а тебя нету.

Подошла. Расстегнула на мокром плаще пуговицы. Помогла раздеться. Ее длинные раскосые глаза тревожно разглядывали мужа...

— Заболел, кажись? Садись к печке, грейся, а я на столе налажу.

— Нет, это от ненастья я сумрачный.

К еде не притронулся. стакан за стаканом жадно глотал горячий чай.

— Ты что это?.. Ешь, а то остынет.

Магдаулев огляделся. В доме непривычно пусто.

— А Максимка где?

— Сегодня заходил «Красный подлеморец» и всех учеников увез в Устье.

— Значит, мы вдвоем остались.

— Да. Дом сразу осиротел. Ох, как плохо без Максимки,— у Туяны увлажнились глаза.— И от старших давно нет писем.

— А может, мы перекочем в Устье? А?

— Кочевать отсюда? Да ты с ума спятил?

Магдаулев, довольный отказом жены, улыбнулся.

Туяна сидела, облокотившись, рядом с мужем и рассказывала деревенские новости.

— Вчера ставным неводом наши добыли что-то много омуля. А в тот день, слышь, Ганя, когда ты уехал — двести пятьдесят центнеров черпанули. Подумать только! Годовой план перевыполнили. Наши рыбаки давно уж забыли о такой добычливой рыбалке.

— Чего удивляться-то. Новому председателю отпу-

стили кредит. Он купил добротные неводы и сети, а не гнилье, как это делал Бадарханов. Завел моторные лодки. Сам старается, за ним и люди тянутся.

В начинающихся сумерках потемнели углы дома. Магдаулев тянул время, чтоб наступила полная темнота. Тогда легче вести тяжелый разговор — не увидишь измученных глаз жены.

— Заезжал я в Бирикан. Наши Короли живут хорошо. Дед Филантий все еще чудит. Нынче соседа поймал в капкан.

— Ты что говоришь?!

— Сосед повадился высматривать его заездок. Дед придет на реку, а ловушка высмотрена. Топают домой без рыбы. Надоело ему. Он и поставил капкан...

— Поди, ногу сломал?

— Нет, дуги капкана обмотал тряпкой. Но воришка все равно неделю хромал.

— Вот старый хулиган!

В доме стемнело. Туяна потянулась включить свет.

— Не надо, Туяна, посумерничаем... у Тимофея леспромхоз вырубил весь лес на его охотничьем участке. Зверь подался в глубь тайги. Вот он и ушел искать новое угодие. По Ушману дойдет до Голонды и через Ямбуу выйдет в Баргузин. Меня зовет на охоту. Сейчас надо строить новые зимовья, а одному несподручно. Пошел бы и дед Филантий, но бабка и слышать об этом не хочет. Старику уже за девятый десяток. Меня ругает дед, говорит: «Зачем доброму охотнику с сопливой детворой возиться. Пусть, грит, Туяна учит. Мы с Волчком сколько исколесили по тайге. А теперь вам с Тимохой надо тропу нашу дальше тянуть. Уж язык до дыр смозолил, каждый раз толкую тебе, чтоб следы Волчка не терял, а ты... эх!»

Туяна сердито перебила.

— Чего это ты? Тут школу открывать надо, а ты все про охоту, да про охоту, будто не учитель.

Магдаулев замялся.

— Я... Туяна... со школой-то... в районо горячку спорол.

— Опять натворил чего?

— Немножечко... Знаешь, обида задушила меня... Нельзя правду двинуть куда следует; говорят, что обошел начальство района. Вот я тут немножко гово...

— Чего немножко? — допрашивала жена как заправский прокурор.

— Батыева ты сама знаешь, — начал издавека, словно подсудимый, подбирая верные слова, — кормился около братанчика омульками, а мы его по шапке. Вот и понес на меня. Будто не Самойлов жаловался в обком, а я заварил всю кашу. Оно так-то так, сколько тормозил я дядю Семена. Ведь развал... На твоих глазах.

— Понятно! Понятно! — даже в темноте Магдаулев заметил как сердито блеснули глаза жены. — А теперь из тебя полетят клочья.

— Батыев написал приказ о моем переводе в другую школу.

— И ты дал согласие?.. Поезжай туда один!

— Нет. Приказ порвал я, — сердито взъерошился Магдаулев.

— Это похоже на тебя! А почему не зашел в райком?

— Как не зашел, был там. Застал самого Никиту Никитича, но он ни ты, ни мя. Говорит, что Батыев умело руководит своими кадрами, что райкому вмешиваться нечего... В общем-то, он поддерживает Батыева.

— А-а, этот лысый!.. — Туяна сердито заругалась побабьи, всхлипнув, спросила: — А как жить-то будем?

— Пойду на охоту с Тимофеем. Нынче разрешили отлов живых соболей. Заработки хорошие — две тысячи сто рублей за живого «баргузинца».

— Значит, прощай школа? — глухим прерывающимся голосом спросила Туяна.

— Не-е. Видать, Батыеву стыдно стало. Он дал слово, что в Таськимо придет учителя только на год. А там посмотрим.

— Подумаешь, на год! Смилоствятся! Правильно, Ганя, што не унизился. Я бы тоже!..

Магдаулев погладил дрожащую руку жены.

* * *

Утром к Магдаулевым зашел Анкоуль.

— Аяльди?

— Аяксот!

— Ты, Гаврила Бадманч, с похмелья, аль зубы болят? — спросил, всматриваясь в соседа, старый эвенк. — А, Туяна Николаевна, почему не лечишь мужа?.. Уй! И ты раскисла! Вы оба заболели?

— От тебя, дядя Анкоуль, не скроешь ни беду, ни радость. Все такой же вострый глаз.

— Э, не то! Пропало все. Одно занятие — хожу по Таськимо да новости собираю, сплетни бабьи слушаю. Но, однако, и мне придется тянуть дальнюю тропу. От Степки бумага пришла. Сын родился у него. Тоже Анкоуль! Теперь я спокойно уйду на Нижнюю Землю. Есть в тайге второй Анкоуль. Охотиться будет. Беда стрясется — воевать пойдет. Мое имя не уронит! Вот хочу ехать. Посмотрю, голову внуку нюхать буду, — от радости старик то встанет, то сядет, трясет седой волосней, размахивает трубкой.

— Это хорошо. Счастливый ты, дядя Анкоуль. А как дела у Степана в школе? Наверно, и об этом пишет?

— Учит. Чего больше-то, — старик презрительно сплюнул. — Тайгу забросил, сбежал из Таськимо. Поехал бы эвенков своих учить, а то где-то по степям таскается.

— Да нет, там тоже тайга. Леспромхоз. Поедешь — увидишь. Может быть, останешься жить у сына.

Анкоуль удивленно уставился.

— Ты sdурел, бакша?.. Анкоуль бросит Байкал?.. Бросит свое Таськимо?.. Ты... с кем это удумал? Я sдохну без Байкала! Пропаду от тоски!

Магдаулевы оба засмеялись. Повеселели.

— Мы с Туяной тоже — без моря умрем.

— То-то! А Анкоуль хуже вас? Знаешь, Гаврила Бадманч, скажу правду: сына моего Степку ты выучил грамоте. Долбил ему башку, чтоб он стал учителем. Ладно. Это не худо. А вот я — отец, не выучил его тому, как надо любить тайгу, деревья, травы, как любить море, нерпу, рыбу. Это худо. Совесть грызет меня. Только и оправданье, что крутился как белка вокруг сосны. Некогда было. Вот мой Степка стал учителем, грамотей, а на тайгу плюет. Море ему тоже — хоть высохни до дна. А как человеку без воды, без деревьев жить? Погибель придет. Э-эх!.. Вот мой Степка сидит на готовых харчах — жена принесет из магазина хлеб, мясо... все — только знай ешь. А сам небось зверя не упромыслит, людей не накормит.

— Тут, пожалуй, я тоже виноват. Нужно в школе прививать эту любовь. Я ошибся тогда. Но зато Степа учит детишек. Зато теперь...

— Зато его учитель уходит на охоту, — в тон мужу добавила Туяна.

— Куда?.. Промышлять соболя?.. А кто учить будет? — Анкоуль, не веря словам хозяйки, вопросительно взглянул на Магдаулева.

На крыльце, в сенях загрохотало. Вошли Грабежов с Самойловым. Загудел дом. Угомонились. Уселись.

— Семен, мотри-ко, паря, эвон учитель наш, однако, сдурел — не хочет ходить в школу.

— Правда? Да бросьте врать-то!

Магдаулев рассказал обо всем, что было с ним в Баргузине.

— Это... как же так? — Самойлов застучал костылем.

Грабежов загудел, заглушил голоса.

— Э-э, брат! Правильно! Хватит возиться тут! Пусть бабы кудахтают с пацанами, а ты, Гаврило, бригаду нашу примамай! Я уж помощничком буду вертеться. Говорят, што характер крутой у меня — крапивное семя. Рыбу! Рыбу таскать будем из невода!

Туяна зажала уши, замахала.

— Тише, Петро! Знаю, тебе в радость это. Всю жизнь вместе — два баклана. Но не торопись, он туда смотрит, — махнула в сторону тайги.

Анкоуль расцвел в улыбке. Похлопал Магдаулева по широкому плечу.

— Знаю, тайга зовет Гаврила Бадмаича. Это Волчок зовет своего сына. Иди! — Анкоуль зажмурился, а потом с болью в голосе заговорил: — Я пропал... а все равно тянет на охоту. Ночью собака завоюет — просится в лес упромыслить чего-нибудь, я тоже помогаю ей — плачу в подушку... Помню, как хорошо в лесу на охоте. Там все чисто — деревья, снег как материно молоко. Воздух — опьянеть можно. Радость кругом...

— Хватит, Анкоуль, брехать-то! Чего нашел на охоте? Одно угробленье! Холод да голод там. А беда-то, того и гляди, из-за каждого дерева нагрянет. Шатун дьяволов тут как тут — живо зацапает за твое мурло. Батя мой правду баил: «У рыбака голы бока, зато обед барский. А у охотника дым густой, да обед пустой». Так, нет? Как, Туяна, думаешь? Пусть Гаврила к нам идет. Башлык будет!» — гудел Грабежов.

Самойлов почесал сивый загривок.

— Нет, мужики, это вроде назад пятиться, из оглоблей вылазить советуете. Не-е, якорь тебя задави! Учителей-то много стало, но и среди них нерадивых — пруд пруди. А Гаврилу Бадмаича мы так просто не дадим

в обиду. Я кумекаю, што тут кое-кто отыгрался над ним — «невестке в отместку». Шуку съели, а зубы остались. Вот они и кусаются. Только не Гаврилу, а меня надо бы грызть-то; бумага-то в обком от меня пошла, я и в ответе, — виновато взглянув на Туяну, старик продолжал: — Вот мне и придется ехать в город да постучаться своим костылем в двери к начальству.

— Не надо, дядя Семен. Сиди, я сам разберусь.

* * *

...Воспоминания были так остры, что Магдаулев, видимо, вслух произнес последние слова, потому что Тимофей вскочил и, схватившись за ружьишко, стал тревожно осматриваться.

— Что, что случилось?

Гавриил Бадмаевич едва успокоил Короля.

— Это я с собой заговорил, даже сам не знаю как.

— Тьфу, так и напугать недолго... — Тимоха беззлобно заругался, — ладно, иди поспи, я подежурю.

Магдаулев долго не мог заснуть, ворочался как медведь с боку на бок, все вспоминал те два года, которые оторвали его от школы. Потом подумал, что вот так всегда: в тайге вспоминает школу, в школе — тайгу. Выяснив это, он успокоился, поулыбался и быстро заснул.

Охотникам пришлось строить новое зимовье. Свалили несколько деревьев, распилили на сунки, накололи досок на потолок и крышу. За два дня срубили добротное притулье — вместительное, крепкое, теплое. В старом зимовье сохранился камин, сложенный Сватошем. Его разобрали, перетаскали камни и сложили заново. Затопили смолистыми поленьями. Огонь запылал, затрещал, освещая и согревая зимовье, в котором разлился запах еловых лапок.

В новом притулье, следуя традиции, Тимофей брызгал спирт на огонь. Шептал — кланчил у «хозяина» хорошего промысла. А потом весело кукарекнул:

— Интересно девки пляшут! Кучеряво мы живем! Давай, братуха, дерябнем! — подмигнул товарищу и опрокинул содержимое кружки. — А себя-то я не обделил! «Хозяевам» только капнул!

Сидели они за свежеструганным столом как дома, в одних рубахах. Камин хорошо освещал все зимовье.

— Как настоящий дом! Живи и охоться. А раньше, я помню, наши старики мучились в юртах. Дым выедал глаза, холод. Вот так, как мы с тобой, не рассиживали.

— Кому баишь-то?! Хы, будто я не ночевал в юртах. Хаживал со своим стариком. Дурачье оне! Чо бы не срубить им вот такое зимовье.

— Нет, Тимофей Филантич, они не дураки были. Охота была другая. Соболя-то почти извели, вот и гонялись они за ним по всей тайге,— сегодня здесь, а через неделю уже где-то за сто верст. До зимовья ли было охотникам?

— А ты, Гаврила, правду баишь! Соболя-то теперь развелось не меньше чем белок. Нынче в Максимихе один мужик застрелил соболя на клубе. Сказать кому — не поверят... Зверек носился за огородами, его подхватили собаки, облаяли. Он с испугу-то кинулся по заборам, по заборам и заскочил на клуб. Вся деревня смеялась:

— Везет же пьянице!..

Мужик-то выпивоха, лежал с тяжкого похмелья. Ребятишки гурьбой прибежали к нему и подняли с постели.

— Вот и возьми! Старики-то говорят, что раньше в Максимихинском лесу одна белка водилась, а тут соболь за огородами пасется. Нам, охотникам, надо сказать спасибо Советской власти, а Зенону Францевичу памятник поставить.

Тимофей махнул рукой.

— Когда мы соберемся-то? Тут и думать нечего. Давай, вот эту речку Безымянку назовем речкой Сватоша, а?.. Как думаешь? Вот и будет памятник!

— А вообще-то можно. Безымянная речка займет достойное имя...

Охотники «обмыли» зимовье и долго сидели в тот вечер хмельные, веселые, а разговоры велись все больше о Баргузинском заповеднике, о Голондинском заказнике. Как Тимофей со Сватошем гонялись за браконьерами. Рассказы были драматичные, порой смешные.

Наступил покров. С этого дня испокон веков промысловый люд бродит по таежным дебрям в поисках пушных зверьков. День-деньской то тут, то там раздается

заливистый лай остроухих, неутомимых собак, зовущий хозяина к затаившейся на дереве добыче.

Назавтра, после покрова, с восходом солнца, охотники вышли на промысел.

— Эй, вы, собольки! Не бойтесь! Мы не убивать пришли. Мы вас изловим, посадим в клетки. Добрые люди увезут вас в дальнюю тайгу и выпустят на волю вольную. Плодитесь там на радость таежному люду.— Тимоха разговаривает громко, не боясь испугнуть кого-то, а сам зорко присматривается к звериным следам. Лосей расплодилось много. Часто встречаются глубокие борозды от их следов. Поменьше размером — изюбры. Зайцы натоптали тропы, кое-где, припорошенные свежим снегом, соболиные следки. Некоторые «двоят», а другие «троят».

— Тут и «мужички» и «маточки» проживают. Это хорошо!— заключил Тимоха.

Светлое разнолесье кончилось. Охотники вошли в темный кедровик. Почти красные, а то золотисто-сероватые стволы многовековых кедров сплошной стеной встали на пути. А кроны великанов так переплелись, что образовали сплошной зеленый шатер, который не пропускает лучей солнца. Поэтому здесь стоит вечный полумрак.

День выдался солнечный. Громко кричат кедровки. Стучат дятлы. Издают тоненький свист синицы. Где-то высоко каркает ворона. Белка, услышав топот ног, стремительно бросилась наутек. Собаки выскочили откуда-то со стороны, дружно залаяли. Магдаулев метким выстрелом добыл зверька.

— В прошлое лето здесь был урожай кедровой шишки. Кедровики запаслись на зиму и теперь здесь жируют. Стало быть, и соболек здесь же вьется,— уверенно говорит Тимофей.

В кедровнике через каждые сто — двести метров встречаются старые соболины набеги.

— Да, много уже здесь собольков расплодилось. Видишь, запретили охоту — заказник временно объявили. Охотники ругались, ворчали... Вот что значит дать покой зверьку, у него и любовь жарче разгорается. Матки чаще детишек рожают,— продолжал Тимоха на ходу пояснять Магдаулеву.

Вдруг из-за красновато-янтарного ствола молодого кедра выскочили собаки и, не замечая хозяев, умчались

дальше. Тимоха подскочил к тому месту, где пробежали лайки.

— Соболы! След парной!.. Совсем «розовый»!

Зверек несся изо всех сил. Хитрил: выбирал самую гущу ельника, кедростлани, багульника. Да куда денешься! Собачки свое дело знают: забрали след в середку и, не выпутывая петли зверька, мчались напрямую по собольему духу.

Охотники тоже бежали. Тимофей вырвался далеко вперед и скрылся из виду. Ноги-то привычные, а у Магдаулева отвыкли, как-никак оторвался от промыслового дела.

Вдруг недалеко тишину тайги разорвал дружный лай. Магдаулев радостно подумал: «Пока Тимофей поворачивает назад, я уже у соболя буду!»

Он подбежал к огромной лиственнице, на которую неистово лаяли собаки, помолодевшим, совсем юным, не чуя под собой ног, точно там поджидала его любимая девчонка. Даже бросило в жар.

— Ох! Не убежал бы! Сиди, дорогой!— вслух взмолился он.

Бегло осмотрел дерево и на толстом суку увидел черного соболя. Зверек опасливо смотрел то на собак, то на охотника и сердито ворчал на них: «Н-нр-р-ряу!»

Запахавшись, подбежал Тимофей.

— Чо разинул рот! Скидывай понягу! Руби тычки!— сердито зашумел он.

Вдруг в воздухе мелькнула «черная молния». Магдаулев Динго скрылся вслед за соболем, а Тимофеев. Найда продолжала лаять на пустое дерево. Опрофанилась — проглядела молниеносный прыжок стремительного зверька.

— Ушел! Э-эх, язвило! Такую ее куру мать!

Погоня снова началась. Охотники, позабыв обо всем на свете, бегут напролом по трущобам. Падают, морщатся от боли, ведь земля-то в тайге не пух, а сплошные колоды, сухие сломанные сучья, камни... Сам черт ногу сломит, а вот, охотники, как-то ухитряются умеючи падать, даже при падении успевают отвернуть от опасного предмета.

Бегут и бегут соболь, собаки, люди. Сейчас Магдаулеву кажется, что нет ничего на свете кроме соболя. «Догнать! догнать! догнать!» — только одна мысль в голове.

А напуганный зверек несется, делая огромные скачки. За ним следом, изредка повизгивая от азарта, мчится Динго.

Магдаулев во время каникул бегал с Динго в лес на день, на два. Иногда им удавалось упромыслить соболя, но это от случая к случаю. Поэтому большого опыта у Динго не было, а просто унаследовал от родителей превосходные качества, необходимые соболеву собаке. Он быстро понял, что надо больше надеяться на нос, чем на глаза. И правильно! Теперь он мчался по собольему запаху, а не по следам.

Уже вечерело. Охотники устало поднялись на высокую, крутую гору и стали слушать. Вдруг до них донесся редкий лай. Они облегченно вздохнули, переглянулись повеселевшими глазами и бросились под гору.

На этот раз Динго редко лаял. Он визжал и рвал зубами корень великана кедра.

Тимофей с разбега упал рядом с Динго и рукавицей заткнул небольшое круглое отверстие в корне дерева. Это был запуск соболя.

— Гаврила, обойди вокруг дерева. Просмотри, нет ли ухажега следа.

Магдаулев обежал вокруг — следов никаких.

— Соболя здесь, братуха! — радостно заявил Тимофей. — Прислушался я, а он там ворчит на меня.

— Ну и слава богу! — пыхтит, утирая пот Магдаулев.

— Уй-юй-юй! Чуть не удрал, варначина! А собачка у тебя, Гаврила, золотая! Спасибо ей.

Охотники скинули с плеч свои поняги, вынули оттуда топоры и принялись рубить молодые елочки, очищать от сучьев. Скоро у них набралось десятка два тычин, каждая длиной метра по три. Эти тонкие палки воткнули в снег на расстоянии трех метров друг от друга. На тычины развесили сеть — обмет; нижнюю кромку обмета втоптали в снег — «заснежили» как говорят охотники. Получилась стенка высотой в рост человека. А стена та из тонкой сети, окружила дерево, в корнях которого спрятался соболя. Зверек, наверно, понял, что теперь он в плену у человека. Сердито ворчит и ищет выход. А тем временем Тимофей быстро достал из мешочка махонькие колокольчики и развесил их на сети. Допустим, ночью выскочит из своего запуска соболя и стукнется о сеть, то колокольчики поднимут веселый перезвон и предупредят охотника.

Король еще раз обошел вокруг кедра. Ухожего следа нет. Значит, соболь находится в запуске. Успокоившись, охотники взяли топоры и срубили сухое дерево. Разрубив его на сугунки, перетащили их в центр обметища.

На дворе совсем стемнело. Тимофей разжег костер, растаял в котле снег. На пылком костре быстро забулькал чай. Отогрел кусок жирного отваренного мяса и позвал дежурившего около запуска товарища.

После ужина еще раз обошли вокруг обметища. Следов нет.

Лежит соболек в корневище дерева. Ему тепло, мягко. Пищухи — хозяйственные зверьки, всего натаскают за лето: и продуктов, и про постель не забудут. Да только постель-то досталась их злейшему врагу — соболу.

— Вылазь, соболько, не бойся! Не убивать тебя пришел Король, а в спокойную жизнь тебя унести. Не бойся Тимошку,— громко разговаривает охотник с соболем. А зверек лежит в норе и сердито ворчит: «Нн-р-р-ряу! Знаю! Знаю! Живо шубку мою снимешь».

Ночью несколько раз Магдаулев пытался разглядеть звезды, чтоб определить время, да где там! Днем и то солнце здесь не увидишь — дремучие трущобы.

Чтоб не задремать, охотники часто пьют густой чай. Горячий кипяток разливается внутри, греет. Тимофей вспоминает охотничьи были и небылицы. А их он знает великое множество — родился и вырос в том кругу. А Магдаулев любит слушать. Вспомнил Тимофей рассказ отца.

— Однажды Филантий с Волчонком гонялись за соболем целых десять дней. А потом тот соболь все-таки выдохся и привел мужиков к огромной россыпи, куда и запустил на отдых. Россыпь — надежная крепость, попробуй упромыслить зверька! Но охотники не отступили перед трудностью. Раскинули обмет-сеть и стали разбирать камень по камню эту чертову россыпь. В одном месте разберут ее — соболь перейдет в соседние камни. Так они и кочевали за соболем с обметом по этой проклятушей россыпи.

На четырнадцатый день соболь выскочил из-под каменной плиты.

У охотников опустились руки, ноги прилипли к камням, на которых они стояли. Сколько они промышляли соболя, но такого чуда ни разу не видывали — белый как снег, пышный мех соболя горел-искрился!

Волчонок первым пришел в себя и крикнул:

— Уйди к богине Бугады! Ты ее сын! — И что ты думаешь, тот белый соболь не стриганул от людей, а потихонечку отвалил к своей «хозяйке».

— У промысловиков Подлеморья была легенда о таком соболе — сыне покровительницы охотничьего люда — богини Бугады. Вот и боялись они упромыслить этого редкого белого, как лебедь, соболя, — добавил Магдаулев.

— А потом Зенон Францыч, при мне ругал моего батю, что не поймали того соболя и не принесли к нему.

— Оба были суеверные, боялись «духов-хозяев».

После полуночи мороз стал еще сильнее допекать охотников. Они вертятся беспрестанно, — то спину согреют, то бока, пока спереди согреется — мерзнет спина, просится к огню... И спать нельзя, соболь может в любое время выскочить из запуска.

— Эх, черт!.. Зима — не лето! Бр-р-р! — лязгает зубами, трясется от холода Тимофей. — А ведь бывают же места, где теплынь, как в доброй бане. Мне сказывал Зенон Францыч, што он ездил в какую-то жаркую страну с экспедицией. Начальником у них был князь Горчаков. Видать, и князя бывали учеными и шлялись по белу свету. Дык там люди зимы не знают и ходят голышом, как в раю. И тех людишек солнце так прожгло, ажно черным-черные стали все. Бабы не то што наши, не стыдятся мужиков — ходят с голыми грудями, — Тимофей, как и обычно, добавил озорное и расхохотался на всю ночную тайгу.

— Мне тоже рассказывал Зенон Францыч про ту экспедицию, — подхватил разговор Магдаулев. — Она была послана в Африку Зоологическим музеем Академии наук. Много интересного рассказал он мне. Были и опасности — чуть не угодил в пасть крокодила... Удачно они сплавали в тот раз в Африку. Охотники добыли львов, тигров, много копытных зверей, а Зенон Францыч с утра до ночи трудился в брезентовом сарае — препарировал охотничьи трофеи... А про жару африканскую и говорить нечего. Мы бы с тобой сбежали оттуда на свой Байкал, хоть и холодно у нас. Бр-р-р! — трясется Магдаулев, жмется к огню.

— Чудной был человек Сватош — непоседа. Он мне баил, што после той жары, он побывал там, где полгода

ночь темная, солнце даже на миг не покажется, а стужа злее нашей.

— Да-а, правильно. Знаю про ту экспедицию на полярный Шпицберген.

— А что они там делали? Какой леший гонял их туда?

— На дно моря, через щель во льду спускали неводок-трал и добывали рыбу, насекомых, растения.

— Тьфу, черт! Зачем это нужно?

— Для науки. Охотники были и там. Они добыли белого медведя, тюленя, а Зенон Францыч опять же препарировал их.

— А помнишь, Гаврила, я ему добывал нерпу-то. Тогда он при мне ободрал зверя, обчистил так, што ни одной жиринки не осталось на шкуре, выделал ее не хуже любого кожевника. Потом сделал чучело нерпы, да так ловко — не отличишь от живой.

— Этого я не слышал. Наверно, приврали. А про ту экспедицию написано много — она погибла во льдах.

— А Зенон Францыч как остался жив? Ведь он мне не баил ту беду.

— Как случилось это?— Магдаулев задумался, потом тихо начал рассказывать:

— ...После окончания работы на Шпицбергене, начальник экспедиции Русанов вызвал к себе Сватоша и еще двоих. Он приказал им ехать в Петербург с отчетом о проделанной работе. Зенон Францевич с товарищами вернулся домой, а экспедиция осталась и погибла...

Охотники долго молчали. Тимофей только и сказал:

— А все же увидел наши места и угомонился наконец, куда больше не поехал, полюбил.

Утром Тимофей срубил длинную, тонкую ольху, очистил ее от веток и кончик прутка заострил. Потом разрубил толстый, горбатый корень — внутри пустота. Тимоха затолкал в нее всю руку до плеча. Там тепло; нащупал шуршащие листья, траву.

— Ужо, погоди-ко, соболюшечка, голубушка! «Королева» в царской шубке! Ужо Король пощупает «королеву», где она запряталась,— бормочет охотник.— Да ты не бойся, мы с Гаврилом тебе домик уготовили. Будешь на боку лежать да готовый харч лопать. Потом увезут тебя, голубушку.

Вдруг черный комочек мелькнул между ног Магдаулева и со всего маху ударился о стенку сети. Зазвенели ко-

локольчики. Соболь запутался в полотне, на какое-то мгновение Тимофей опоздал, и зверек, распутавшись, стремглав помчался вокруг стенки обмета.

Тимофей с Магдаулевым с ревом, криком бегут следом за зверьком вокруг обмета. Соболь перепугался — прыг, прыг, а ходу нет! Охотники начали настигать. Соболек еще раз бросился на стенку сети, чтоб прорвать ее и улизнуть от людей, но не тут-то было! Коварная сеть обмоталась вокруг туловища и запутала ноги, голову... В следующий миг сильные руки Тимофея крепко держат беглянку.

Тимофей заглянул в зубастую пасть зверька. Острые загнутые клыки сверкали, готовые вонзиться в пальцы рук.

— Зубы все целы — значит, годна! Магочка молодая!.. Таких и надо! — кричит от радости охотник.

Это был темный баргузинец с высокой остью. На груди ярко-оранжевое пятно, напоминающее цветок. И весь он, от остренькой мордочки до пышного черного хвоста — был изящен, благороден.

— Интересно девки пляшут! Смотри-ко, Гаврила, смотри! — закричал Тимофей. — На груди жаркой цветок! Это ж мой соболь. Я его поймал в заповеднике и здесь отпустил. Это он!

Магдаулев хотел возразить, дескать, столько лет прошло, но взглянув на товарища осекся — черные глаза Тимофея по-детски искрились, излучали радость. Он опустился на снег и целовал красивую головку пленницы.

— Кучеряво мы живем! Не зря мы со Сватосем мучились, сколько поту пролили, везли на вьючных конях по этим трущобам. А эти собольки из своих клеток ворчали, проклинали нас. Им тоже не сладко сиделось в ящиках — трясло, колотило. Э-эх, дятел разлягал бы вас! Голубчики мои!

— Не зря потрудились, труд ваш не пропал даром. Вон сколько расплодилось собольников. Пока мы бежали вчера и здесь сколько следов пересекли.

— Об чем и разговор, Сватошу надо кланяться.

— И не одному Сватошу, он здесь ведь государственное дело выполнял. А ты ему помогал, и тебе поклон.

Тимофей покачал головой. Засмушался.

— Мне зачем же? Ох! И наговоришь ты, Гаврила!

Зверька устроили в маленький ящик, который смас-

терил Тимофей. Плотно пообедали. Было радостно и светло на душе у охотников. Попыхивая трубкой, Тимофей заговорил:

— Вот што, Гаврила, ты иди в Баргузин сдавать соболя, а я останусь промышлять.

* * *

Под огромным ветвистым кедром возятся озорные медвежата, у самой берлоги медведица — катает большой снежный ком. Можно подумать, что она собирается сделать своим медвежатам снежную бабу. На самом деле не так. Ей не до забавы — она сегодня же загонит в берлогу медвежат, заберется туда сама и снежным комом завалит чело берлоги. В этой большой норе сделается темным-темно, станет тихо, тепло, потянет на сон. Тогда и угомонятся драчунишки у мамыши под боком. Вся семья завалится спать на всю-то долгую зимушку.

Вдруг, откуда ни возьмись, прямо на медведицу выскакивают две матерые лайки. Та от неожиданности бросила ком, вздыбилась и с ревом стала кидаться то за одним псом, то за другим. Лайки ловко увергивались от нее. Несколько раз им удалось вцепиться в толстый зад медведицы.

Медвежата, увидев собак, вмиг оказались на дереве и сквозь ветки испуганно смотрели на яростную схватку.

Медведица, изведав острые зубы лаек, прижалась задом к толстому стволу и стала отбиваться увесистыми лапищами. Вот ей удалось дать здоровенную затрещину одной из лаек. Та пролетела по воздуху метра четыре, растянулась на снегу, вильнула хвостом раз, другой и испустила дух.

Вторая лайка не испугалась. Она продолжала яростно кидаться на ревущую медведицу.

Внезапно прогремел выстрел. Медведицу обожгло, кольнуло в бок. Она в страхе перепрыгнула через пса и, кромсая все на своем пути, помчалась вниз по ключу. Собака — следом, не отстает, визжит, подлаивает, старается вцепиться, остановить ее.

К месту схватки подошли два охотника. Осмотрели мертвую собаку.

— Эх, жалко.

— Добрый был зверовщик.

Помолчали. Закурили.

— Ты, дядя Иван, поторопился. Видишь, кровь-то чуть-чуть брызнула.

— Аха, паря, легонько обранил зверюгу.

Охотники заглянули в берлогу — там пусто. Обошли кругом, обнаружили следы медвежат, стали искать.

— Эй, дядя Иван, медвежат стреляй! — радостно крикнул молодой парень.

— А где оне?

— Вон на кедре сидят.

— А ты из своей дроболки грохни.

Парень прицелился и опустил ружье.

— Не могу, дядя Иван, жалко...

— Жмея бы тебя жабрала!.. Охотник желеный, — шепелявя заругался Иван. Прицелился и выстрелил. Эхо, захлебываясь в складках гор, замерло вдали. Вместо медвежонка с дерева свалился сук, который отвел пулю.

— Смотрю, дядя Иван, ты и стрелок-то никудышный, медвежонку в глаз можно попасть, а ты в сук затетерил.

— Ружье штаренько, врать штало.

Иван прицелился и снова выстрелил.

Раненый медвежонок закричал тоненьким голоском и полез на макушку кедра. В его голосе слышались боль и отчаяние. Парень зажал уши и ушел в сторону.

Берданка Ивана еще несколько раз грохнула, и на молочно-белом снегу лежали все три медвежонка...

— Мяшо-то зы-рное! — радуется Иван. — Ждес и жаночуем. Ты слышишь?! — крикнул он стоявшему в стороне товарищу.

— Слышу, зараза! Охотник тоже! — сердито ответил тот.

Иван подошел к парню. Закурил. Молча слушают, не гавкнет ли где собака. Но медведица далеко увела от своих медвежат настырного пса.

— Старший охотник стал присматривать сухое дерево. Кругом стояла сплошная стена зеленых великанов. Сквозь косматые кроны видно, как розовые тучки быстро несутся с запада на восток. Небо торопливо пламенеет. Невдалеке охотник заметил вершину засохшей на корню лиственницы.

— Пока светло, руби вон ту сушину, — приказал Иван угрюмо молчавшему парню, а сам пошел свежевать медвежат.

Через час в лесу совсем стемнело. Охотники успели засветло отабориться на ночь. Ярко горел костер, в котле варилась медвежatina. Неслышно подошла собака, разлеглась рядом и стала зализывать лапы.

— Шобака-то убайкалась.

— Аха,— парень косо взглянул на Ивана.

— А медведица-то зы-ырная! Вот бы ее упромыслить.

— Ты... вот только медвежат можешь...

— Хы!.. Я-то?! Школько...

Парень перебил его:

— Знаю! По настам сохатых бьешь... Вот был Егор Шелковников — тот, да! Настоящий медвежатник... А еще я слышал про Волчонка — он с одним ножом выходил на медведя. Во мужики были! Медвежат, наверное, не трогали.

— Жнал я Волчонка-то. Шмелый был бурят...

Медвежatina сварилась. Иван жадно ел свеженину, а парень наотрез отказался от мяса, пил чай. После ужина охотники улеглись спать. Парень долго ворчал, плевался. Иван спокойно храпел.

Медведица вернулась к своим медвежатам. Еще издали она учуяла неладное — ветром наднесло запах крови. Злобно сверкнули глаза, загривок ошетинился, заныла рана в боку. Сначала она боязливо попятилась назад, но, преодолев страх, подошла к кедру, на котором прятались ее медвежата. Снег под деревом был весь в крови, пахло ее детенышами... И какая-то неведомая сила толкнула ее на людей — она стала подкрадаться к огню, где спали охотники...

В тайге тишина. Только слышно, как потрескивает костер. Собака во сне тоненько подлаивает, да глухо кучукает филин вдаль.

Медведица подкралась так близко, что слышится храп людей. Она приготовилась к прыжку — наметила свою жертву; от этого человека сильно пахнет ее медвежатами...

Но в этот момент на лайку наднесло запахом медведицы. Она сразу же вскочила на ноги, залилась громким лаем.

— Дядя Иван! — испуганно взревел парень и, схватив свой дробовик, пальнул наугад.

Иван крестится, вплотную придвигается к огню, бормочет молитвы. Постепенно стихает шум, поднятый зверем. Медведица неслась по чащобе все дальше и дальше. Стоял гул, треск.

Собака снова улеглась на свое место, косо поглядывала на хозяина, который дрожащей рукой набивал табаком свою трубку.

Дождавшись утра, позавтракав, охотники пустились в путь. Сколько ни кружила медведица, а опять вышла к берлогу. Снег кровенел, пропитанный кровью медвежат, чернели клочья шерсти.

Матка долго стояла на месте. Может быть, ей вспомнились озорные медвежата: барахтаются, кувыркаются, дерутся, жалуются друг на друга. «Где вы, дети мои?» — думала она, стоя на окровавленном снегу.

Медведица взревела. Эхо далеко разнесло ее могучий, грозный рев. Все на миг притихло: дятел перестал долбить, глухарь высоко задрал голову, рябчик испуганно вылетел из снежного домика, в котором провел ночь. Рев медведицы разнесся вокруг. «В тайге беда, беда, беда!» — говорило эхо.

Матка озверела. В этот миг она пустилась догонять охотников. Лайка притихла. Собака, видать, лучше людей поняла состояние зверя. Она плелась рядом с хозяином, опустив хвост, понутив морду. Она не шевельнулась даже тогда, когда медведица вышла на редколесье. Она стояла, большая, могучая, яростная...

Иван прицелился и выстрелил. Руки дрожали, мушка прыгала — промахнулся. Медведица бросилась бы на него, смяла, растерзала бы... Но парень метко выстрелил. Матка, страшно взревев от боли, в слепой ярости прыгнула вверх, потом, не разбираясь, опять помчалась по тайге...

Магдаулев размашисто шагает по тропе. Слышится отдаленный шум тракторов и бензопил.

— Через часик дойду до деляны леспромхоза, на лесовозе доберусь до тракта, а там на попутной машине в Баргузин, — по таежной привычке вслух разговаривает сам с собой. — Получу деньги за соболя, куплю Туяне пальто, Максимке валенки и коньки, а потом... — он не договорил, удар сзади свалил его.

Падая, заметил что-то черное, косматое.

«Шатун», — резанула сознание страшная мысль. Буд-

то кто подкинул его. Мгновение, и он на ногах. Рука — к ружью, но его нет! А медведь нахлынул, облапил. Магдаулев уперся в косматую грудь — отталкивает от себя, крутится, чтоб острые когти зверя не содрали кожу с головы, не выцарапали глаза. Тогда смерть...

— Нет! Не дамся!

А медведь проворен. Он успел несколько раз вонзить когти в голову, в лицо, в тело, отчаянно сопротивлявшегося человека, но силы не равные, стали слабеть руки...

Пасть зверя широко раскрыта, огромные клыки мелькают совсем рядом с лицом. Молнией блеснуло решение, и охотник сует руку в пасть. Толкает ее как можно дальше, пальцы вцепились во что-то, не оторвешь... Вторая рука нащупала рукоять ножа, выхватил и изо всей силы ударил в грудь зверю.

Медведица от боли мотнула головой. Охотник услышал, как хрустнули кости его руки. Он еще раз ударил зверя ножом. Повернул его раз-другой. Зверь сразу же обмяк, попятился и свалился на бок...

Магдаулев, шатаясь, тоже попятился. Почему-то медведь стал красным, деревья покраснели...

«Кровью залило глаза», — догадался он. Вытерся рукавом. Острая, нестерпимая боль разлилась по всему телу. Рука, которая побывала в пасти медведя, висит вывернутая ладонью наружу. Его взяла такая досада, что он подошел и изо всей силы пнул матерущую тушу.

— Сволочь!.. Искалечил!.. Как теперь буду?!

Чтобы не упасть, Магдаулев подошел к дереву. Ноги дрожат, подкашиваются. Не выдержав, плюхнулся на мягкий мох. Внутри горит, во рту пересохло. Он начал жадно глотать снег, прикладывая его к ранам. От холодного снега немного взбодрился.

— Что делать дальше?.. Один... Кругом тайга...

Кое-как развязал кушак. Обмотал искалеченную руку, сделал темляк из него же.

«Идти надо... Не то изойдусь кровью», — подумал он.

Шатаясь, прошел несколько шагов. Сел. Пригоршней пихает в рот снег, накладывает на раны. Боль немного стихает.

— Сыну Волчонка стыдно падать духом, а ну, давай! — подбадривает себя Магдаулев. С трудом поднялся. Стал считать шаги. Досчитал до сотни, плюхнулся на тропу...

Боль острая. Словно в сердце вонзились когти звериные. Горит внутри. Магдаулев и не разберется, где и какая рана больше болит — их так много.

Динго чувствует беду... Оставленный Магдаулевым у Тимофея на зимовье, рвется, грызет цепь, воет.

Тимофей вышел из зимовья, сердито заругался. Он сегодня не в духе, — его Найда бросила выслеживать соболя и вернулась обратно к хозяину, а про Динго и говорить нечего — воет и воет зловредный кобелек. Какая уж туг охота — одно мученье да порча крови. Он в сердцах матерно выругался, хлопнул дверью и свалился на нары. А у самого на душе — сто чертей воют и скребутся.

— Что это за морока?! Э-эх, зря не пошел сам... Сдал бы соболя... с батеи выпили бы, — вслух говорит он.

Динго перестал выть.

— Надоело небось! Мне-то все сердце в ошмोटья изорвал.

Успокоился охотник. Хоть и солнышко высоко, он незаметно заснул.

В последний раз Магдаулев сделал пятьдесят шагов. Понуро сидит, повесив голову. Его клонит ко сну. Силой воли заставил себя подняться. Пошел... раз, два, три... десять... Кое-как сделал одиннадцатый и свалился на тропу. Попытался подняться — не может.

— Нет!.. Не сдамся... дотяну ползком... — бормочет распухшими губами. Ползет и ползет, как упрямый червяк. Привалился на муравятник. Голова будто на подушке. Отдышался. И тут же охватила его дрема, окутала алым туманом... Над ним наклонилась Цицик. Она в белом врачебном халате.

«Ганя, хороший мой! Крепись, я тебя вылечу», — шепчет Цицик и почему-то облизывает ему лицо, визжит по-собачьи. Магдаулев очнулся и увидел Динго.

— Динго!.. Ох ты!.. Неизменный мой!.. Теперь-то я не пропаду... теперь поборемся...

Откуда-то взялись силы. Магдаулев сел. Обнял за шею друга.

— Динго, беги! Беги к Тимофею! Беги туда! Зови!..

Лайка продолжала визжать, облизывать израненное лицо хозяина.

Магдаулев оттолкнул от себя собаку и сердито повторил несколько раз свою просьбу. При этом он махал здоровой рукой в сторону зимовья.

— Беги туда! Беги, мой хороший! — перешел он на ласковый шепот.

Лайка отбежала недалеко, оглянулась и снова вернулась к хозяину.

— Беги же! — сердито повторил Магдаулев.

Динго, видимо, наконец понял требование хозяйша, быстро скрылся за поворотом.

Тимофей курил. Обдумывал свое положение: Динго порвал ошейник и убежал за хозяином. И Найду будто подменили — не узнать ее. Визжит, гавкает, подвывает вслед сбежавшему Динго.

— Нет, такая охота одна хреновина! Ужо, ты, сучка, дождешься — отлупцую тебя как след, — ворчит Тимофей.

Вдруг кто-то зацарапал дверь. Послышался визг собаки. Тимофей соскочил с нар и высунулся на двор.

— Динго вернулся! Вот молодец-то!..

Кобель визжит. У него убитый вид: хвост зажат между ног, низко, до самой земли опущена голова, в глазах тревога.

— Аха, товарищ Динго! Видать, тебе попало от хозяйина?.. Но?! Наверно, всыпал и отправил назад. Во-от! Не будешь за ним бегать, варначина!

Динго, повизгивая и виляя хвостом, отбежал назад по тропе. Потом вернулся к Тимофею, лизнул ему руку, снова кинулся в ту же сторону.

— Интересно девки пляшут! Кучеряво... — Тимофей, не договорив любимой поговорки, осекся. — А ведь собака-то не в себе... Это... что же?! Неужели беда сотворилась?..

Динго, взыв, кинулся обратно по тропе. За ним следом пустилась и Найда.

Собаки мчатся далеко впереди. Тимофей, смахивая с лица пот, чуть не бегом топает за ними.

Тропа изогнулась крутым коромыслом и выпрямилась. Тимофей вышел напрямую и удивленно затоптался на месте — в десяти шагах от него лежит убитый медведь. Найда вцепилась в пах зверя и злобно теревит изо всех сил, а Динго убежал дальше. Охотник подскочил

к зверю, быстро осмотрел тушу, увидел рукоятку ножа. Выдернул — знакомый...

— О, господи! Дрались!.. Гаврила с этим!.. А где же он? — Тимофей обежал вокруг. В панике заревел: — Э-гей! Гаврила-а!..

Прислушался. Одно эхо ответило ему, да из ящика послышалось сердитое «н-нр-ряу».

— Молчи, соболька! Не до тебя! — Накинул на плечи понягу с ворчавшим зверьком, еще раз обежал вокруг, вышел на следы Магдаулева.

Над тропой нагнулась старая береза. Ее белое «платье» поизносилось от времени, стало серым; черные заплаты тут и там пестрят по всему полотну.

Магдаулев привалился к стволу березы и полулежит. Динго, повизгивая, лижет ему руки. Охотник стонет, невязно бормочет что-то. К ним подбежала Найда, тоже принялась обнюхивать, ласкаться. Потом послышались торопливые шаги.

— Братуха! Гаврила! — прерывисто дыша, Тимофей наклонился над товарищем, опустил на колени.

— Ганьча! Жив ли?

Магдаулев очнулся. Сел.

— А-а... Тимоша... не бойся... я же крепкий...

Тимофей со страхом оглядел товарища, проглотил тугой комок, смахнул слезу.

— Братуха, садись на горбушку!.. Уташу!..

— Не-е, Тимофей... мы... долго... Беги за машиной.

— Аха, братуха, я чичас живо! Жди!

На деляне леспромхоза тарахтит трактор, гудят машины. Плотники рубят гараж в лесу — готовятся к морозам. Небольшой трелевочный трактор подтаскивает к строителям лес. Вокруг обшарпанной старенькой машины вертится Костя Харламов. Еще раз осмотрел ее, насвистывая мотив веселой песенки, сел в кабину и помчался по лесовозной дороге, только пыль вихрится за удалым парнем.

Тимофей выскочил на середку дороги, растопырил руки, будто хочет заловить руками мчавшуюся к нему машину.

Шофер затормозил.

— Чаво ты?! Очумел?!— закричал парень.— Я ж мог задавить тебя!

Тимофей шапкой утер лицо. Закачался будто пьяный.

— Сыно... беда,— подойдя к кабине устало прохрипел он.

— Что случилось?!

— Товарища... медведь покалечил... умирает...

— Где он?!

— Там,— Тимофей махнул рукой.

— Садись скорей!

Магдаулева трясет на ухабистой дороге.

— Теперь, Туяна, я выживу... Теперь ты не одна,— шепчет он.— Ничего, раны пустяк... заживут...

Один глаз у него видит хорошо, а второй закрылся. От виска к глазу тянется большой рваный шрам.

— Теперь я выздоровлю... Ничего, Туяна...— продолжает шептать он. По пышному чубу узнал сына Монки Харламова.

— А-а, Костя везет меня... славный парень.

Рядом сидит Тимофей и аккуратно поддерживает Магдаулева, все время тревожно обращается к шоферу:

— Ты, Костя, не трясил.. Ухабы-то объезжай!..

— Стараюсь, дядя!.. Это ж Баргузинский тракт, будь он проклят!.. Хуже лесовозной дороги...

— Везешь-то браво, да дорога в песнях проклята... Верно, паря...

— Ничего, когда-нибудь сделают ее... Ох, беда!.. Не изошелся бы кровью дядька-то наш!.. Беда, беда!..

Впереди показались два человека. Один из них замаяхал рукой.

— Эти два охотника заходили к нам. Медвежат убили, а матку обранили. Как не жалко убивать малюток. Просили меня отвезти до тракта, предлагали мясо, но я отказался. Ну их к лешему. Противно — на медвежат польстились. Не возьму и сейчас!— решительно заявил Харламов.

— Нет, Костя! Стой! Говоришь, медведицу ранили?!. Значит, оне и стравили братуху мою!— Тимофей, открыв дверцу, чуть не на ходу выскочил из машины.

— Возьмите нас, добрые люди! — попросился Иван.

Тимофей подошел к охотникам, осмотрел поняги и резким движением вырвал из рук Ивана берданку.

— Ты, Тимоха, очумел?!

— Морду тебе!.. Морду расхлестать мало! Гад! Ты ставил мужика! — едва сдерживая себя, чтоб не ударить, заматерился Тимофей. — Голод тебя обуял, што ли, зачем медвежат-то трогал?! С-сволочь!..

— Но-но! Ты, Тимофей, не в заповеднике теперь ро-бишь! Не стражник!.. Наш же брат — охотник.

— Серый волк тебе брат!

— Но, не сердись... Тимофей Филантич... отдай берданку-то.

— Шиш тебе — не берданку! Завтра в милиции будешь баить! Сволочь! Шагу не шагнешь больше в тайгу, гад! Костя, поехали!

3

Магдаулева переодели в чистое белье и завели в просторную светлую комнату. Навстречу поднялся молодой хирург.

— Заходи, заходи... Вот ты какой?! Мой первый медвежатник!.. Хоть ты и на ногах, но придется наркоз давать.

— Без наркоза.

— А выдержишь?

— Должен бы.

— Вообще-то без наркоза лучше.

Магдаулев лег на стол.

Хирург осмотрел раны, вздохнув, покачал головой.

— Уделал он тебя, дядька. Все ничего — рука заживет, другие раны пустяковые, а вот височная кость сломана — это опасно... опасно... Ну и начнем отсюда.

У охотника заныло сердце. Он собрал все силы, постарался успокоить себя.

Операция началась... Хирург ковырялся в ранах: очищал, зашивал, складывал кости. Магдаулев лежал словно мертвый — глаза закрыты, губы плотно сжаты: ни звука не вырвалось с его побелевших губ.

Уже под конец, чтобы подбодрить больного, хирург шутливо спросил:

— Дядька, а ты не умер? Хоть бы застонал, а то и не знаю, живого или мертвого оперирую.

— Не бойтесь, не умру.

— Молодец, так и держись. Уже немного осталось, потерпи.

Магдаулеву казалось, что операция тянется бесконечно. Он прислушивался к голосу хирурга, который спокойно отдавал какие-то короткие распоряжения сестре. Что они означали, он не знал, но для него они тоже были приказом, помогали ему сдерживать нестерпимую боль, укрепляли дух. Но вот хирург, облегченно вздохнув, устало сказал:

— Тридцать седьмая рана... все... последняя...

Медсестра, взглянув на часы, заговорила:

— Какой крепкий — ни разу не застонал. Ведь ровно три часа двадцать минут длилась операция.

Хирург приоткрыл дверь операционной и негромко крикнул:

— Ивановна, несите носилки.

— Нет, не надо. Я сам дойду.

— Совсем хорош! Ладно, берите его под руки.

Две санитарки помогли Магдаулеву встать на ноги. Он шагнул, но вдруг потолок и стены двинулись, закружились, он зашатался, однако привычные руки санитарок удержали его. Через мгновение все стало на свое место, и Магдаулева повели в палату.

Уже десять дней как Магдаулев лежит в больнице. Сегодня он проснулся поздно. Тупая неотступная боль в правой руке долго не давала заснуть. Не открывая глаз, услышал голоса:

— Перелом локтевой кости правого предплечья...

— А глаз-то ничего?

— Чудом остался невредимым. Заживет.

Почувствовав, что над ним наклонились, он открыл глаза и узнал медсестру Раису Михайловну.

— Как чувствуете себя?— спросила она.

— Сносно. Только глаз зудит.

— Потерпите. Пройдет. К вам пришел товарищ,— женщина скупой улыбнулась и вышла из палаты.

Магдаулев с трудом повернул голову.

Рядом стоял Грабежов.

— Братуха! Здорово!— потянулся, сморщился от боли.

— Здравствуй, Ганя!— в глазах Петра сострадание.

Сел на табурет, посуровел.

— Вот... как... значит, подрался...

— Пришлось.

— Слышал, как было дело.

— Ты, Петр, когда из дома?

— Вчерась.

— Катера, пароходы не ходят, а ты как попал?

— Через гольцы перевалил на лыжах.

— Туяна моя как там?

— Жива, здорова.

— Когда обратно?

— Дела обделаю и назад через гольцы же.

— Морестава ждать не будешь?

— Это долго.

— Тогда получи в Похе деньги за соболя. Туяне отнесешь.

— Ладно.

— Только ты не проболтайся ей... скажи соболюет, мол.

— Знаю.

Грабежов поднялся. Сунул на тумбочку узелок и затоптался на месте. Под его тяжестью заскрипели половицы. Остановился.

— Вот жись,— покачал лохматой головой.— Жись, она все так: нет, нет да что-нибудь учудит. Сколько звал тебя на рыбалку... А его в лес черт несет, как свободное время — бежать в тайгу...

— Так получилось, Петро, ничего не поделаешь. Но я не жалею. Испытать все надо.

— Э-эх ты!.. «Не жалею». Здоровье так-то сломать можно.

— Не сломаю.

— Хы-ы! Добро бы!.. Ладно, выздоравливай, братуха. Я еще зайду,— непривычно тихо закрыл за собой Грабежов дверь и на носках прошел по коридору. Встретил в дверях пожилую санитарку. Нагнулся над ней, набычился угрожающе.

— Ты смотри, тетка, путем ухаживай за моим...

Санитарка испуганно попятилась.

— Это за кем, батюшка?

— Вон!— ткнул кулачищем в сторону палаты, где лежал Магдаулев.— Который медведя зарезал.

— Мы... мы все... слава богу... как за дитем.

— То-то. Я проверю!

Магдаулев с трудом поднялся, сел. Левой рукой развязал узелок, принесенный Петром. Там были два соленых омуля, несколько картошек в мундирах, куски черствого хлеба.

Санитарка принесла завтрак.

— Оставьте чай, остальное унесите обратно.

— Деревенские гостинцы вкуснее.

— Друг принес... Вместе выросли.

— Он какой-то шибко сердитый, угрюм-угрюмычем смотрит. Я ажно испугалась...

— С виду он такой. Отец не баловал, да и на войне досталось ему...

— А-а, вон оно што, в ежовых рукавицах, значит, рос.

Магдаулев охотно поел. Остаток гостинца бережно положил в тумбочку. Боль в руке чуть приутихла. Зуд около глаза начал успокаиваться. Но он знал, что это временно, после короткого затишья снова нагрянут боли...

Сосед всю ночь просидел на кровати, держа в руке забинтованную ногу. Раскачивался, скрежетал зубами. Магдаулеву тоже плохо спалось. Только вздремнет, откуда-то из темноты выплывают огромные медвежьи клыки. Они угрожающе нацеливаются на него. Потом вместо клыков начинают мелькать перед глазами кровависто-красные когти. Он просыпается. Боли усиливаются.

Сосед уснул лишь под утро. Проснулся поздно и уставился на Магдаулева своими черными глазами. Смолянисто-черные кудри в беспорядке дыбились во все стороны.

— Пи-ить,— попросил он слабым голосом.

Магдаулев достал из своей тумбочки банку с брусничным морсом, подал больному.

— Пей, Игнатий.

Больной выпил, мотнул головой. Через некоторое время он сел, повел носом по сторонам.

— Паря, омулем пахнет. Может, почудилось мне?

— Ты не ошибся. Друг принес.

— А-а, я сквозь сон слышал, кто-то бубнил.

— Омультка захотелось?

— Паря... если можно... ажно слюны потекли...

Игнатий съел целого омуля.

— Спасибо тебе, Гаврила, отвел душу. Я ведь рыбак,

не могу без рыбы. То сестра приносила омулька, да врач запретил — больно много ем, а потом пью. Говорит, нельзя. Ты не волнуйся — сейчас я немного съел — не страшно.

Игнатий помолчал и добавил:

— Ох и вкусен же омуль, особенно свежий, только пойманный. Всю жизнь ловлю его, а все не нарадуюсь на эту рыбу... Хороша!!

Но неожиданно Игнатий встревожился, беспокойно посмотрел на Магдаулева:

— Послушай, вот только тревожусь я — рыбы в Байкале совсем мало стало — боюсь погибнет омуль-то.

Магдаулев недоуменно посмотрел на соседа.

— Ты что сдурел? Мало-то оно, конечно, маловато стало рыбы, но чтоб совсем погибла — не шути.

Игнатий встряхнул головой, лихорадочно заговорил.

— Я же рыбак, потомственный рыбак. Я ведь вижу — гибнет рыба. Вон по Байкалу пароходы тянут «сигары», а ветром разбивает плоты — и на берег. Бревен сколько валяется, гниет. У сосны «рубашку» измелит в белую труху, а ее рыба слопает идохнет. Иду я как-то по берегу — сиг матерый валяется. Разрезал ему пузо, гляжу — полным-полно этой трухи. Это к чему дедо идет — вот и кумекай.

— Это, конечно, беда. Но ты думаешь — ты один ее определил. Ученые, писатели давно тревогу забили. И вот результаты уже есть — дорогу начали строить, повезут лес на машинах... — ровным голосом отвечал Магдаулев.

Игнатий успокоился, поприших и стал рассказывать о рыбалке, о товарищах. Видимо, разговоры отвлекли его от болей. Лицо его посветлело, длинные кудри при движении вскидывались, прикрывая временами смуглое лицо.

Магдаулев смотрел на него, слушал и в то же время думал и, непонятно как, вдруг уснул.

Во сне приснился ему Байкал. Море было грозное, темное. Идет он по берегу, а волны так и мечутся, словно пытаются схватить его: одна за другой кидаются на берег, но у ног Магдаулева разбиваются в мелкие башки и откатываются обратно. Вдруг в самой середине, над их черными вершинами появился шаман Хонгор.

Оглушительно звенят на нем бесчисленные колокольчики, трескают медвежьи клыки, когти, косточки. Дико, с пеной у рта он выкрикивает заклинания.

Жутко становится Магдаулеву, он берет себя в руки, успокаивается.

— Это же танец «боо хатар»,— говорит сам себе.

Выкрики шамана становятся громче, явственно слышится:

— Эй, сын Волчонка, я говорил тебе — погубят, погубят Байкал...

Магдаулев отмахивается и просыпается. Долго лежит молча, раздумывая над сном, и вспоминает Сватоша, его вещие слова на пароходе, что беречь надо море, беречь тайгу...

«Ах, дорогой Зенон,— думает Магдаулев,— как же ты был прав тогда, жизнь сама показала это. Изменилось все: другим стало Таськимо, другими стали люди, но ответственность за сохранность этого природного сокровища — Байкал, тайгу — выросла. Ничего не поделаешь, цивилизация... но на то она и есть, чтобы найти действенные средства защиты Байкала...»

* * *

Хирург Юрий Алексеевич сам разбинтовал и внимательно осмотрел рану на виске.

— Вот ведь неприятность какая — рана загноилась, а тут, как на грех, кончилась мазь Вишневского.

— И достать негде?— спросил Магдаулев.

— А откуда же в нашей дыре. Это бы в городе...

Прошедшую ночь Магдаулев провел без сна. Поднялась температура. Жгло раны.

Мягкая обходительная медсестра Тася сделала укол и принесла кружку брусничного морса.

Чуть полегчало. Он стал уже задремывать, как вдруг услышал:

— Интересно девки пляшут!

«Тимофей притопал»,— пронеслось молнией, и Магдаулева будто кто-то приподнял, посадил на койку.

Перед ним в белом халате, с взъерошенной шевелюрой стоял Король.

— Охо, брат, молодцом выглядишь! Вон как шустро поднялся. Но, Гаврила, кучеряво же мы живем!

Магдаулев махнул рукой.

— Куда уж там... за нами гоняться,— криво усмехнулся.

— Гляделки-то как? Стрелять-то будешь?

— Сумею. Но, как без меня-то ходишь? Ведь плохо одному. Ты ж почти однорукий.

— А-а-а! Чего там!— Тимофей осмотрел свою левую руку, на которой не хватало трех пальцев, улыбнулся.— Честный был немец, два пальца оставил, а я-то его ухой-дакал насовсем. Значит, я бессовестным остался, аха?

— Ты, Тимофей, без шуток и в гроб не ляжешь.

— Хы, сказалул тоже, чего унывать-то. Ты вот не спросишь, как напарник промышляет, каков талант у него.

— Вижу по тебе, што не пустой вышел.

— Двух живых собольков принес. Сначала прямо к Екатерине Афанасьевне на фатеру нагрянул. «Вот твой Зенон Францыч, чего натворил! Собольков-то расплодилось уйма»,— говорю ей. Из поняги достал большой кусок сохатины, а она даже не посмотрела на мясо. Вытащила из ящика соболя и прижала к груди, будто дите родное, а у самой слезы по щекам. Меня ажно запутрило, нехорошо стало.

— Это от радости, Тимофей Филантич!— оправдывается она. Беда со старухой — потеряла Зенона Францыча, и жись не в жись ей. Ладно хошь занятие есть у нее — детвору учит по-немецки баить.

Магдаулев сморщился.

— Плохо ей — нет детей. Ладно хоть люди не оставляют ее.

— А ты как думал? Таких не забудут. Грех! Ты што, паря!

Тимофей огляделся, нет ли кого из врачей или сестер, подмигнул и извлек из глубин пазухи бутылку вина.

— Вот эту штуковину дерябнешь, и вся хвороба отлетит. Я, брат, знаю!

— Спасибо, но сейчас нельзя мне. А как Динго мой идет за соболем?

— У-у, брат! Головная собачка! Золото! С Динго можно ходить!— жестикулируя, гримасничая, с пословицами и поговорками, припудривая свою речь непечатными словами, долго рассказывал Тимофей о своих таежных делах.

Магдаулев слушал. Улыбался, качал головой и на время совсем забыл о боли.

Дождавшись паузы, Гавриил Бадмаевич, попросил:

— Ты, Тимофей, сходи-ка на почту. Телеграмму надо послать сестре Анне. Может, она достанет мазь Вишневского.

— Хы, вот друг! Я бежал к нему, торопился, даже с бабой не поспал, а он гонит!— надулся и смешно вынул черные под хмельком глаза.— Ладно, начеркай, я быстро сбегаяю.

Прошел еще один день. Ночью боли усилились. Голова раскалывалась. Магдаулев едва утерпел, чтоб не бежать из больницы. Ходил и ходил по тихому коридору. Из палат нет-нет да донесется стон. Тяжелый воздух, насыщенный запахами лекарств и чем-то нехорошим от больных, давил его.

Утром принял таблетки. Тася снова колола, рассказывала о своем Михаиле, какой он любитель тайги.

— Охотник только на птиц, а медведя боится,— смеялась она. Открылась дверь, она обернулась и сказала.— Это, наверно, к вам, Гавриил Бадмаич.

В дверях стояла сестра Анна.

— Анка моя!— вырвалось у Магдаулева.

— Ох, Ганя, что с тобой? Ехала, гадала. Был бы хилым, а то вон какой дубина.

Магдаулев вкратце рассказал о себе и своих невзгодах. Анна слушала, утирала слезы.

...Я уж собралась в аэропорт ехать, вдруг вторая телеграмма, просишь мазь Вишневского. Я сначала растерялась да и не знала, что это за мазь, где ее берут. Вспомнила про Цицик и бежать к ней. Ведь как-никак она врач. Она прочитала твои телеграммы и вся побледнела.

— Ох, несчастье какое-то с ним!— сказала, а сама на ходу накинула пальто — и в дверь, бегом в аптеку.

Анна достала из чемоданчика бутылку с мазью Вишневского. Потом коробочку.

— Вот послала Цицик ту мазь. А в коробке сладости и письмо. Хотела со мной лететь, да не отпустили ее. Сам знаешь, она ведь детский врач. Куда от детей уедешь. Наказывала мне, что если тебе будет хуже, то ты должен вызвать ее срочной телеграммой.

— Нет. Не надо ее беспокоить. Здешние врачи очень хорошие. Зачем мучить Цицик.

— Дело твое. А как дома у тебя? Туяна-то, поди, извелась вся.

— Она не знает.

— А-а, но тогда ничего.— Карие глаза Анны взгрустнули.— Была бы мать живая—помогала бы Туяне, тебе...

— Да-а, матушки нету...

После долгой паузы, Магдаулев спросил:

— Ну, а как выглядит Цицик?

— А что с ней сделается. Правда, волосы чуть посеребрило, а на лицо все такая же красивая.

— Почему-то замуж не идет.

— Одна живет.

После ухода сестры, Магдаулев дал соседу развязать мотауз, которым была стянута коробка с гостинцами. Сверху лежал конверт.

— Бери, Игнатий, шоколадку, угощайся.

— А сестрица-то в городе, значит, проживает?— взяв плитку шоколада, спросил сосед.

— Там. Учит ребятшек в школе.

— А-а...

Магдаулев, словно через стенку, слышал еще какие-то вопросы, но не отвечал. Отвернулся. Разорвал конверт и трясущимися пальцам достал лист бумаги.

Цицик писала:

«Дорогой мой друг!

Что? Что случилось с тобой! Может быть, требуется моя помощь?

Когда узнала от Анки о случившемся, растерялась. Не помню, как бегала в аптеку. В голове сумбур. Что-то собирала в коробочку. И эту записку пишу тоже как полоумная. Надо мной стоит Аннушка и торопит меня. Я боюсь за тебя! Как врач, я сразу поняла, что у тебя травма. Может быть, нужна моя помощь? Телеграфируй, и я срочно прилечу. Выздоровливай, Ганя! Привет Туяне. Как она там, бедняжка? Наверно, извелась вся.

Жду писем. Цицик».

Мазь помогла, перестали гноиться раны, начали быстро заживать; температура понизилась до нормальной, и сразу же отступили головные боли.

«Дорогая Цицик!

Спасибошко тебе за мазь Вишневского. Я удивительно быстро выздоравливаю...» — писал Магдаулев.

Больница стала ему надоедать. Тяжелый воздух угнетающе действовал на таежника. Куда ни повернись, встречаешь глаза, полные страдания.

Уткнулся бы в книгу и читал, но Юрий Алексеевич не разрешает — боится за зрение.

К Магдаулеву подошла медсестра Тася и тронула за плечо. Словно сквозь сон он услышал:

— Гавриил Бадмаич, вы не спите?

— Да нет, так валяюсь. Сегодня ночью убегу от вас.

— Вот и хорошо! Минут через десять зайдите к Юрию Алексеевичу, он решил отпустить вас домой. Бегите!..

Магдаулев легко поднялся, схватил за руку Тасю.

— Дорогая, а вы не шутите?!

* * *

Магдаулев сидел на берегу моря и ждал бригаду Петра Грабежова. Рыбаки, сдав на пункт утренний улов, разошлись по домам и что-то долго задерживались в поселке.

Он, не отрываясь, смотрел вдаль. Как и любой житель Подлеморья, гадал по приметам о предстоящей погоде.

За морем, в прозрачной дымке, зеленели гольцы и отроги Байкальского хребта. Светло-синюю гладь рябила легкая «Ангара». Чайки белыми крапинками качались на волнах. От моря несло свежей прохладой. Тишина. Покой.

Прошло три года после схватки с медведем. При встрече с Магдаулевым, пожалуй, ничего и не заметишь, не подумаешь, что у него было столько ран. Он все такой же высокий, могутный, спокойный. После больницы снова соболевал с Тимофеем, удачливых охотников премировали, о них писали в газетах. И все-таки не утерпел Магдаулев — в следующем году встретился с медведем и упромыслил его. Это был пятидесятый мишка на его счету. После этого он уже был спокоен. Никто не посмеет сказать, что сын Волчонка не в отца, что он трус — побоялся идти в тайгу.

И все же Магдаулеву пришлось расстаться с таежными тропами. Как ему ни хотелось оставлять одного Тимофея, но ничего не поделаешь — заболела Туяна. Кончилась охота.

* * *

Рыбаки ставного невода подняли ловушку. Омуля было много, но никто тому не радовался — там белела омулевая молодежь.

— Эх, куру мать! Чего это им, моря мало стало?! — ругается Петр Грабежов.

— Мелочь пузатая, куда прешь?! — кричит Сергей Страшных. — Што делать-то с ними будем? Ведь на пукте не примут, — спросил он у бригадира.

— В море!.. к дьяволу!.. разедаких!.. р-раз!.. — рявкнул в сердцах Грабежов.

Мелкую рыбешку выпустили из ловушки.

— Центнера два пропало, — затеребил бороду Грабежов.

Стоявший рядом Магдаулев заметил:

— Нет, брат, твоя ловушка плохая.

— Хы! Я давно толкую о том! Милое дело сети — только крупняк задержится в нем, а мелочь — мимо. Мой батя любил закидной невод, оно и правильно. В том увидишь мелкоту, подними мотню — и вся она ушла гулять, жива-живехонька, а тут, — Петр сплюнул.

С моря послышался шум от подходившего катера. Все повернулись в ту сторону.

— Рыбоохрана идет!

— Осетра-то спрячьте!

— Не-е! Это заповедник катит куды-то.

К ставному неводу подходил белый катер. Вот уже и буквы стало заметно на судне. Рыбаки враз прочитали: «Зенон Сватош».

— Вот это здорово!

— Это справедливо!

— Еще бы! А то катер заповедника почему-то назывался «Индибирка»...

— Правильно сделали! «Зенон Сватош»! Замечательно!

«Зенон Сватош» подошел к колхозному катеру. Он был аккуратен, чист. Капитан катера Саша Малыгин громко поздоровался.

— С промыслом, мужики! — поздравил он.

— Спасибо. Куды накопился? — спросил бригадир.

— Ходим вдоль берега. Сухота стоит, того и гляди вспыхнет пожар. Вижу, что стоите у ловушки, дай, душаю, попрошу свежей рыбешки.

— Бери. Корми команду.

— Что-то не густо попало?

— Была рыбешка, да выпустили — мелочь.

О чем еще говорили люди, Магдаулев не слышал. Он не отрываясь смотрел на катер заповедника.

— Вот и снова довелось нам встретиться, Зенон Францевич, — тихо проговорил он. В глазах стояли: то живой Сватош, то вот этот белоснежный катер, который охранял берега заповедной тайги...

* * *

Магдаулев с Грабежовым зашли к председателю колхоза Платону Ивановичу Новолодскому. Хозяин сидел над какими-то бумагами.

— Ну, как промысел? — спросил он у бригадира.

— Плохой.

— А чего приуныл-то? Квартальный план перевыполнил.

— План, план!.. Тут причина хуже плана.

— А што?

— Мелочь завалила в ловушку. Половина богу душу отдала. Черт бы побрал этот ставной невод!..

— А-а, вон оно што, — Новолодский вздохнул. — Знаю эту беду. Не у нас одних она. По всему Байкалу, наверно, не меньше сотни ставных неводов стоит, и у всех такое творится.

— А ну-ка, если по центнеру молодки гибнет в каждой ловушке? — спросил Магдаулев.

— Да. Мне кажется, што надо больше на сети нажимать.

— И закидные неводы, — добавил Грабежов.

Новолодский задумался. Потом тихо заговорил:

— Народу у нас маловато. Правда, молодежь уже не бежит из Таськимо, да еще и подъезжают к нам. Наверно, придется переходить на сетевой лов. Он самый безвредный — отборную рыбу берет. А то так-то, пожалуй, дорыбачим, што без омуля останемся.

— А вот знаете што, давайте напишем об этом руководству,— сказал председатель,— пусть думают, как изменить это положение.

— А Гаврила Бадманч нацарапает, Он может это, а мы все распишемся,— предложил Грабежов.

— Правильно!— поддержал Петра председатель.

— Ох и хитрющие!— усмехнулся Магдаулев.— Ладно, напишу.

* * *

Вечером Гавриил Бадмаевич проверил работы своих учеников и начал набрасывать черновик письма.

К нему подседа Туяна.

— Куда-то пишешь?— растягивая слова спросила жена.

— Письмо начальству.

— О чем оно?

— У Петра в ставнике гибнет рыба молодь, ну и...

У Туяны засверкали в гневе глаза.

— Ты—забыл?! Мало тебя лягали за писанину?.. Да ты что?! Петра начнут теребить! Председателю влетит, так и знай! Уж такого-то руководителя больше не сыскать! Колхоз поднял на ноги. Эвон, завел звероферму, пилораму. Все у него кипит...

— Тише, перестань! Раскипятился «самовар»— не уймешь скоро!

— Вот тебе и тише!

— Послушай, Туяна, не реви. Сам Новолодский попросил меня, то есть Петр... ну, они оба. Да всех это беспокоит, как же, нельзя этого так оставить. Я и согласился, а что плохого?

— А-а, но... тогда...— Туяна пошла на попятную.

— То-то!.. А ты раскудахталасы! Мы напишем не только о рыбалке, будем просить руководство, чтоб оно запретило сплав леса по рекам и озерам всего бассейна Байкала. Поставим вопрос об очистке берегов от древесины и о других проблемах.

— Это нужно... Оно... письмо-то обратит на себя внимание, ведь сами рыбаки поднимают вопрос, а не кто-нибудь.

— Да, дело это государственное...

Туяна тихо заговорила:

— Ты бы, Ганя, попробовал про отца написать, а?

И тот рассказ назвал бы «Волчонок». Вот бы здорово было. Ведь память...

Магдаулев рассмеялся.

— Но ты, Туяна, фантазерка! Думаешь, что твой муж все может, лишь бы захотел. Эх, дите мое!..

— Можешь, только лень тебе взяться. Я-то знаю.

— Нет уж, я не смогу. Для этого нужен талант. Когда-нибудь кто-нибудь напишет. В книге будут жить Волчонок, Лобанов, Мельников, Цицик, Сватош, Волковик и все остальные, кто жил и живет в Подлеморье.

— Вот это было бы здорово!— заулыбалась Туяна.

* * *

На рассвете Туяна разбудила своих мужчин. На столе шумел самовар.

Максимка быстро оделся.

— Я сбегая за Макашкой,— сказал он, но в сенях послышались шаги, и в избу влетел младший Грабежов.

— Здравствуй! Думал проспал, а вы только, только!

— Где уж там проспит Макар Грабежов,— пошутил Гавриил Бадмаевич.— Садись чай пить с нами.

— Какой чай! Опоздаем! «Ангара» налетит и сети не успеем снять.

Магдаулев, улыбаясь, взглянул в окно.

— Да, товарищ башлык, правильно. Идемте.

На песчаном берегу стояла маленькая хайрюзовка. Рыбаки столкнули ее на воду. Ребятишки с удивительной ловкостью проскочили в носовую часть лодки, надели весла. Магдаулев не спеша уселся на корме.

— Ну-ка, покажите свою удалую, подлеморцы!

Мальчишки весело рассмеялись и дружно погребли в море. Они ловко орудовали своими легкими веслами — гребки размеренные, четкие, как у настоящих рыбаков.

У Магдаулева не сходила с лица улыбка. Он любовался мальчишками, уж очень смахивали они на своих отцов. Шустрые, ловкие. Только вот жизнь у них совсем другая, счастливая.

Невольно вспомнилось детство. Вот такими же мальчонками они с Петькой рыбачили в сетевой лодке Ефрема Мельникова. А башлыком ходил суровый Макар Грабежов. Как-то раз, мокрые, озябшие, они удирали от раз-

гневанного башлыка. Была темная ночь, зверье ревело в соседнем лесу, пустынный берег впереди, а они уже выбивались из сил, да к счастью набрали на партизанский костер. Иван Федорович Лобанов обеспокоенно качал лысой головой да теребил усы, а Кеша Мельников подбадривал беглецов, кормил ухой, потом уложил спать.

Магдаулев оторвался от воспоминаний, оглянулся на Таськимо, где над пестрыми строениями возвышалась новая школа. Вчера вечером он с мальчишками поставил сети против нее, а сейчас по этому ориентиру направлял лодку прямо к своей ставёжке.

Гребцы, дружно налегая на весла, оживленно разговаривали:

— ...Я кончу школу — и в мореходку! — запальчиво говорил Макарка.

— Здорово! Увидишь океаны, другие моря, побываешь за границей...

— Но уж сказал тоже! Я с Байкалом не расстанусь!.. Здесь буду плавать.

— А я!.. Я поеду в Иркутск учиться на охотоведа. А потом стану, как Зенон Францыч, работать в заповеднике. Во!..

Мальчишки переглянулись, о чем-то шепнули друг дружке и весело рассмеялись.

Вдруг востроглазый Максимка заметил что-то в небе, выпустил из рук весло, вскочил.

— Лебедь! — вскрикнул он. — Во-он! Смотрите!

— Ка-акой бра-авый. — Макарка медленно снял с головы свою измятую фуражку, которая мешала ему смотреть.

Что-то необыкновенное, завораживающее было в полете этой царственной птицы. Притихшие мальчишки, позабыв обо всем на свете, восторженными глазами провожали ее.

Не замечая, что делает, Магдаулев повернул лодку вслед за лебедем. Смотрел и смотрел до рези в глазах.

Вскоре птица превратилась в маленькое белое пятнышко и, вместо лебедя, перед глазами Магдаулева появилась Цицик. На ней ловко сидит белый шелковый халат, подпоясанный кушачком-радугой, на русской головке отороченная черным соболем островерхая шапочка с пышной алой кистью. Огромные ярко-синие глаза, до

боли знакомые, мягко улыбаются, желают всем счастья. И вся-то она, ни на кого не похожая — легкая, воздушная, словно явилась из прекрасной легенды. Дунь по сильней ветер — улетит она в синь неба, как эта лебедь-птица.

Первым пришел в себя Макарка.

— Гаврила Бадмаич! Вы лодку-то куды повернули?!
Ха-ха-ха!!!

Магдаулев спохватился.

— Левым табань! Загребай правым!

Лодка быстро развернулась, и они поплыли, все еще поглядывая на небо.

Вот уже и дали дальние наполнились светом. Сизый туман растворился в нежно-голубом и исчез в синее-щих просторах. Над тайгой и гольцами Баргузинского хребта паслись светло-пепельные барашки. Сквозь розовые окаемки облаков проглянуло солнышко, и по голубому простору, весело плескаясь, побежала золотистая рябь.

Море, купаясь в лучах солнца, раздвинулось в необъятную ширь. Далеко, далеко на юго-западе, там, где бирюзовое небо опустилось на морскую гладь, пролегла ярко-синяя полосочка. А над той полоской едва прояснился крохотный крылатый кораблик — гребни Святого Носа. У подножия тех далеких гор покоится Онгоконский залив с чудесным островком любви — Еленой.

При виде «крылатого кораблика» у Магдаулева заняло сердце. Его всегда тянет туда. Там, в рыбацком поселке Онгоконэ когда-то давным-давно жили Волчонок, мама Вера, Ванфед Лобанов...

Вдруг маленький «крылатый кораблик» превратился в трехэтажного гиганта. Он взмыл вверх и поплыл над морем. Но недолго держался он в воздухе — парусакрылья оторвались от него и тут же исчезли; сам корабль стал окутываться трепетным маревом, прямо на глазах начал таять, снова сделался крохотным, а потом словно канул в пучине вод. А та, далекая, ярко-синяя полосочка начала расширяться, темнеть.

«Это мираж. Он предвестник ненастья, ветра, — подумал Магдаулев. Взглянул на Байкальский хребет. Там, по ребристым отрогам, за клубились рваные тучи. Так и знай, налетит ветер!»

— Ребята, жми-дави на весла! Море начинает сердиться!

— Поди, на нас?— спросил Макарка.

— Зачем же на нас ему сердиться. Мы же его любим!— возразил Максимка.

«Любим! Любим! Любим!»...— слышалось в басовитом скрипе легких весел.

Магдаулев повеселел от этих звуков, подумал: «Пройдут века и вот так же, как сейчас, по голубому простору, весело плескаясь, побежит золотистая рябь; вот такие же ребятишки будут любоваться Байкалом, державным полетом лебеда... будут кричать: «Любим! Любим!..» А море, как и теперь будет изумрудно-чистым, будет радовать людей и одаривать их своей первозданной красотой и богатством.

**Михаил Ильич
Жигжитов**

ПОДЛЕМОРЕЕ
Роман
Книга вторая

Редактор Т. Князева
Художественный редактор В. Покусаев
Технический редактор Е. Румянцева
Корректор Н. Саммур

ИБ № 1169. Сдано в набор 03.05.78. Подписано к печати 29.09.78. А09453. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура литерат. Печать высокая. Печ. л. 10. Усл. печ. л. 16,8. Уч. изд. л. 17,47. Тираж 100 000 экз. Заказ 1200. Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли г. Союза писателей РСФСР 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

